

ЧЕЛОВЕК НА ОБОЧИНЕ ВОЙНЫ

ОККУПИРОВАННОЕ ДЕТСТВО

ЧЕЛОВЕК НА ОБОЧИНЕ ВОЙНЫ

ОККУПИРОВАННОЕ ДЕТСТВО

Воспоминания тех,
кто в годы войны
еще не умел писать



ЧЕЛОВЕК НА ОБОЧИНЕ ВОЙНЫ

ЧЕЛОВЕК НА ОБОЧИНЕ ВОЙНЫ

ОККУПИРОВАННОЕ ДЕТСТВО

Воспоминания тех, кто в годы
войны еще не умел писать

Составитель
П. Полян

МОСКВА
РОССПЭН
2010

УДК 82-94(082.1)
ББК 63.3(2)622.78
О49

Серия основана в 2005 году

Редакционная коллегия серии:

Г. Я. Бакланов, Ф. Бомсдорф, Е. Ю. Гениева, Д. А. Гранин,
С. В. Мироненко, П. М. Полян (ответственный секретарь),
А. К. Сорокин

Составитель серии П. Полян

Авторы: Эсфирь Богданова, Владимир Вычеров,
Жанна Зайончковская и Борис Миронов

Составление тома: П. Полян и Н. Поболь
Предисловие: П. Полян

О49 **Оккупированное детство : Воспоминания тех, кто в годы войны еще не умел писать** / сост. Н. Поболь, П. Полян ; авт. предисл. П. Полян. — М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — 380 с. : ил. — (Человек на обочине войны).

ISBN 978-5-8243-1404-5

Мирные советские граждане, находившиеся под оккупацией, до сих пор редко появлялись в серии «Человек на обочине войны», разве что в томе «Нам запретили белый свет...». Авторы этого тома тоже были в оккупации, но вести дневник — такое им даже в голову не могло прийти: ведь некоторые из них еще не умели писать! Все они были детьми, и их впечатления специфически острые. И хотя воспоминания «детей войны» написаны уже в преклонном возрасте, эта острота сохранилась.

Книга будет интересна как специалистам — историкам Второй мировой войны, так и всем интересующимся данной проблематикой.

УДК 82-94(082.1)
ББК 63.3(2)622.78

ISBN 978-5-8243-1404-5

© Поболь Н., Полян П., составление, 2010

© Полян П., предисловие, 2010

© Российская политическая энциклопедия, 2010

Павел Полян

ОККУПАЦИЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Давай не будем Иванами,
не помнящими своего родства

В. Вычеров

1

Мирные советские граждане, находившиеся в оккупации, до сих пор редко подавали голос в серии «Человек на обочине войны», разве что в томе «Нам запретили белый свет...» (2006), в котором опубликованы воспоминания Елизаветы Егоровой об оккупированной Сталинградской области, да еще дневник Николая Саенко, документирующий всю оккупацию Таганрога. Все четыре автора этого тома тоже были в оккупации, но вести дневник — такое им даже в голову не могло прийти: ведь ни один из них тогда еще не умел писать!

Все они были дети — два мальчика и две девочки, и их впечатления были по-детски специфическими и столь же по-детски острыми. Собственным детям они не слишком много об этом рассказывали — в соответствии со здоровым рефлексом жизни при нездоровой советской власти: лишнего не болтать! Но с ослаблением советской власти ослаб и рефлекс, а тут, глядишь, и внуки подросли — и вот, как бы дозрев, оба «мальчика»-дедушки записали свои детские впечатления о войне для своих внуков (один — в 1997-м, а другой — в 2003-м), а заодно уж и для нас с вами, дорогие читатели!

А вот Э. Богданова и Ж. Зайончковская сделали это специально по просьбе пишущего эти строки — за что им отдельная благодарность!

Все четверо авторов — ныне горожане — «свою» оккупацию встретили и провели в сельской местности: Ася

Богданова — в поселке Пены Иванинского района Курской области, Владимир Вычеров — тоже в Курской области, в селах Моршнево и Сухое Рыльского района. Южнее всех и ближе всех к городу встретила с захватчиками Жанна Зайончковская, чьи Рыбцы находились в непосредственной близости от Полтавы, около аэродрома. Севернее всех находился во время войны «скобаренок» Борис Миронов: о деревне Вехно и селе Алтун с окрестностями (всего в десятке километров от пушкинского Михайловского!) он написал не просто мемуары, а, если хотите, целую поэму. Все эти места были оккупированы в 1941 году: псковские — в июле, полтавские — в августе–сентябре, курские — в ноябре–декабре. Короче всего была оккупация у курян Аси и Вовы — «всего-то» 15 месяцев у нее и 22 — у него, два года с хвостиком прожила под фашистским игмом полтавчанка Жанна, а самой долгой была оккупация у Бори — 32 месяца.

Казалось бы: ну что такого может запомнить и рассказать о войне дошкольник-пацан?

Оказалось, что он помнит то, что сознание, а стало быть и память взрослого просто не в состоянии заметить или различить: например, «сладкий» стол периода оккупации, состоявший из сушеных ломтиков сахарной свеклы или переработанной патоки. Из-за сладкого ленд-лизного кондитерского рациона ребенок (в данном случае это Жанна) готов был лечь на лед и заболеть — лишь бы получить баночку: а стал бы такое проделывать взрослый?

И если спустя шесть десятилетий, скажем, Володя, теперь уже дедушка Володя, берет авторучку и садится за письменный стол, то что может написать он теперь, когда ему уже за 65?

А он, оказывается, не только все прекрасно помнит, но и призывает своих внуков к участию в семейной эстафете памяти: *«Давай будем помнить своих родителей, бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек... И к семейным альбомам с фотографиями будем приклеивать подробные объяснения. А если нет фотокарточек, то приклады-*

вать записи, подобные моим. Давай не будем Иванами, не помнящими своего родства, это поговорка такая... Я тебя люблю. Твой дедушка Володя» (В. Вычеров).

В книге воспоминания расставлены по алфавиту в соответствии с фамилиями авторов, здесь же, в предисловии, мы поговорим о них, выстроив их более осмысленно — по возрасту.

Самыми старшими из наших авторов были Ася (она же Эльвира) и Боря (семь и пять лет), самыми младшими — Жанна и Володя (два с небольшим и три годика).

2

Ася (Эсфирь Гутмановна) Богданова — единственная из всех, кому в оккупации приходилось всерьез опасаться за свою жизнь и поэтому осознанно и упорно прятаться за спасительным псевдонимом Эльвира. Ее отец был евреем-полукровкой, и этого, выплыви оно на поверхность, вполне могло бы хватить для того, чтобы погибнуть, как погибли все евреи Льгова, Рыльска или Обояни (в Новом и Старом Осколе к этому были причастны не только немецкие, но и венгерские оккупационные войска). Староста обо всем догадывался и шантажировал своей прозорливостью ее мать-учительницу.

За годы оккупации Ася насмотрелась не только на немецких, но и на других оккупантов — венгров, румын и власовцев (быть может, самых страшных из всех, по крайней мере в глазах девочки, единственных, кто, даже драпая от своих, успевали, напиваясь и матерясь, бросаться к любимым юбкам в неумемном пароксизме своего либидо и жажды насилия — забавно, что либидо враз оставляло этих суперменов при виде или приближении любого немецкого мундира).

Венгры (их все упорно называли мадьярами) отличались от немцев покромом формы (но не цветом) и «чем-

то неуловимым в общем облике: легкая походка, стройные, очень черноволосые и совершенно не похожие на врагов, даже какие-то приветливые». Один из них даже ловил по своему служебному радиоприемнику последние известия из Москвы. А вот мадьяры у Вычерова — совершенно другой образ: жестокие душегубы, которых надо особенно бояться (не забудем и их соучастие в холокосте).

Румыны отличались цветом формы (этакое рыжеватое хаки) и еще тем, что «от них надо было запира́ть двери»: они воровали без зазрения совести и невзирая на немецкие запреты, причем воровали все — птицу, молочные продукты, яйца и другую еду.

Были еще и «другие» венгры, называть которых мадьярами не поворачивается язык. Это были безоружные венгерские евреи, служившие в венгерской армии и носившие такую же форму, но без погон и ремней. Еврейские рабочие батальоны входили в состав 2-й Венгерской армии, воевавшей на Дону: они рыли окопы, занимались разминированием, возили воду из реки, несли денщицкую службу у офицеров. Ася запомнила бригаду водовозов: если у них выпадал свободный вечер, они приходили к их соседке и играли на скрипке или в шахматы — отдыхали. Потом они все исчезли...

Ничуть не лучше оккупации был и временной зазор между уходом советской власти и приходом немецкой. Собственно, это было «безвластие», или, как определяет сама Богданова, «растащивка». В ее Пенах она продлилась чуть ли не месяц, целиком заполненный разворовыванием взорванного при отступлении сахарного завода. Тащили все, что могло хоть как-то пригодиться, в первую очередь топливо — доски и каменный уголь, но тащили и патоку, шедшую, впрочем, не на пироги, а на самогон (тоже своего рода топливо для сугрева).

Понимая, что уцелеть можно только на земле, все и устремились к ней поближе — в деревню, все, включая и городских, таких как полтавчане Зайончковские и Миро-

новы из Новоржева. Хорошо, если в деревне была, как у них, близкая родня, а если не было?

Но бог и колосьев не сравнивал: деревенские деревенским тоже рознь. Сельской интеллигенции жилось куда труднее, чем рядовым колхозникам. И дело здесь даже не в традиционной подозрительности немцев к элите завоеванных стран (в Польше интеллигенты были чуть ли не врагом номер один национал-социализма!). Просто в мирной жизни они хотя и имели небольшой кусок земли, но укорененностью на ней и запасами не выделялись. Держались они на маленькую зарплату, да еще за счет административной поддержки районо или колхозного начальства. При немцах же отпало и то и другое.

Неотъемной от оккупации страны является и оккупация жилища, или, попросту, постой — в твоём доме, в твоей квартире, на твоей постели — вражеских солдат. Такие «гости дорогие» и при наступлении деликатностью не отличались, а при отступлении — тем паче. Просто при отступлении очевидной становилась и немецкая, такая же почти, как и советская, трагическая подневольность.

Это нисколько не релятивирует немецкую жестокость, немецкую беспощадность и уверенность в своём расовом превосходстве. Немцы казнили легко, без содрогания и трепета, не столько даже из военных, сколько из «педагогических» целей, в назидание. Так, публично повесили начальника пекарни, успевшего наворовать чуть ли не в первый же день своего заступления на службу. Воровство в Пенах после этого, кстати, прекратилось (если не считать воровства румын).

Богданова пишет: *«Вообще, надо сказать, что во все время оккупации тяжким повседневным гнетом был не страх перед конкретными немцами, а голод, холод и неотступная мысль о том, что каждое мгновение там, на фронте, убивают твоих родных и близких. А у мамы воевали три младших брата и сестра. И еще постоянное*

ощущение того, что ты — неполноценный. Вот они — хозяева, люди, а ты — мусор, в лучшем случае — второй сорт».

Э. Богданова — чуть ли не единственная, кто вспоминает о военнопленных. Пены были все же крупным поселением, формально даже не сельским, рабочим поселком при заводе, остальные были слишком малы для любого из лагерей в «сети расселения» военнопленных. Лагерь в Пенах был небольшой, поздний и какой-то странный: «Они появились где-то в конце весны — начале лета 1942 года. Около полуразрушенного и совершенно ободранного кирпичного здания бывшей сельской поликлиники немцы отгородили на окружающем пустыре колючей проволокой небольшой участок — загон и держали там под открытым небом человек 30–50 (точно не помню) пленных. Говорили, что это украинские красноармейцы, которые сами сдались в плен, переживши дома раскулачивание и польстившись на обещание Гитлера вернуть украинцам землю. Люди смотрели на этих пленных со страхом и жалостью. Их никуда не выпускали, целыми днями они слонялись или сидели в пустом загоне голодные, в драных шинелях и каких-то опорках. Их караулил немецкий часовой с винтовкой. Он отгонял их от изгороди, когда кто-нибудь подходил к ней поближе и пытался просить у прохожих хлеба или картошки (загон был прямо около большой дороги, тянувшейся из улицы в улицу почти через все село с востока на запад). Женщины из деревни очень их жалели, даже обращались в комендатуру с просьбой принять кого-нибудь «в мужья» (на деревне без мужика очень тяжело), но ничего такого немцы не разрешали. Иногда, правда, отчаянные деревенские ребяташки лет 8–10 подбегали к изгороди и совали что-нибудь из еды, но это было очень опасно. Немец кричал и махал винтовкой, мальчишки убегали и, надо сказать, ни разу никого не изловили. Отобрать еду тоже, конечно, не удавалось, ее съедали мгновен-

но. Продолжалось это, наверное, что-то около месяца, потом их всех куда-то увезли».

Несколькими штрихами Э. Богданова напоминает о последствиях, которые имела или могла иметь оккупация для нее самой или для ее соседей. Так, опасаясь возможных репрессий, они с мамой сожгли подаренную им одним из постояльцев, добряком Герхардом, фотографию. Пишет она и о соседке Гале — «замечательной красавице украинского типа: смуглой, черноглазой, с длинными толстыми черными косами»: она хорошо играла на пианино и знала немецкий, — и все это притягивало к ней немецких офицеров: «Из всех местных девушек, так или иначе общавшихся с немцами, потом, после освобождения, Гале досталось больше всех. Ее долго таскали по допросам и в конце концов посадили, кажется, на два года».

Незабываем для Аси и миг освобождения. Для нее, ребенка, это и был самый настоящий День Победы, тогда как 9 мая — «всего лишь» конец войны: «Ночь с 25-го на 26-е была поначалу довольно тихой, а в 5 часов утра нас разбудил какой-то странный и очень сильный гул, прямо земля дрожала. Это по нашей дороге шла колонна наших танков! Со звездами! И с нашими солдатами прямо наверху, на броне! Все люди из домов вдоль дороги высыпали на улицу, плакали, смеялись, кричали что-то, солдаты тоже смеялись и махали нам своими теплыми шапками. И такие они были замечательные, такие веселые, сильные и надежные... Это было счастье.

Мне сейчас 75 лет, это было 66 лет назад, но я все равно не могу сдержать слез, когда пишу это. Поймите, у всех было чувство, что мы снова стали людьми. Это огромное чувство освобождения было не менее потрясающим, чем испытанное через два года чувство победы. И в победе тогда было важнее не то, что победа, а то, что войне конец. Ничего хуже войны на свете нет».

Пять лет от роду было и ему, Владимиру Вычерову, когда война пришла в его родное Моршнево и вытолкала взащей из обжитой родительской хаты — сначала в лес, а потом в приймаки в куда как большей деревне Сухое. Смысл этой 10-километровой «депортации» для него непонятен, но он существует: для простоты управления и безопасности немцы расселяли мелкие деревни и хутора и концентрировали местное население в очагах покрупнее (тот же, кстати, принцип, что и с еврейскими гетто, только без людоедства).

Но у воспоминаний 65-летнего о том, что с ним было в пятилетнем возрасте, есть и такая особенность: они не сфокусированы на апокалипсисе, на ужасах войны. Конечно, и родители, и дед с бабкой старались его от них оберегать — но как убережешь-то? Его главный оберег — возраст: он был настолько мал, что его и в Германию не могли угнать! Оттого-то и летне-осеннее шлепанье по лужам босиком, аж до самых холодов, до валенок, представлялось ему и в 2002 году не чертой крайней нужды и бедности, а эдакой разновидностью счастья.

Горе? Было его невпроворот много, например душегубы-мадьяры, а точнее, не сами они, а страх перед ними. А вот вспоминаются, поди ж ты, немец Петер, угощавший конфетами, суп из куриных потрошков («мы наелись и повеселели») и красавицы-дочки у тети Насти, их квартирной хозяйки в Сухом.

Понятно, что его воспоминания не ограничиваются военным временем, как понятно и то, что послевоенные годы Владимир Вычеров помнит гораздо лучше и вспоминает чаще.

Но и тут война заходит на страницы его записок как бы с тыла. Особенно ярко помнит Вычеров самые первые послевоенные годы и даже, наверное, месяцы, когда все луга вокруг стоявшего над рекой Моршнева были нашпигованы минами. Ребята слетались на эти «игрушки», как

мухи на мед. Он прекрасно помнит, сколько деревенских мальчишек подорвалось на этих минах и неразорвавшихся снарядах, погибнув или пополнив собой армию инвалидов.

Другой пример «захода войны с тыла». У Паши Зайчихи погибли все «пятеро сыновей — все, сколько она родила и вырастила». А пенсию ей государство дало как за одного!

А что еще можно ждать от государства, которое в послевоенный голодный год не нашло ничего лучшего, чем обложить едва выжившего крестьянина новыми налогами? Вычеровская память сохранила и то, как это взимание налогов производилось: налоговики, сопровождаемые милиционером отбирают у соседки единственного поросенка — залог выживаемости всей семьи зимой.

Вот в соседней деревне Калиновке (родине Никиты Хрущева) только что метро не построили, а не стали колхозы от того милей. При этом не забудем: электричество в Моршнево пришло только в 1967 году.

Кончилось все это для Моршнева очень плохо — «бурьяном и забвением»: *«Умерла и деревня Моршнево. В 1994 году, на Троицу, 19 июня, мы с Валентином были там, на родине, прошли по местам нашего детства. Нашли могилку дедушки, покрасили оградку... Вся улица заросла крапивой и бурьяном, развесистым чертополохом в рост человека. Осталась только тропинка. Вместо колхозного двора — пустырь. Там, где стояли хаты, — бурьян, кустарники и наиболее жирная крапива. На месте дедушкиного подворья — тоже бурьян и проросшие тонкие осинки. [...] Постояли на берегу Тимошкиного болота, где мальчишками зимой ловили кубарями вьюнов. Оно осталось таким, как было: здесь разрушаться нечему, болото — предел упадка. Во всей деревне осталось, может, хат десять, где доживают свой век глубокие старики. Остальные хаты брошены, окна у них заколочены крест-накрест, крыши перекошены, во дворах бурьян...*

Даже в послевоенной, полуразрушенной деревне Моршнево слышалась симфония жизни: детский смех и плач, бляение козы, визг голодного поросенка, ругань соседок, лай собак. Но то, что мы увидели сейчас, походило на беззвучный, застывший сатанинский танец забвения. Пронзительная тишина. Казалось, вот-вот польются звуки реквиема».

Тут нечего добавить, но самый контраст между симфонией послевоенной жизни и реквиемом послесоветской смерти разителен.

В воспоминаниях — множество других интересных деталей. Например, докатившаяся аж до Моршнева рябь репараций — несколько трофейных коров и лошадей. Или подозреваемый в преступлениях немец, которого в конце 1940-х привозили на опознание.

Все это — и справедливо — автор считает достойным запечатления. Он определенно не хочет быть Иваном, не помнящим родства, и делает все для того, чтобы такими не стали его дети и внуки.

4

Жанна Зайончковская — ведущий российский эксперт по миграциям — самая маленькая из всех своих сотоварищей по этому тому. Когда началась война, ей было всего два года с хвостиком!

Уже самое первое ее воспоминание о войне и о детстве — не только ярко, но и уникально: это свидетельство о массовом крещении на Украине маленьких детей накануне оккупации — как попытке защитить их от грозившего им уничтожения. Такой политики оккупанты не проводили, но происхождение слуха понятно: холокост, охота на евреев и их уничтожение. Евреям, кстати, и выкрестовка не помогала: людоедов интересовала не конфессиональная, а этническая их идентичность.

(Забавно, что первым делом после войны с детишек снимали крестики, так как теперь опасно стало их носить! Но еще забавней, что запрещали и вышивать крестиком, поскольку крестик — знак религиозный!)

Однако вероятность умереть у ребенка, хотя бы и не еврейского, в оккупации маленькой не назовешь. Риски и опасности — те же, что и у взрослых, только сопротивляемость у маленького тельца куда как меньше.

Та же тема еды: лепешки, сделанные из уворованного у немцев колхозного пшена, — незабываемый праздник! То, что взрослым иной раз беда, детям — иногда радость. Так, детям нравилось залезать под стол и сидеть вокруг поставленной там из-за затемнения коптилки, — их притягивало «таинство подсвеченного слабым мерцающим светом сумрака».

Война как лакмусовая бумажка обнажала суть каждого человека. Она выявляла сущность людей: одни спасали, а другие доносили. О соседе в Полтаве, донесшем на Жаннину маму, что она жена коммуниста, та отзывалась брезгливо, полагая, что он сделал это для того, «чтобы занять наш сарай и присвоить лузгу».

А вот как женщины боролись с опасностью быть угнанными на работы в Германию: «Мама и тетя Тамара прятались по балкам, а тетя Катя с пятью детьми — со своими тремя, со мной и Линой — оставалась в хате. Говорит, обвязалась низко платком, чтобы выглядеть старше (ей было 28), босиком. Дети грязные, тоже босые, с соплями, царапинами — нарочно так, чтобы отпугнуть немцев, которые боялись инфекций. На это и был расчет».

Изо всей семьи в «остовки» попала только тетя Люба, папина младшая сестра, угнанная, когда ей было всего около 13–14 лет: «Всем на удивление приехала пополневшая, похорошевшая и приодетая. Ей повезло, попала в услужение к хорошим хозяевам. Она подарила мне небольшую зеленую шелковую ленточку. И хотя бант не к чему было привязать, так как нас, дабы было

меньше вшей, брили практически наголо, оставляя девочкам лишь небольшую челочку, было счастьем иметь такую ленточку. Все девочки мечтали об украинском веночке с лентами. Что ж, начало было положено».

Зайончковская — полька по отцу, но быть поляком в России тоже кое-что значило в плане вероятности репрессий. Отец Жанны погиб на войне, а его семья (он был родом из Каменец-Подольска) попала скорее всего под предвоенные пограничные зачистки, и отыскать кого-нибудь — даже в Казахстане — Жанне не удалось. Выходя замуж, она оставила себе фамилию отца — в тайной надежде на то, что кто-нибудь из отцовской родни, может статься, еще отыщет ее. (Не помогло.)

А вот детское наблюдение за гендером голода: *«Мне кажется, мальчикам-подросткам было труднее переносить голод, чем девочкам. Во всяком случае, не помню девушек-попрошаек, а ребята просто изнемогали».*

Конец оккупации запечатлелся в памяти ребенка страшным пьянством уцелевших дедов: запоем они снимали пережитый стресс. Время от времени возле аэродрома гремели взрывы — это на минах, оставленных немцами, подрывались подростки.

Начались занятия в школе: два первых класса примерно по 80 (!) человек:

«И вот первый урок, перекличка. Настасия Антоновна знакомится с детьми. Спрашивает имя и фамилию девочки, затем — как зовут маму. Дети отвечают. Далее учительница спрашивает:

— А батько?

И девочка вдруг суровеет, вытягивается в струнку, ручки вытянуты, прижаты к бочкам и глухо:

— Загынув... (погиб).

И так почти весь класс, и я в том числе:

— Загынув...

— Загынув...

До сих пор перехватывает горло, как вспомню это».

Перехватывает горло и у читателя.

В целом же воспоминания Зайончковской исполнены какого-то детского по своему генезису жизнеприятия и оптимизма:

«Жизнь была трудной, еще долго дышала отзвуками войны, но и перемены к лучшему ощущались. Особенно чувствовали это дети. Для нас, не знакомых со многими обиденными вещами, все новшества были в радость. Например, в первом классе редко у кого были цветные карандаши, а во втором уже почти у всех были коробочки по 6 штук, а у некоторых — по 12, на зависть остальным. Потом уже и по 12 можно было свободно купить. Появились игрушки, детские книжки. В 1949-м в городе пустили первый после войны автобусный маршрут. Ходил маленький носатый пазик, но проехаться на нем было счастьем. Проемы развалин довольно быстро все были заложены, дома побелены. Ходить по городу стало безопасно, хотя разрушенные здания окончательно были восстановлены в Полтаве где-то к концу 50-х. В Корпусном саду возле Петровской колонны по воскресеньям стал играть духовой оркестр. Очереди за хлебом еще долго сохранялись, но уже за белым. Детство, несмотря ни на что, было полно радостных событий».

Обратите внимание на эту фразу: «Очереди за хлебом еще долго сохранялись, но уже за белым» — в ней весь характер произнесшего ее лица!

5

Самые обширные воспоминания — у Бориса Миронова. Он рисует отношения односельчан с немцами — поначалу добрососедские и чуть ли не идиллические. Но «никто из русских не забывал, что немцы — враги. Активное неприятие немцев определялось прежде всего

тем, что они принесли с собой на нашу землю смерть и горе, сломали привычный и потому дорогой для всех уклад жизни, внесли в жизнь каждого сумятицу, беспокойство за жизнь детей и родителей, близких и дальних родственников, разлучили семьи, именно они могут убить, если уже не убили, сыновей, братьев и отцов, воюющих в нашей родной армии, — солдат, за которых молились в каждом доме. Поэтому при всей лояльности "наших" немцев, любовью они не пользовались».

Но автор прям и честен и со своими. Так, описав встречу нового года вместе с немцами, он с горькой иронией замечает: «Так под патронажем вермахта мы непатриотично, даже постыдно встретили новый, 1942 год. Естественно, этот гнусный проступок я тщательно скрывал всю сознательную жизнь в СССР».

Это ли не свидетельство правоты компетентных органов, которые десятилетиями и близко не подпускали к закрытым организациям даже тех, кто был в оккупации в грудничковом возрасте?»

Смело касается он и темы, за которую сегодня можно и в «фальсификаторы истории» угодить — тему сложности отношений между партизанами и мирным населением. Да, партизаны — спасибо немцам! — звали и притягивали к себе молодежь, многие ушли в леса добровольно, но многих и «рекрутировали против их желания и желания родителей». Со временем родители стали прятать детей и от немцев, и от партизан. И партизаны, кстати, «не сеяли, не пахали и скот не разводили» — так что кормиться им было нечем и неоткуда, иначе как реквизируя продукты в деревнях. Так что крестьяне несли «повинности» как оккупантам, так и партизанам.

Столь же суров автор и с самим собой: «Бедные немецкие дети — наши соотечественники! Сделать им гадость считалось мальчишеской доблестью». Он не только осуждает, но и пытается разобраться в механизме этой дискриминации, в детском своем исполнении, быть может, особенно жестокой.

Миронову принадлежит и такое наблюдение: «...Почему-то в нашем древнем русском краю с приходом немцев появилась странноватая форма обращения к власти имущим — пан: пан староста, пан немец, пан капитан. Отчего бы это?»

В оккупации, бесспорно, воспряла и церковь. Открылись храмы, верующие (и неверующие) снова получили доступ к религиозной обрядности, вновь появились Библии, Новые Заветы и молитвенники. На проставленных на них печатях Б. Миронов — и мы за ним — до сих пор можем прочесть: «Издатель: Управление Православной Миссии в освобожденных областях России. 1942 г.»

Но от наблюдательного мальчишки не укрылось и то, что «...новообращенные граждане Третьего рейха, а особенно гражданки, обратили свои взоры не только к Христу. Они кинулись к гадалкам, которых сразу объявился легион. Они схватились за карты, стали заглядывать в будущее и в недоступное настоящее всеми возможными способами. Всем хотелось узнать, что нас ждет, всем захотелось узнать, как они, наши, там, на фронте. Живы ли, здоровы ли? Появились ясновидящие, известные на всю округу. Помню, как целая толпа алтунских женщин ездила на дровнях к какой-то Марье верст за двадцать».

Освобождение и конец оккупации означали для уцелевших и не угнанных мирных советских граждан еще и колоссальный прорыв в довоенные ясность и простоту отношений: «Оккупация страшна своей неоднозначностью. Это была проверка не только на верность Родине, но и на твердость духа, к которой, как мне кажется, следует отнести готовность пойти на физические страдания во имя Родины: ведь каждый вставший в ряды бойцов против оккупантов понимал, что ждет его, если он попадет в руки врага.

Но ведь можно было и не лезть в борцы... Разве не сдерживал многих, у которых кипели сердца и чесались руки, страх за жизнь детей, близких, которые были ря-

дом. Общественное мнение не порицало многосемейных людей призывного возраста или малолеток, уклоняющихся от борьбы. Но проверка на мужество была всеобщей. И те, кто был в оккупации, хорошо знают цену друг другу».

6

Боря Миронов, как и другие авторы этой книги, не умел в годы войны не только писать, но и читать. Посему он и другие мальчишки беспечно собирали грибы и ягоды в лесу вдоль дорог, обставленных немецкими щитами-предупреждениями: лес заминирован! Но тогда пронесло — Бог миловал.

Зато не миловал он потом, после войны, когда на оставленных немцами минах — случайно или при попытках их обезвредить — погибло множество ребят. Об этом пишут практически все наши мемуаристы.

Поздно из-за войны стартовав, каждый из четырех соавторов этого тома выбился, как говорится, в люди. Ленинградка Богданова и москвичка Зайончковская — известные ученые-географы (климатолог и геодемограф), кандидаты наук, хорошо известные в своих профессиональных сообществах. Вычеров — инженер-геофизик, приписанный к Геленджику, но значительную часть своей рабочей карьеры прошедший за рубежом (на Кубе и в Польше), а после выхода на пенсию — он каждый год в Москве. Миронов — инженер и журналист, заякоренный на Урале, в Миассе.

Все четверо, заметим, прекрасно владеют пером: их мемуары читаются легко и, я бы добавил, увлекательно. Женщины, правда, не слишком оглядываются вокруг, им оказалось более чем достаточно самих внешних событий и внутренних переживаний. Отсюда — скупость стиля и лаконичность их воспоминаний.

Мужчины же — Вычеров и Миронов — сил, эмоций и бумаги не экономят и охотно описывают не только себя, но и все свое окружение. Отсюда нередко встречающиеся в их воспоминаниях зарисовки природы, а у Миронова имеются даже речь от первого лица и диалоги с сохранением индивидуальных особенностей диалектной «скобарской» (псковской) речи. И даже не замечаешь, как сквозь все это спокойно и властно проступают история и судьба.

Интересно, что практически все сошлись на общем структурном принципе: жизнь в оккупации описывается не последовательно, а как совокупность маленьких главков — зарисовок (объемом всего в несколько страниц каждая), из которых потом и складывается вся картина. Все, кроме Зайончковской, дали этим главам еще и заголовки!

У каждого есть и свои писательские находки и запоминающиеся сцены и образы. Вот, например, фраза у Вычерова: *«Вдоль всей улицы деревни гадюкой извивалась траншея глубиной в рост человека».*

Или у Зайончковской — о затемнении: *«То, что взрослым беда, детям иногда радость. Так, нам нравилось залезть под стол и сгрудиться вокруг коптилки, нас притягивало таинство подсвеченного слабым мерцающим светом сумрака».*

А вот каким «мадьярским бумерангом» вернулась к Асе (Эльвире) Богдановой ее туристическая поездка в Венгрию:

«Последнее неожиданное и очень острое переживание оккупации случилось у меня тридцатью годами позже. Уже жила и работала я в Ленинграде и, несмотря на мое “компрометирующее” прошлое (арест отца, пребывание на оккупированной территории), мне как-то удалось по туристической путевке выехать в Венгрию и Югославию. Это было в конце ноября 1973 года, т. е. уже много времени спустя после венгерских и чешских событий.

От Ленинграда до Будапешта мы ехали поездом. После пограничной станции Чоп все пассажиры прилипли к окнам и смотрели на "заграницу". Правда, видно было мало — уже вечерело и смеркалось. В Будапешт мы прибыли совсем вечером, и, еще не выйдя из вагона, я посмотрела в окно на ярко освещенный фонарями многолюдный перрон. И по этому перрону среди местных венгерских жителей ходили наши советские солдатики в наших советских шинелях с погонями и шапках со звездами. Оружия у них я не заметила, вид у них был совершенно мирный, и никто на них особого внимания не обращал.

Но у меня вдруг перехватило дыхание и мурашки побежали по коже. Я как-то почувствовала себя на месте венгров, по земле которых по-хозяйски ходят чужие люди в чужой военной форме, пусть и вполне доброжелательные. И это невыносимо, как и нам тогда, во время оккупации, — с 1 декабря 1941-го по 26 февраля 1943-го, ровно 15 месяцев».

Так собственные детские представления о войне и о жизни в оккупации сделали их повзрослевших носителей особенно восприимчивыми к иным ипостасям и проявлениям «оккупации» как личного переживания и как исторического понятия.

Эсфирь Богданова
ДОЧКА УЧИТЕЛЬНИЦЫ
(КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕНЫ)

Как начиналось

Мы жили тогда в Курской области, в селе Пены. Вернее, это было не село, а довольно большой рабочий поселок с крупным сахарным заводом и машиноремонтными мастерскими, тоже почти заводом. В поселке была школа-десятилетка и вполне благоустроенное жилье. Поселок плавно переходил в собственно деревню Пены с хатами-мазанками, часто с земляным полом. На стыке поселка и деревни стояла еще одна маленькая школа — сельская, 4-классная. Вот в этой школе учительствовала моя мама. А еще у меня была старшая сестра Лида. Отца у нас уже не было. Его арестовали 31 декабря 1937 года. Он был родом из Риги, в Гражданскую войну попал в Россию, но в Риге у него остались старшие братья. И арестовали его «за связи», так это тогда называлось. На самом деле он просто не поладил с начальством в техникуме, где преподавал математику и физику (тогда мы жили в Воронежской области), вот на него и «стукнули». Мама всегда говорила, что точно знает, кто это сделал. Осудили отца, как положено, по 58-й статье на 10 лет без права переписки, потом в документах по реабилитации написали, что он умер от воспаления легких в 1943 года. И только теперь выяснилось, что он был расстрелян в мае 1938 года.

Я пишу об отце, хотя на первый взгляд это не относится к оккупации, но, я думаю, если бы не было известно, что отец арестован, мы, может быть, не уцелели бы во время оккупации. Мама у нас была русская, а отец — каких-то смешанных кровей, с явной долей еврейской, в результате чего меня зовут Эсфирь. Мы, конечно, при немцах изо всех сил скрывали мое полное имя, я была Эльвира, но назначенный немцами староста (ужасный был мужик — неместный, грубый и страшный) при обходах говорил маме: «Смотри тут, сиди тихо, а то расскажу, где жида скрываются!»

Так вот, немцы вошли в наши Пены 1 декабря 1941 года. Мне шел восьмой год, сестре было 14, а маме — 40 лет. Целый месяц до появления немцев у нас было очень страшное время, оно называлось «безвластие» и «растациловка». Наши войска прошли через село в конце октября. Они стояли в Пенах 3–4 дня, взорвали завод, вернее, все, что от него осталось после эвакуации. Заводское начальство эвакуировалось вместе с заводом и семьями, а остальное население осталось, т. е. женщины, дети и старики. Мужчин я совсем не помню, все были мобилизованы и воевали. Но говорили, что кое-где появляются дезертиры или солдаты, выходящие из окружения, и делают, что хотят — власти-то, мол, никакой нет. Это было очень страшно: быть абсолютно беззащитными и бессильными, обреченными на неизвестность. А еще надо было что-то есть и чем-то топить печку.

Мы жили очень бедно: зарплата у учительницы сельской школы была очень маленькая, запасов никаких не было. Мама вместе с другими знакомыми женщинами ходила в ближайшие деревни менять какие-то домашние вещи на продукты. Свой огород у нас, правда, был, но это только картошка и овощи, а хлеб? И какие-то жиры или хоть молоко. Хозяйства у нас было — три курицы, жившие в зимние холода вместе с нами, и их тоже надо было чем-то кормить. А квартира у нас была совершенно убогая — две крошечные каморки, где плита — там кухня.

Потолок протекал и прогибался. Посреди кухни стояла подпорка. Крыша была соломенная и дырявая. Это такая была «жилплощадь», которой школа обеспечила свою учительницу. И то хорошо — не забрали вместе с отцом и даже не исключили из профсоюза, а значит, все-таки взяли на работу.

В этот месяц до прихода немцев все занимались двумя главными делами: тащили с территории завода все, что могло пригодиться в хозяйстве, — доски, железо и, главное, каменный уголь, на котором завод работал.

Уголь — это была главная надежда как-то согреться той лютой зимой. Кроме того, в рабочих емкостях завода осталось некоторое количество патоки, как пищевой, так и неочищенной, так называемого утфеля. Утфель тоже содержал много сахара, но там были какие-то едкие примеси, есть его было невозможно, но самогон из него получался отменный. Всех этих благ нам почти не досталось, много ли могла унести на себе моя мама с ее слабым сердцем? И все-таки мы тоже (мама и я — сестру оставляли стеречь дом) ходили на завод и тащили, что могли: мама — мешок с углем за спиной, а я — какие-нибудь дощечки на растопку.

И еще в это же время мы перебрались в другую квартиру. В рабочем поселке после эвакуации освободилось довольно много приличного (по тем меркам) жилья, но эти квартиры были не для нас, нам их было не обогреть. Мама нашла недалеко от своей школы пустую квартиру тоже из двух комнат, но побольше нашей прежней, с железной крышей и внутри 5-квартирного дома, так что только одна стена с окнами выходила на улицу, а остальные — в теплые соседние квартиры. Вот так мы «улучшили свои жилищные условия». Потом оказалось, что, не польстившись на более просторное жилье, мы очень выиграли не только в отоплении. Главное — к нам не вселились немцы!

Немцы вошли в село совсем тихо. Слухи о том, что то в одной, то в другой из ближних деревень их уже видели, ходили недели две. Но боев нигде не было, бомбежек и канонады тоже не было слышно. Каждое утро мы выглядывали в окно — уже есть или еще нет?

И вот 1 декабря 1941 года смотрим — ходят. В зеленоватой форме, вооруженные, но вполне тихие и спокойные. Расклеили везде какие-то объявления и ушли в центр поселка. Там были двухэтажные кирпичные заводские административные здания, их никто не взрывал и не растаскивал, и немцы быстро обустроили в них комендатуру, казармы и всякие другие службы.

В первый же день они свалили памятник Ленину, стоявший в центральном сквере недалеко от заводской проходной. А на третий день в этом же сквере повесили троих мужчин. Ходили слухи, что один из этих троих — начальник истребительного отряда (это такие подразделения, которые наши специально оставляли для борьбы в тылу у немцев), которого якобы выдали свои же. Вторым был назначенный немцами из местных директор (или управляющий?) пекарней, который ухитрился в первые же два дня что-то там украсть. Кто был третий — не помню. После этого все ужасы как-то прекратились.

В развешанных везде объявлениях было написано, чего нельзя делать, и за всякое нарушение полагался расстрел. Какие там были запреты — я уже не помню. Помню только, что надо было сдать все радиоприемники и даже репродукторы (мы свою мятую черную «тарелку» спрятали в сарае в дровах), и еще что-то про комендантский час. И еще — никакого, даже самого мелкого воровства, иначе — расстрел. Воровство и вправду прекратилось. И через некоторое время мы даже вообще перестали запирать двери, даже на ночь. Незачем было. Если чего-то надо немцу — ему и замок не помешает, а свои уж точно знали, что или расстреляют, или повесят. Ни одного случая воровства не было, даже с огорода.

Итак, стали мы жить при немецком порядке. Старались особенно на глаза им не попадаться и без крайней надобности из дома не выходить. Но контакты все-таки начали происходить. Сначала все дома обошел староста вместе с вооруженным солдатом. Про старосту я уже сказала, и его мы испугались больше, чем этого солдата. А потом в некоторые квартиры, где хозяева покультурнее и площадь побольше, стали селиться немецкие, венгерские и даже румынские офицеры. Вот тут и началось общение. Хозяев квартир они не выгоняли, а просто занимали одну из комнат. Обслуживали их собственные денщики, встречавшиеся с хозяевами в основном у плиты. И все было вполне тихо и мирно. Как-то ни

у кого не возникало намерения в чем-либо конфликтовать с оккупантами.

Симпатичный разведчик

Первый такой офицер, с которым мы познакомились, поселился у наших очень близких друзей, которые в буквальном смысле спасли нас после ареста отца. Мы три месяца жили у них, и потом они же помогли маме устроиться на работу. Их было трое: отец — В. К., завуч и преподаватель русского языка и литературы в заводской школе, мать — Е. Н., математик в той же школе, и их сын Сережа, на год старше меня. В. К., конечно, был уже в армии, а Е. Н. и Сережа остались в Пенах. И вот у них поселился этот интересный немецкий офицер. Он был щупленький, невзрачный, очень доброжелательный и, главное, абсолютно правильно и без малейшего акцента говорил по-русски! Наши мамы в изумлении спросили: «Как это?» А он сказал, что он по профессии разведчик и специально учил русский язык несколько лет. «И вообще, Германия давно готовилась к этой войне», — сказал он и показал нам свой мягкий черный хлеб, на котором была дата выпечки — 1938. Он, конечно, знал, что у Е. Н. муж воюет, а у нас отец в тюрьме, но это как-то ничего не меняло. Жен и матерей воюющих мужчин специально не преследовали, это было в порядке вещей — война.

Вообще, надо сказать, что во все время оккупации тяжким повседневным гнетом был не страх перед конкретными немцами, а голод, холод и неотступная мысль о том, что каждое мгновение там, на фронте, убивают твоих родных и близких. А у мамы воевали три младших брата и сестра. И еще постоянное ощущение того, что ты — неполноценный. Вот они — хозяйева, люди, а ты — мусор, в лучшем случае — второй сорт. Это было как-то мучительно противоестественно. Я по-детски еще не

очень обращала на это внимание, а сестра очень страдала, у нее, как я теперь понимаю, было что-то вроде депрессии. Вот мама по необходимости как-то вспомнила свой гимназический немецкий и при нужде могла объясниться с немцами. А сестра, учившая немецкий в школе и имевшая большой словарный запас, чем мама, никогда в разговор не вступала. И с этим «русскоязычным» разведчиком тоже не могла общаться.

Украинские пленные

Они появились где-то в конце весны — начале лета. Около полуразрушенного и совершенно ободранного кирпичного здания бывшей сельской поликлиники немцы отгородили на окружающем поликлинику пустыре колючей проволокой небольшой участок — загон и держали там под открытым небом человек 30–50 (точно не помню) пленных. Говорили, что это украинские красноармейцы, которые сами сдались в плен, переживши дома раскулачивание и польстившись на обещание Гитлера вернуть украинцам землю. Люди смотрели на этих пленных со страхом и жалостью. Их никуда не выпускали, целыми днями они слонялись или сидели в пустом загоне голодные, в драных шинелях и каких-то опорках. Их караулил немецкий часовой с винтовкой. Он отгонял их от изгороди, когда кто-нибудь подходил к ней поближе и пытался просить у прохожих хлеба или картошки (загон был прямо около большой дороги, тянувшейся улица за улицей почти через все село с востока на запад). Женщины из деревни очень их жалели, даже обращались в комендатуру с просьбой принять кого-нибудь «в мужья» (на деревне без мужика очень тяжело), но ничего такого немцы не разрешали. Иногда, правда, отчаянные деревенские ребятишки лет 8–10 подбегали к изгороди и совали пленным что-нибудь из еды, но это было очень опас-

но. Немец кричал и махал винтовкой, мальчишки убежали и, надо сказать, ни разу никого не изловили. Отобрать еду тоже, конечно, не удавалось, ее съедали мгновенно. Продолжалось это, наверное, что-то около месяца, потом их всех куда-то увезли.

Лето

Лето, вообще, было тихое. Было такое впечатление, что в нашем селе устроили что-то вроде места отдыха для тех военных, которых не могли отправить в отпуск далеко в Германию. Места вокруг были очень красивые — река, с левого берега сплошные яблоневые сады, с правого — луга и небольшие холмы с редкими перелесками. Большие опасные леса начинались примерно в 20 км к северо-западу, по направлению к Брянску. Вот там было страшно. В селах днем немцы, а ночью — партизаны. И одни и другие чинят свою расправу. А у нас немцы налаживали связи с населением. Солдаты гуляли с деревенскими девушками и пользовались у них успехом, так как угощали конфетами и даже дарили цветы и играли на губных гармошках — развлекали и «не лапали сразу», а «вели себя культурно». Потом в результате этого «культурного поведения» на селе родилось несколько «немчат».

Вполне образованные девушки тоже не избегали близкого общения с немецкими офицерами. В доме директрисы маминой школы две ее взрослые дочери (19–20 лет) часто устраивали веселые сборища с танцами под патефон. Говорили, что они собираются уехать в Германию. Но куда они не уехали, а когда нас освободили — быстро повыходили замуж за наших офицеров и ушли с ними в армию воевать с немцами. А еще была такая красавица Катя, которую вместе с ее матерью не взял с собой в эвакуацию какой-то заводской начальник. Так вот эту Катю

действительно увез к себе в Румынию долго квартировавший у них князь Бато (так его называли).

В нашем доме было пять квартир разной площади. В одной из них, у нас за стеной, в большой трехкомнатной квартире жили двое: мать Л. Н., женщина лет 50, и ее 19-летняя дочь Галя. Галя была замечательная красавица украинского типа: смуглая, черноглазая, с длинными толстыми черными косами. И еще вдобавок она хорошо играла на пианино (у них был инструмент) и неплохо знала немецкий. Отец у них тоже был арестован, но он был областной хозяйственный начальник, кому-то там, наверху, не угодил, за это и посадили. Л. Н. и Галя приехали в Пены уже одни (по существу, скрылись в глуши, как и мы после ареста отца), за год-два до начала войны, и мы хорошо знали Галю, т. к. она учила Сережу музыке и этим подрабатывала. Девушка она была милая и прелестная, а мамаша у нее — ужасная злыдня и мегера, она была зла на весь свет, ее все не любили, а дети даже боялись.

Когда пришли немцы, она была страшно рада, сразу стала их всячески завлекать и в качестве приманки, конечно, использовала дочь. У них первых появился офицер, квартирант, и всем сразу было объявлено, что он на Гале женится и увезет ее в Германию. Галя не возражала, говорила, что она любит «своего Йосеньку» (так его звали), а на остальное ей плевать. Но Йосенька вскоре отбыл по своим военным делам, а Галя осталась. Она, правда, не очень горевала и вполне успешно работала переводчицей в комендатуре. И довольно скоро у них стал появляться молодой, бравый и веселый офицер СС в коричневой форме, со свастикой — все, как положено. Звали его Мюллер. Чаще всего он приезжал на велосипеде, весело приветствовал встречаемых жильцов разного возраста, меня — в том числе («Эльвира! Гутен морген!») и шел к Гале. Он не жил у них, только приезжал будто бы поиграть на пианино. И действительно, они с Галей много играли — и в четыре руки, и порознь, все больше немецкую классику. Мюллер играл лучше Гали. Через нашу общую тонкую

стенку между квартирами музыку и смех было хорошо слышно. Нас только очень удивляло, почему, что бы ни играл Мюллер, даже серенаду и баркаролу Шуберта, у него все было похоже на бодрый марш. Потом Мюллер перестал появляться. Мы решили, что, наверное, отпуск кончился. (Забегая вперед, скажу, что из всех местных девушек, так или иначе общавшихся с немцами, потом, после освобождения, Гале досталось больше всех. Ее долго таскали по допросам и в конце концов посадили, кажется, на два года. Говорили, что после тюрьмы она сильно изменилась, как будто потухла. А вскоре вышла замуж за одного из вернувшихся с войны сыновей Л. Х.)

Этим же летом у нас произошло событие, которое сейчас кажется мне совершенно невероятным. Выше я писала о семье наших друзей Е. Н., В. К. и Серееже. Е. Н. была родом из Воронежа, там у нее жила уже очень пожилая мама и три сестры — две старше Е. Н. и одна — младше. Воронеж, насколько я помню, немцы так и не взяли¹, но он был совершенно разбит, там были жестокие бомбежки, обстрелы и бои. Жить там стало невозможно и негде. И вот эти четыре женщины — матери Е. Н. было около 80 лет, старшей сестре за 50, средней — 40, а младшей — 28, да еще она хромала из-за последствий костного туберкулеза — все они пешком пришли к Е. Н. в Пены. Около 300 км — пешком, по чересполосице оккупированных и пустых деревень, держась поближе к железной дороге, чтобы не заблудиться... Они шли, кажется, месяц. И дошли. Старенькая мама, правда, вскоре умерла, а все сестры остались живы, после войны переехали в Воронеж и умерли в преклонном возрасте от 80 до 90 лет. В. К. погиб на войне в 1943 году. А Сергей со своей семьей живет в Воронеже и сейчас.

Чтобы как-то прокормиться, надо было работать. Конечно, и мама, и Е. Н. были взяты на учет как учителя. Это

¹ Воронеж был захвачен немцами в июле 1942-го и освобожден 25 января 1943 года.

давало право иметь огород (15 соток). Работала ли в школе Е. Н., я не помню, а мама что-то около двух месяцев в сельской школе учила ребятишек читать, считать и писать. Но потом в середине осени школу все-таки закрыли, устроили там казарму для молодежного гитлерюгенда (кошмарные были ребята, их все старались обходить по-дальше). А одна из сестер Е. Н., с музыкальным образованием, была приглашена руководить хором в клубе. И она очень даже хорошо руководила. Пела в этом хоре местная молодежь, даже моя сестра туда ходила. У нее был хороший слух и приятный альт, я до сих пор с ее голоса помню вторую партию в шубертовском «Мельнике». (Они вообще пели только немецкую классику, никаких военных маршей от них не требовали.) Платили ли что-нибудь за работу, я не помню. И были ли какие-то деньги — не помню совершенно.

Лорелея

После того как к Е. Н. пришли ее родные, немцы там, конечно, не жили, негде было. Но все-таки время от времени навевался какой-то офицер, разговаривал о том о сем. Однажды даже выдал какое-то лекарство заболевшему Сереже, и тот очень быстро поправился. Меня тоже как-то вылечил от ангины этот офицер: мама попросила Е. Н., та попросила офицера, и тот выдал таблетку. Мы не знали, что это за лекарство «от всех болезней». Видимо, это был какой-то антибиотик, мы о них еще не слышали.

Другой офицер ходил иногда и к нам. Правда, чином он был пониже (очень уж мы были, видимо, убогие) и как-то странно говорил, мама его с трудом понимала, даже при знакомых словах. Потом догадались — он просто был деревенщина и неправильно произносил слова. Мы не сразу поняли, зачем они ходят, но потом решили, что

немцы таким образом налаживают «культурные связи» и приглядывают за благонадежностью.

С нашим «надсмотрщиком» однажды случилась забавная история. Он заметил на столе сестрин учебник немецкого языка для 7-го класса и стал его просматривать. И наткнулся на страницу со стихами Гейне «Лорелея». Там было написано: «Lorelei. Heinrich Heine». Он был очень возмущен! Он сказал: «Это немецкая народная песня! А Гейне — это еврей!» А мама сказала: «Что я могу сказать, это ведь учебник!» Он ушел в задумчивости. А мы тихо торжествовали.

Магьяры

Почему-то их называли не венграми, а магьярами. Они отличались от немцев покромом формы (цвет был почти тот же) и чем-то неуловимым в общем облике: легкая походка, стройные, очень черноволосые и совершенно не похожие на врагов, даже какие-то приветливые.

На квартире одной из наших знакомых учительниц летом жили двое венгров — офицер какого-то довольно высокого чина, молодой, красивый, очень серьезный, и его — не знаю, как это называлось — кто-то вроде денщика. Звали денщика Имре, был он старше своего начальника лет на 10, лысоватый, чрезвычайно веселый и по своему дворянскому титулу будто бы даже выше его. Отношения между ними были абсолютно дружеские, даже свойские.

И вот эта венгерская парочка устраивала такие штучки. В гостях у учительницы собирались двое-трое ее коллег, в том числе моя мама и ее близкая подруга Е. Н. с детьми примерно моего возраста и чуть старше (сестра моя туда все-таки не ходила). В большой передней проходной комнате Имре начинал пляски с детьми под патефон и всяческое громкое веселье, а в задней комнате, где он,

собственно, со своим начальником и жил, этот начальник, имевший абсолютно запрещенный для населения, но полагавшийся ему по чину радиоприемник, потихоньку настраивался на Москву, и наши мамы слушали, слушали... Сам этот чудный мадьяр не слушал, он следил, чтобы никто снаружи не услышал и не увидел этого. А еще Имре катал нас, детей, на их офицерской легковой машине. Мы, конечно, были в восторге. Вот такой славный сюжет про мадьяр.

А второй сюжет — уже не про мадьяр, а про венгерских евреев — так их называли. Их было трое, они были в такой же форме, но без погон и ремней. Они возили огромную бочку с водой из реки в конюшни на двухколесной повозке, которую тащили сами вместо лошадей. Смотреть на это было ужасно: дорога от реки до конюшни — как сейчас вижу — шоссе из неровного булыжника и разбитая пыльная грунтовка, жарко, бочка огромная, вода выплескивается на колдобинах, и эти трое — согнутые, обливающиеся потом...

Но у них были свободные вечера. И тогда, вымывшись и переодевшись (не помню, во что, но вполне приличное), они ходили в гости к Л. Х. Она тоже была учительница, появилась в Пенах незадолго до войны, приехала, кажется, из Латвии. Ей было лет 50, по-русски она говорила с небольшим акцентом, была такая крупная, с большой полуседой кудрявой головой и большим носом. Я ее побаивалась — из-за необычной внешности. Что она преподавала — не помню, может — математику, а может — немецкий язык. Немецкий она знала прекрасно, и ее тут же завербовали работать в комендатуре. При том что у нее было два взрослых сына — студента, уже воюющих в нашей армии. И вот к этой даме в гости на чай вечерами ходили венгерские еврейские «водовозы». Соседи говорили, что они там играют на скрипке и в шахматы. И просто разговаривают и отдыхают душой.

Это все было летом. А потом, осенью, когда уже стало чувствоваться у немцев какое-то беспокойство, эти ев-

реи исчезли. Никто не знал, куда. Л. Х., конечно, тоже ничего не могла сказать, да ее и спрашивать боялись. Но прошел слух, что их расстреляли.

Румыны

Румыны были у нас недолго, и было их немного. Отличались они цветом формы (такое рыжеватое хаки) и тем, что от них надо было запира́ть двери. Он игнорировали немецкие запреты на воровство, и от них нужно было прятать птицу, молочные продукты, яйца и другую еду. Наверное, их хуже кормили. А в остальном они были совершенно безобидные, и за врагов их как-то не считали. Жаловаться на них в комендатуру за воровство тоже как-то не хотелось.

Осень и зима

Первая половина осени, по-видимому, ничем особенным от лета не отличалась, никаких событий, кроме тяжелых работ по уборке урожая картошки и других овощей, я не помню. А вот ближе к зиме стала чувствоваться какая-то тревога: никто к нам уже не ходил вести мирные разговоры, пару раз прилетали наши бомбардировщики (мы их от немецких научились четко отличать по звуку), но не бомбили, шли очень высоко. Информации о положении на фронте у нас, конечно, практически не было (что там услышишь и тем более чему поверишь из этого венгерского приемника?). Два раза до нас доходили уже через третьи-четвертые руки наши листовки, которые «прочти и передай товарищу». Мы, конечно, читали и надеялись, но понимали, что правды там, наверное, тоже не очень много... Но все-таки настроение у немцев перестало быть та-

ким безмятежным, как летом. Стали доходить слухи, что забирают, грузят в эшелоны и увозят в Германию молодежь, кто покрепче и поздоровее — работать на заводах или слугами у частных хозяев. Забирали насильно — ехать никто не хотел, скрывались, как могли. Мама очень боялась за сестру, ей уже было 15 лет, хотя она выглядела максимум на 13 — все мы были очень худые и заморенные. Но все-таки когда поблизости появлялись вооруженные немецкие солдаты (они ходили по домам парами), то сестра быстро прыгала в кровать, укрывалась до глаз одеялом и от страха выглядела совершенно больной. И если солдаты заходили, то мама говорила, что у дочери тиф. И они сразу уходили — тифа очень боялись.

Все же однажды случился прокол. Это было уже ближе к зиме. О том, что фронт, видимо, приближается, мы могли судить по постоянно идущим на восток эшелонам (летом их как-то не было слышно) и по тому, что немцы каждый день стали собирать группы молодежи и гонять (так это называлось — как скот) их в пристанционный лесок, где были склады со снарядами. И эти ящики со снарядами надо было грузить на железнодорожные платформы. Самое опасное было то, что как раз на станцию чаще всего были налеты наших самолетов, они пытались бомбить железнодорожное полотно и эшелоны, правда, пока безуспешно, но ведь когда-то могло стать и успешным. Если бы бомба попала в этот лесок со снарядами, там бы просто ничего не осталось.

Как ни пряталась моя сестра, однажды она все-таки попалась: пошла днем за чем-то к подружке, и там их обеих и замели. Мы сначала ничего не подозревали, но когда сестра что-то долго на возвращалась, мама побежала к этой подружке домой и там от ее перепуганной матери все узнала. Это было часа в 2–3 дня. И сделать-то ничего нельзя. Так обе мамы в полуобморочном состоянии до вечера слушали, не летят ли бомбардировщики, не бомбят ли станцию и заодно не заберут ли обеих девочек прямо в эшелон и в Германию.

Обошлось. Часов в 7 вечера девочки вернулись. Ужасно измученные и напуганные, но целые и невредимые. После этого сестра уже дальше 20 м от дома днем не выходила, только за водой в уличную колонку, основательно осмотревшись. Вечером, как ни странно, было безопаснее, «рабочий день» кончался, и никого не забирали и никуда не гоняли.

Отступление и освобождение

В общем, уже чувствовалось, что идет отступление, и мы жили со смешанным чувством нетерпеливого ожидания скорейшего освобождения и страха перед возможными боями.

Когда наступил февраль 1943 года, стало понятно, что вот уже скоро, скоро... Немцы уже не просто отступали, они бежали. Хотя эта зима по сравнению с предыдущей была не очень морозная, даже с оттепелями, все равно вид у немцев был жалкий. Многие были обморожены, на ногах поверх сапог у них были такие эрзац-валенки — огромные бахилы из лыка с соломой, мокрые и тяжелые. Остальное обмундирование тоже было хлипкое, на головах у солдат — пилотки с отогнутыми на уши краями. Вот такими они тащились по зимней слякоти, реже — в машинах, чаще — пешком. Картина была ужасная. Мирное население они не задевали, иногда только заходили погреться и выпить чего-нибудь горячего. И люди их жалели. Хотя почти в каждой семье кто-то воевал там где-то на фронте, может, и погиб уже, но этих обмороженных и почти беспомощных бедолаг было жалко. Как я помню, пока и поскольку у нас оккупанты были довольно мирные, особенной такой ненависти к ним не было. Но все люто ненавидели персонально Гитлера. Он был причиной и олицетворением всей войны. И глядя на этих бегущих помороженных

солдатики, многие люди как-то чувствовали, что они — тоже обыкновенные подневольные люди.

Раз уж было такое поспешное бегство, то и наша убогая квартира сгодилась для немецких постояльцев. Я помню три таких эпизода.

Первый — двое немецких солдат зашли днем погреться. Они сидели полуголые у топящейся плиты и, сняв рубахи, искали в них вшей, и когда ловили, то радостно гоготали, говорили «партизанен» и бросали на горячую плиту. Объясняли маме, что вши — это тиф и страшнее партизан. Эти двое погрелись, чего-то поели-попили (с продовольствием у немцев, кстати, никаких проблем не было) и ушли еще днем, не ночевали.

Второй эпизод — грустный. К нам на одну ночь поселился молоденький (23 лет) фельдфебель, помороженный и с высокой температурой, и при нем санитар — совсем мальчишка, рыженький и тощенький лет 16. Звали его Герхардт. Офицерик был высокомерный, быстро вытряхнул нас всех в кухню и залег в комнате на кровать. А санитар всячески за ним ухаживал, готовил ему на плите еду и питье, кормил лекарствами и т. п. И сидел с нами на кухне весь вечер, разговаривал с мамой. Мама его спросила, что он будет делать после войны. Раз он санитар, то, наверное, будет учиться на врача? Он ответил, что нет, конечно, на это нужно очень много денег, у них в семье столько нет. Тогда мама ему сказала, что-де у нас в стране образование бесплатное. Он изумился, даже не мог поверить, а потом сказал (дословно помню): «Это мы, молодые, кричим: "Хайль Гитлер!", а папа с мамой говорят: "Плохой Гитлер"».

Сразу после этих слов больной офицерик призвал санитаря к себе, и больше он вечером к нам не вышел, наверное, получил внушение. Утром они двинулись дальше. Этот мальчик-санитар, видно, очень не хотел никуда двигаться. Он долго прощался с нами и оставил на память свою красивую фотографию в военной форме и с надписью. Уж не помню, что он там написал, но что «от

Герхардта» — помню точно. Нам было очень его жалко. Потом говорили, что «их всех положили под Льговом» (после того как нас освободили, Льгов в 18 км к западу от Пен, брали еще дня три, там были большие бои). А фотографию мы, конечно, сожгли, из-за нее ведь потом и погибнуть можно было. Но чувствовали себя при этом паршиво, как будто сделали подлость.

Третий эпизод случился дня за два до освобождения.

Утром к нам зашел немецкий офицер, осмотрелся, сказал, что остановится у нас на одну ночь и спать будет здесь — указал на стоявший в кухне у стены большой бабушкин сундук, часто служивший у нас и кроватью. Из комнаты он нас выставлять не стал. Потом положил на этот сундук какую-то свою амуницию и, к нашему изумлению, оружие и ушел, сказав, что придет поздно. Вид у него был вполне мирный, но какой-то очень невеселый и озабоченный. В общем, это было понятно. И не страшно.

А потом произошел такой казус. Как я уже писала, дом наш стоял метрах в 20 от большой дороги, по которой и совершалось отступление. Мы старались совсем не выходить из дома, только по крайней необходимости: за водой и за топливом. Но тут мама зачем-то на минутку забежала к соседке (вход в ее квартиру был в 5–6 метрах от нашей двери). В это время по дороге несли целый санный обоз казаков-власовцев, все пьяные, с диким гиканьем, воплями и ужасным матом. Говорили, что они на своем пути крушат все и страшнее их никого нет. И угораздило маму в этот момент выскочить от соседки на улицу. Тут откуда-то совсем рядом взялся этот самый ужасный казак и с криками и матом побежал за ней так прытко, что, вскочив к себе в сени, мама даже не успела запереть дверь на крючок, и он ввалился в кухню со всей своей красной рожей, перегаром и матом. Намерения его были абсолютно недвусмысленные, но мама, от ужаса, наверное, не растерялась и, указав на немецкое снаряжение, сказала, что у нас уже есть по-

стоялец, вот его вещи, и скоро он придет. Буйный казак слинял мгновенно в прямом и переносном смысле: из красного он стал белым, замолк и вылетел на улицу. И еще бежал по улице — мы в окно видели. Вот так нас спас даже не сам немецкий офицер, а только вид его вещей. Сам он пришел поздно, мы с сестрой уже спали, а мама открыла ему входную дверь и ушла к нам в комнату. Потом она рассказывала, что он очень тихо помылся, что-то поел (мама сказала, что, наверное, очень воспитанный человек, ел совсем неслышно, не гремел посудой и не чавкал), утром встал рано, сказал «спасибо» и «до свидания» и ушел, не подозревая, от чего и как он нас спас.

Все эти события происходили уже под почти непрерывный звук приближающейся канонады и гудение самолетов, шедших на большой высоте в обе стороны. Мы понимали, что уже вот-вот... Но очень боялись, что немцы перестанут бежать, и бой будет прямо у нас в селе. В эти дни немцы стали жечь свои склады с зерном, расположенные где-то в районе завода. Люди бежали туда, надеясь хоть что-нибудь спасти и унести, ведь с хлебом-то было совсем плохо. Но это пожарище, пылавшее днем и ночью двое суток, немцы охраняли очень бдительно и начинали стрелять сразу же, как только кто-то подходил опасно близко. Никого, правда, не убили, но зерно сгорело все, ничего не удалось спасти.

В ночь с 24 на 25 февраля мы уже совсем испугались и решили пересидеть ее в погребке-землянке, где зимой в закромах и кадушках хранились картошка, капуста, соленые огурцы и другие овощи. Сидеть там было очень неудобно — холодно, сыро, тесно, душно, грязно. Спать там было невозможно, мы только измучились. И мама решила — будем сидеть дома, ну, попадет бомба или снаряд — значит судьба, погибнем вместе.

Ночь с 25-го на 26-е была поначалу довольно тихой, а в 5 часов утра нас разбудил какой-то странный и очень сильный гул, прямо земля дрожала. Это по нашей доро-

ге шла колонна наших танков! Со звездами! И с нашими солдатами прямо наверху, на броне! Все люди из домов вдоль дороги высыпали на улицу, плакали, смеялись, кричали что-то, солдаты тоже смеялись и махали нам своими теплыми шапками. И такие они были замечательные, такие веселые, сильные и надежные... Это было счастье.

Мне сейчас 75 лет, это было 66 лет назад, но я все равно не могу сдержать слез, когда пишу это. Поймите, у всех было чувство, что мы снова стали людьми. Это огромное чувство освобождения было не менее потрясающим, чем испытанное через два года чувство победы. И в победе тогда было важнее не то, что победа, а то, что войне конец. Ничего хуже войны на свете нет.

Постскриптум

Последнее неожиданное и очень острое переживание оккупации случилось у меня тридцатью годами позже. Уже жила и работала я в Ленинграде, и, несмотря на мое «компрометирующее» прошлое (арест отца, пребывание на оккупированной территории) мне как-то удалось по туристической путевке выехать в Венгрию и Югославию. Это было в конце ноября 1973 года, т. е. уже много времени спустя после венгерских и чешских событий.

От Ленинграда до Будапешта мы ехали поездом. После пограничной станции Чоп все пассажиры прилипли к окнам и смотрели на «заграницу». Правда, видно было мало — уже вечерело и смеркалось. В Будапешт мы прибыли совсем вечером, и, еще не выйдя из вагона, я посмотрела в окно на ярко освещенный фонарями многолюдный перрон. И по этому перрону среди местных венгерских жителей ходили наши советские солдатики в наших советских

шинелях с погонами и шапках со звездами. Оружия у них я не заметила, вид у них был совершенно мирный, и никто на них особого внимания не обращал.

Но у меня вдруг перехватило дыхание и мурашки побежали по коже. Я как-то почувствовала себя на месте венгров, по земле которых по-хозяйски ходят чужие люди в чужой военной форме, пусть и вполне доброжелательные. И это невыносимо, как и нам тогда, во время оккупации, — с 1 декабря 1941-го по 26 февраля 1943-го, ровно 15 месяцев.

О себе

Я, Богданова (до замужества — Перняк) Эсфирь Гутмановна, родилась 29 декабря 1933 года в поселке Пены Курской области в семье сельских учителей. Вскоре после моего рождения семья переехала в Воронежскую область. Там накануне 1938 года был арестован и в мае 1938 года расстрелян мой отец. Мама со мной и моей старшей сестрой вернулась в Пены и стала работать учительницей в начальной сельской школе, в которой с 6 лет начала учиться и я. В 1950 году я окончила в тех же Пенах десятилетку и уехала учиться дальше в Ленинград. В 1955 году я окончила Ленинградский гидрометеорологический институт и по распределению уехала работать в Свердловскую гидрометеорологическую обсерваторию, поступив одновременно в заочную аспирантуру по специальности метеорология и климатология. Вернувшись в Ленинград в конце 1958 года, я стала работать сначала инженером-метеорологом, а потом — научным сотрудником в Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова (ГГО). В 1968 году защитила кандидатскую диссертацию. В обсерватории работаю до сих пор — уже в качестве консультанта.

Владимир Вычеров
К СЕМЕЙНОМУ ФОТОАЛЬБОМУ
(КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОРШНЕВО И СУХОЕ)

Два письма

Дорогая моя внученька Анюточка!
Эти записи я адресую и посвящаю тебе. Хотел бы, чтобы ты побольше знала о своем дедушке: где родился, как и где провел детство, где учился. Может быть, тебя это заинтересует, и ты продолжишь семейную летопись, сделаешь записи к своему семейному фотоальбому. Чтобы и твои дети знали лучше своих родителей, дедушек, бабушек.

Сейчас декабрь 2002 года. Ты приедешь ко мне из Москвы через две недели, 5 января. Я тороплюсь написать часть задуманного к твоему приезду, чтобы уже можно было тебе почитать. Да ты и сама хорошо читаешь, хотя тебе только пять лет. Мне пять лет было почти 60 лет назад, когда была Великая Отечественная война (1941–1945 годы), и научиться читать в этом возрасте у меня не было никакой возможности. Нет у меня и фотографий периода военного детства. Откуда они могли взяться? Да и после войны до 1950 года удалось сфотографироваться только два раза: один снимок со старшим братом Валея (он с гармошкой) и второй снимок с бабушкой. Я к ним сделал надписи в фотоальбومه. Но мне кажется, что этого слишком мало, чтобы почувствовать дух того интересного и очень трудного времени.

Особенно сильный поток воспоминаний нахлынул на меня от первой фотографии, сделанной летом 1944 года, через год после освобождения нашей деревни от немцев. И я решил закрепить картины воспоминаний на бумаге, чтобы они снова не убежали от меня и остались навсегда в нашем семейном фотоальбومه как списки (или копии) с отдельных страниц книги моей памяти.

Расскажу тебе, Анюта, подробно, насколько сумею, о своей родной деревне, о военном и послевоенном детстве, о том, что видел и что пережил, может, о том, что мне рассказывали из своей жизни мои дедушка и бабушка. Ведь далеко не все, что написано в книгах и газетах о

войне и послевоенной жизни в российских селах и деревнях, является правдой. Много приходилось замалчивать, о многом нельзя было говорить вообще. Сейчас времена изменились, можно писать правду. Но у каждого человека она своя, об этом тоже надо помнить, когда читаешь чьи-либо воспоминания. Я тебе расскажу свою правду, как я ее видел тогда и вижу теперь, с высоты своего возраста. Я стараюсь писать так, чтобы даже сейчас, в свои пять лет, ты многое поняла. Ну, а если что-то будет непонятно, не расстраивайся, подрастешь и все поймешь...

Давай, моя Анечка, будем помнить своих родителей, бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек... И к семейным альбомам с фотографиями будем приклеивать подробные объяснения. А если нет фотокарточек, то прикладывать записи, подобные моим. Давай не будем Иванами, не помнящими своего родства, это поговорка такая... Я тебя люблю.

Твой дедушка Володя.

23.12.02

Дорогая Лариса, доченька!

Как ты знаешь, эти записи я адресую твоей дочери, моей внучке Анюте. Но она еще маленькая, поэтому я дарю их тебе на память. Может посчитаешь нужным сохранить их в семейном архиве. Думаю, они тебя заинтересуют, потому что здесь изложено более подробно то, о чем я рассказывал Ромику и тебе, когда вы были маленькие, и вам нравилось слушать. А подрастет Анюта, отдай мои воспоминания ей. К тому времени и мой фотоальбом перейдет к вам... Написал я их очень быстро, в течение двух-трех недель декабря 2002 года. На меня нашло какое-то озарение, бывает это редко, как в юности, когда писал стихи. Надеюсь, посетит оно меня еще, и тогда будет продолжение воспоминаний и о студенческих годах, и о Кубе, и о Польше. Особенно о Польше — ведь я вел дневники (и они сохранились!) с вырезками из поль-

ских газет. Мы же были там в интереснейшее время зарождения и расцвета «солидарности»! Когда работал, все было некогда взяться за упорядочение записей. А теперь, будучи на пенсии, я имею возможность предаться пороку писать «мемуары», особенно зимой, когда становится тяжело на душе... Не осуждай меня за это... Я люблю тебя. Твой папа.

8.02.03

Приехал фотограф!

Летом 1944 года (еще где-то на западе шла война) к нам в деревню из Рыльска приехал на телеге фотограф с треногой и аппаратом. Вместо правой ноги у фотографа был протез в виде некрасивой деревяшки, расширяющейся к колену. Но это не мешало ему быть подвижным и веселым. Боже, что тут началось! Особенно среди детей и подростков: все захотели иметь фотокарточки. Мы забыли даже о минах, патронах, толовых шашках — своих любимых «игрушках», которые остались от немцев. (Ох, сколько же моих друзей-сверстников подорвалось на этих «игрушках»...) Местом съемки фотограф облюбовал сохранившуюся стенку единственного кирпичного дома в центре деревни. Дом назывался «Володиным» по имени его дореволюционного владельца. Эта стена хорошо освещалась солнцем почти весь день. На нее фотограф повесил экран из тонкого брезента, чтобы создать соответствующий фон. Остальные стены «Володиного дома» были разбиты «нашими» снарядами год назад, т. е. деревню обстреливали наши войска, расположившиеся на левом берегу реки Сейм. А по правобережным селеньям, в том числе и по нашей деревне, проходила передовая линия немецкой обороны. Это был кусочек центральной части Курской дуги в 12 км к югу от города Рыльска...

Весь день с шутками-прибаутками работал фотограф: «Не дергайся, как контуженный! Замри! Смотри сюда, сейчас вылетит птичка». И он ловко то снимал, то надевал на объектив аппарата черный, кожаный чехольчик. Вся ребятня приделась в свои лучшие одежды: штаны, рубашки, кепки. У многих не было ботинок: летом-то бегали босиком, до самых холодов, а зимой — валенки. Тут же на фотолужайке переодевались и обувались в ботинки тех, у кого они были. А Валя, мой старший брат, принес гармонь, которая у нас уцелела, потому что была надежно спрятана в коровьем хлеву, и немцы ее не нашли. Вот и стоим мы в лучших своих нарядах и смотрим, не мигая, из того далекого времени на ныне живущих детей и внуков, как бы спрашивая: «А знаете ли вы, как жили-были ваши дедушки и бабушки, когда были детьми?» Если не знаете, но хотите узнать, то послушайте нижеследующую быль.

Папа «варил» самолеты

Перед войной мой папа работал электросварщиком на Филевском авиационном заводе (под Москвой). Специальность электросварщика в то время была редкой и очень востребованной. Поэтому, когда началась война, папа получил бронь и в армию его не забрали. А мама с моим страшим братом Валею и мной уехала к своим родителям в деревню Моршнево: думалось, что в деревне будет легче пережить войну (однако все вышло наоборот)... Вскоре Филевский завод вместе с рабочими эвакуировали в Казань и там быстро построили авиационный завод, который выпускал самолеты для фронта. Папа говорил, что он «варил» самолеты и в первое время спал на рабочем месте: в цехах стояли раскладушки для рабочих. Потом их разместили в жилищах местных жителей... После освобождения Курской области в сентябре 1943 года папа неустанно писал письма на наш адрес, также зна-

комым, но письма не находили адресатов. Однажды он все-таки получил письмо от «доброжелателя-нелюдя». В письме сообщалось: «Семья твоя вся погибла, деточкам твоим повыкалывали глазки...» (Кто мог написать такую убийственную ложь? Папа потом искал автора, но не нашел.) Но наконец-то и мы получили долгожданное письмо от папы. И в 1944 году мама поехала к папе в Казань. У меня есть фотография моих родителей в Казани.

А летом 1946 года папа приехал к нам в деревню. Привез апельсинов, волейбольный мяч и игрушечный автомат, который «стрелял». Дедушка сохранил папино ружье, которое в свое время при обыске искали полицаи, но не нашли. И папа ходил на охоту на уток. Я это хорошо помню, потому что он иногда брал нас с Валею с собой. Прекрасно помню, как в августе 1946 года папа привел меня в хату-учительскую (школу еще только восстанавливали), чтобы записать меня в первый класс. Через год папа устроился на работу в электромеханический завод на железнодорожной станции Коренево в 15 км от деревни Моршнево. Ему дали земельный надел в 20 соток. На нем папа и мама с помощью дедушки построили себе избу (хату). Смотри на фото, где я жил и закончил десятилетку после Волобуевской семилетки, которую закончил, живя у дедушки и бабушки...

«Мне четвёртый год»

Уже осенью 1941 года мы оказались в немецкой оккупации. Вплоть до февраля 1943 года в деревне было более или менее спокойно. Войск никаких не было. Даже работала Волобуевская семилетняя школа (в соседнем селе), где учился Валя. В учебниках потребовали замазать портреты Ленина, Сталина. Жители оставались в своих хатах. Носителями новой власти были полицаи из местных, из своих. Но они иногда были еще более жестокие, чем

немцы. Всех коммунистов переловили. Правда, в Моршнево их почти не было. Расстреляли около нашей хаты лесника, проводили обыски — искали оружие. Был обыск и в нашей хате: искали папино ружье. Папа был охотником, и до войны бывал в Моршнево с ружьем: в дни отпуска охотился на уток. Дедушка спрятал ружье под застреху (на чердаке хаты). Не нашли, а копали совсем рядом. Если бы нашли, то всех бы расстреляли, такой был немецкий приказ. Но в целом было тихо. Колхоз ликвидировали, людям раздали землю, и они ее обрабатывали.

Летом 1942 года мне был четвертый год. Я помню, как мы с Валеёй ехали на возу вики с горохом, сидели на этой зеленой массе, с гордостью посматривая на всех свысока, а вел за узду лошадь дедушка, бабушка шла рядом. Это самые первые кадры моих детских воспоминаний. Помню, как на Покров день, 14 октября этого же года, у нас были гости. Сидели за столом, выпивали, закусывали. Сидели на длинных лавках. Для каждой лавки было припасено длинное-предлинное льняное домотканое полотенце из бабушкиного приданого. Оно лежало на коленях гостей во всю длину и служило салфеткой. Гости просили меня станцевать, спрашивали, сколько мне лет. Я топал ногами (это был танец) и отвечал: «Мне четтёлтый год». А бабушка поправляла: «Ну, какой же четтёлтый, тебе уже четыре года без трех дней».

В Моршнево Покров день — престольный праздник, и в гости приходили родственники и знакомые с соседних сел, где этот праздник не был престольным. Эту веками устоявшуюся традицию не сломала даже война.

Сейм — ничейная полоса

После того как немцы потерпели сокрушительное поражение под Сталинградом, в конце февраля 1943 года, их войска появились в наших краях. Они выстроили оборо-

ну, и их передовая линия проходила по селам и деревням правого берега реки Сейм (по крайней мере, от города Рильска на правом берегу Сейма через Семеново, Некрасово, Волобуево, Моршнево, Артюшково, Ишутино — см. карту в начале фотоальбома). Река Сейм шириной около 100 м стала ничейной полосой, так как на левом ее берегу закрепились наши войска. Между немецкой линией обороны и нашей было 2–6 км: ольховый лес, луг, река. Это был небольшой участок длиной 15 км центральной части Курской дуги. Но боев здесь не было, только артиллерийская перестрелка. Основные сражения на Курской дуге произошли в июле–августе 1943 года к северо-востоку от нас в районе города Поныри близ Орла и на юго-востоке, вблизи села Прохоровка (там было танковое сражение) и города Белгорода. Все это довольно далеко от нас, 150–180 километров...

Когда немцы устанавливали свою оборону, они заставили все взрослое население деревни (стариков, женщин, подростков) копать траншеи и окопы. Земля была мерзлая, и люди возвращались вечером измученные.

Чудом остались живы

В марте 1943 года немцы, вернее, мадьяры (венгры), начали выгонять жителей со всех сел и деревень, со своей передовой линии, в ближайший тыл, село Сухое (10 км к западу от Моршнево). Всех, кто не подчинялся или замешкался, или убегал — расстреливали. Наша семья — дедушка, бабушка, мама, Валя и я — чудом осталась жива. (А может, бабушкины молитвы помогли.) Когда убегали от мадьяров, хотели спрятаться в чьем-то подвале в соседнем селе Волобуево. Но в нем уже было много людей, некуда было приткнуться. И мы побежали дальше. А тот подвал мадьяры забросали гранатами. Отовсюду слышались выстрелы, автоматные очереди, взрывы снарядов.

На улице в Волобуево лежали убитые. Снаряды летели на нас из-за Сейма: наши войска обстреливали еще толком не сформировавшиеся немецкие позиции...

«Тикай до лису...»

Какое-то время мы и несколько других семей прятались в окрестных небольших лесах и оврагах, самое большое в километре от своей деревни, думали, что все это скоро кончится. Было холодно, голодно и страшно. Соорудили кое-какие шалаши, получился лагерь. Обитали в нем женщины, дети и единственный мужчина — наш дедушка. Однажды к нам нагрянул немецкий патруль, человек 5—6 с автоматами наизготовку. Что-то кричали. Они прочесывали местность, видимо, в поисках партизан. Мы уже прощались с жизнью, когда на нас наставили автоматы. Бабушка крестилась, обратив лицо к небу: «Господи милостивый, прости и помилуй нас грешных».

Немцы увидели у мамы вставной золотой зуб, хотели выбить его. Но бабушка бросилась на защиту своей дочери, крича: «Бронза это, бронза!» То ли бабушкин крик помог, то ли немцы подумали: действительно, откуда в этой глуши у какой-то старухи может быть золотой зуб? И они оставили маму в покое. Маме в то время было 29 лет, она выглядела молодо и привлекательно. Но бабушка, как только в деревне появились немцы, закутала маму в рваную одежду. На голове у нее был старый-престарый платок, завязанный по-старушечьи. Так мама и ходила по деревне, и в таком же наряде была в нашем лагере, чтобы не выглядеть молодой. А зуб она вставила действительно золотой, когда перед войной жила в Москве.

Немцы перерыли все наши пожитки, искали оружие, ничего, конечно, не нашли и, взяв с собой дедушку, повернули назад. Все женщины, как по команде, завывали в плаче, но бесполезно, дедушку увели. В Моршнево его

долго допрашивали, думали, что он партизан. Дедушка всю жизнь носил большую, красивую, окладистую бороду и выглядел стариком, хотя ему тогда было 55 лет. Немцы, видимо, поняли, что никакой он не партизан, но приказали переводчику, немцу, говорившему по-украински, увести дедушку подальше и расстрелять. Когда они подошли к лесу, немец сказал дедушке: «Тикай до лису» и выстрелил в воздух. Ни жив ни мертв дедушка вернулся в лагерь. (Эту святую правду рассказывал сам дедушка, и уже после войны у нас дома часто вспоминали этот случай, поэтому я так хорошо его знаю.) Значит, и среди немцев далеко не все были душегубы. Кстати, если бы вместо немецкого патруля на нас натолкнулся мадьярский, всех бы расстреляли без разговора.

«Остальное — мое!»

Есть в нашем лагере было нечего. Бабушка, прячась от немцев, ходила в деревню, чтобы принести оттуда чего-нибудь съестного. Иногда это были картошка или капуста, добытые в чьем-либо погребе, куда легче было проникнуть незамеченным. Однажды бабушка, Валя и соседка Нюся пошли в очередной раз за едой. Вышли они из кустов к колодцу, что стоял на краю деревни, решили достать воды. Колодец находился в широком овраге, метрах в двухстах от ближайшей хаты. Здесь же, чуть повыше, стояла хата дедушки, куда можно было пройти незамеченными через верхний огород и сад, а во дворе был вождеденный погреб. Но бабушка, Валя и Нюся пошли чуть-чуть другой дорогой. Колодец хорошо просматривался от крайних хат, где стоял немецкий часовой. Он охранял запретную зону, ведь это было передовая их обороны. Часовой увидел трех нарушителей и начал стрелять по ним. Те побежали по оврагу в кусты, но Нюся не смогла убежать, ее настигла пуля...

Становилось все хуже и хуже, мы голодали, мерзли. Иногда бабушке удавалось сварить кое-какой суп. Ели мы его из общей большой миски, потому что другой посуды у нас не было. И когда в миске оставалось еще довольно много супа, я кричал: «Остальное — мое!» И мои дорогие дедушка, бабушка, мама и Валя прекращали есть. Мне, как самому маленькому (мне было четыре с половиной года, а Вале на шесть больше), доставался остаток супа.

Мы наелись и повеселели

До сих пор не могу понять, почему мы так упорно цеплялись за шалаши в лесных оврагах и не хотели идти туда, куда нас гнали немцы, в село Сухое, к западу от Моршнево, подальше от передовой. Может быть, потому, что, хоть Сухое и находилось недалеко от нас (всего десять километров), но до войны почти никто толком и не знал, где это село. Дороги из Моршнево туда не было; знали, что Сухое — где-то там, за горой и лесом. Из Рыльска на Сухое была неплохая грунтовая дорога, по которой ездил еще Петр I: через Рыльск и село Сухое на Глушково и далее к местам Полтавского сражения со шведами. Останавливался с ночевкой в Рыльске. (Эти сведения я почерпнул гораздо позже.) Но Рыльск от нас еще дальше, чем Сухое...

Наконец, стало совсем невмоготу: или поумираем с голоду, или придут мадьяры и всех перестреляют. Не помню как, но мы все же оказались в этом селе. Село Сухое (часто говорят — Сухая, подразумеваемая, видимо, деревню, потому что село хоть и большое, но церкви в нем не было) раскидано среди холмов и оврагов. В нем много улиц и дворов, раз в пять оно больше Моршнево. Село почти не пострадало от войны, разве что у некоторых немцы отобрали коров и другую скотину, но не у всех, видимо, не успели. А разрушений никаких не было.

Приютила нас в своей хате тетя Настя. У нее уже были беженцы, но хватило места и нам. Мы были благодарны хозяйке за хлеб, картошку, капусту, которыми она щедро делилась с нами. Даже накормила медом! Наконец-то мы наелись и повеселели.

Вскоре мама нашла себе работу. Она умела хорошо шить одежду. Этому ремеслу она обучилась еще подростком у своей мамы, нашей бабушки. Одно время в Москве мама работала на швейной фабрике. Местные жители дали ей швейную машинку фирмы «Зингер», правда, старую, но исправную, и завалили заказами на пошив платьев, пиджаков, брюк. И работа закипела. И днем и ночью тарахтела машинка. Маме помогала бабушка. Но ей было некогда, надо было хлопотать, чтобы приготовить еду на всю семью. Расплачивались с мамой продуктами. У нас появилось молоко, сметана, творог, сало, яйца. Тут уж мы совсем повеселели!

Суп из потрошков

Иногда с мамой расплачивались живой курицей. Дедушка шел с ней за сарай, на дровосеке отрубал ей голову, и она прыгала, прыгала вверх около дровосеки, пока не успокаивалась. Бабушка ощипывала с нее перья, смолила, т. е. опаливала остатки перьев и пуха на маленьком костре из соломы и сухих веточек и щепок. По двору и огороду тети Насти разносился приятный запах паленой кожи курицы. Казалось, что ее совсем спалили, курица обугливалась, становилась почти черной. Но бабушка клала ее в широкую миску, ошпаривала кипятком и скоблила ножом. И курица светлела, оставаясь до конца обработки желто-коричневой. Из головы, ножек, потрошка и крылышек бабушка варила вкусный, ароматный суп. А куриную тушку разрезала на кусочки, чтобы всем хватило, и тушила вместе с картошкой, порезанной котелочками,

т. е. тонкими кругляшками, в печке, в чугуне. Перед концом тушения добавляла пару листочков лаврушки... Мы обедали, наслаждаясь едой. Мне и в голову не приходило кричать: «Остальное — мое!» Все были сыты.

...Будучи студентом, я приезжал на каникулы к своим родителям в Коренево. Однажды я привез из Москвы курицу. С продуктами тогда было плохо, особенно в провинциальных городах. В магазинах — ни мяса, ни колбасы. Правда, на рынках, базарах все это можно было купить, хоть и дорого. Привозили на них свою снедь колхозники, крестьяне, то, что удавалось вырастить на своих подворьях, приусадебных участках. В Москве с продуктами было легче, вот и ехали туда за мясными покупками люди из провинциальных городов. Ну, а я по пути прикупил в Москве в болгарском магазине «Варна» венгерскую курицу, прекрасно упакованную в целлофан, беленькую такую. Привез домой.

Мама меня немножко пожурела, мол, «чи ж у нас есть нечего, всего хватает, а нет, так у соседей куплю и курицу, и утку за молоко». Мама и папа в то время еще держали корову. Тем не менее мою курицу пришлось готовить. Мама старалась, но получилось не то. Курица сразу разварилась и развалилась, и суп не такой и жаркое не такое. Не понравилась маме моя курица, сказала, чтобы больше не привозил.

А сама через день принесла живую, купила у кого-то из соседок. Говорит мне: «Ну, сможешь отрубить ей голову, а то Василь (мой папа) прикидывается, что не умеет, приходится мне». Я тоже отказался, и мама со словами: «Эх вы, мужики» — взяла топор, курицу и пошла к дровосеке. Я последовал за ней. Все повторилось один к одному, как в детстве, в селе Сухом. Также прыгала курица без головы, также ее смолили и был вкуснейший, ароматный суп из потрошка, головы и крылышек настоящей деревенской курицы, которую кормили зерном, а не комбикормом из «рыбьей» муки. Да и сама курица свободно ходила по двору, а иногда и огороду, клевала, что ей хотелось, в том числе и червяков. Поэтому она была такая вкусная.

«Дождик, дождик, перестань...»

У нашей хозяйки тети Насти было три дочери почти такого же возраста, как мы с Вале́й, может, чуть постарше. Мы быстро с ними сдружились и вместе играли. В нашем распоряжении были вся весна и все лето 1943 года. Прекрасно помню, как мы босиком прыгали по лужам под летним дождем и кричали: «Дождик, дождик, перестань, мы поедem во Рязань богу молиться, Христу поклониться...»

...В июне 1955 года, на Троицу, я пришел в село Сухое вместе с друзьями папы и мамы — Поповыми дядей Ваней и тетей Пашей. У них там жили родители. Троица — это престольный праздник здесь. Все хаты побелены, украшены веточками берез, на полах пахучая трава чабрец, пахнет жареными курами и утками, сварены обязательные холодец и самогон, никто на колхозные работы в этот день не идет, колхозное начальство тоже празднует, хотя официально этот день рабочий. (Правда, Троица всегда бывает в воскресенье, но в колхозе выходные не давались, это вам не город.) Пьют, гуляют, играет гармошка. У меня был фотоаппарат «Смена» и две пленки. Зашел я к тете Насте, встретился с ее дочерьми, они были уже красавицами-невестами. Меня хорошо приняли, посадили за праздничный стол. Мы смеялись, вспоминая военное детство. Я сделал много снимков, а потом приехал на велосипеде и отдал карточки.

Снова в своей деревне

Отступали немцы в спешке в конце августа 1943 года. Лил сильный дождь. Мы смотрели из окон хаты тети Насти, как по грязной дороге день и ночь ползли немецкие машины и подводы, утопая по самые оси колес в русском черноземе. Подводы, оборудованные специальными приспособлениями, чтобы в них можно было положить

как можно больше груза, тащили огромные лошади — тяжеловозы немецкой породы. Машины буксовали, глохли. Слышались гортанные крики немцев, видимо, ругавших и погоду, и русские дороги. Когда грузовики застревали намертво, бессильно буксуя, немцы распрягали двух тяжеловозов, и те, оставив на время свои тяжелые вozy, вытаскивали их...

На следующий день после последнего обоза дедушка и Валя ушли в Моршнево. Бабушка и я оставались в селе Сухом еще дня два: мое тело было покрыто чирьями, большими и маленькими, и бабушка купала меня в отваре болотной травы череды, которой в народе издавна лечили фурункулез. А потом потихоньку, с многочисленными остановками на отдых, мы с бабушкой тоже пришли в Моршнево. Мама оставалась в Сухом на заработках.

Когда дедушка и Валя вернулись домой, их встретили четыре стены хаты. Верх был снесен снарядам. Война прокатилась через нашу деревню со всей жестокостью. От хат остались или крупные воронки от прямых попаданий снарядов, прилетавших из-за Сейма (это наши войска обстреливали немецкие укрепления) или две-три, редко — четыре, стены с торчащими остовами печей. Ольховый лес и особенно луг перед рекой немцы превратили в минное поле. Вдоль всей улицы деревни гадюкой извивалась траншея глубиной в рост человека. У нашей хаты она изогнулась и через ворота вползла во двор и далее через сад удалилась к орешниковому леску с широким оврагом, чтобы там вильнуть и выползти у трех хат, стоявших на пригорке в некотором отдалении от дедушкиного двора...

Увидев свою раненую хату, дедушка радостно сказал: «Слава богу, что хоть четыре стены уцелели, да потолок, да печка, хоть и без трубы. Все наладим с божьей помощью!» А бабушка, глядя на весь этот разор, плакала и молилась: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Дай нам силы восстановить жилище наше...»

Сначала дедушка подлечил печку. В хате она осталась нетронутой, а трубы над потолком не было. И дедушка сложил новую трубу, сначала невысокую, и через нее валил дым. А по мере восстановления крыши он удлинял ее. Траншею во дворе засыпали быстро: Валя и я помогли дедушке и бабушке.

Недели через две после нашего возвращения к нам «в гости» пришла мама, принесла продукты и гостинец: самодельные медовые пряники, которыми маму угостила хозяйка, у которой мама квартировала. Помню, как я был рад ее приходу и как не отпускал маму, не хотел, чтобы она снова уходила. Я вцепился в ее одежду, плакал. Плакала и мама, и не было такой силы, которая могла бы отцепить меня от нее...

К зиме дедушка восстановил крышу, накрыл ее болотной травой осокой, удлинил трубу так, что она красиво возвышалась над хатой. И мы зимовали у себя дома, в своей хате, были рады и счастливы.

Вот моя деревня!

Наша деревня Моршнево затерялась среди холмов и низин западной части Средне-Русской возвышенности, на правом берегу реки Сейм, притока Десны. В 15 км (все расстояния указываю по прямой линии) к северу от деревни расположен древний город Рыльск, тоже на правом берегу Сейма. Он упоминается в летописи под 1152 годом. Ближайшая железнодорожная станция Коренево расположена на левом берегу тоже в 15 км от деревни, если по прямой вдоль реки и по лугу. А в объезд, по проезжей дороге через мост, то все 25. Лежит Коренево к юго-востоку от Моршнево. От Рыльска до Курска (восточное направление) — 120 км. Курск тоже древний город, на правом берегу Сейма, упоминается в «Слове о полку Игореве» (Всеволод, князь курский, говорит свое-

му родному брату Игорю, князю Новгород-Северскому: «Седлай же, брат, своих борзых коней, а мои-то готовы, оседланы у Курска еще раньше. А мои-то куряне — опытные воины: под шлемами взлелеяны, с конца копья вскормлены...»). Кстати, город Новгород-Северский лежит в 120 км от Рыльска в северо-западном направлении.

Что я знаю о дедушке и бабушке

В Моршнево родился, жил и умер мой дедушка по маме, Новиков Дмитрий Петрович (1888–1966). У дедушкиного отца, Новикова Петра Николаевича, был брат Афанасий. Все они родились и жили в Моршнево, работали на земле как свободные крестьяне, потому что деревня наша никогда не была крепостной, т. е. не была собственностью никакого помещика. Дедушка был младшим ребенком и единственным сыном у Петра Николаевича. У дедушки было пять сестер. Одна из них жила в Моршнево. Я ее знал, остальных выдали замуж в соседние села. Дедушка унаследовал хозяйство (подворье) своего отца. У Афанасия Николаевича в Моршнево жили три сына: Василий, Иван и Семен, это двоюродные братья дедушки, я хорошо их знал. У них были дети такого же возраста, как мы с Валею, вместе пережили войну, вместе играли и учились. Хата Ивана Афанасьевича стояла напротив (через улицу) дедушкиной. Знаю, что у дедушкиного дедушки, Николая, было отчество Фомич. Далее мои познания семейного дерева по дедушкиной линии заканчиваются.

Родословную своей бабушки по линии мамы я знаю совсем плохо. Родилась моя бабушка Новикова (Князева) Наталья Васильевна в 1890 году в селе Пушкарное, что находится на полпути из Коренево в Рыльск или в 6 км от Моршнево, за речкой, т. е. на левом берегу Сейма. Умерла она в 1974 году. Папу бабушки убили зимой 1918 года. Он занимался подледным ловом вьюнов (рыба

такая) на Пушкарском болоте. Поехал проверять снасти и его кто-то убил, лошадь сама пришла домой, а на снях убитый Василий, отчества его я не знаю. Так рассказывала бабушка. Ее выдали замуж в 1910 году (?), и она стала жить в Моршнево. У них с дедушкой было двое детей: моя мама, Вычерова (Новикова) Татьяна Дмитриевна (1914–1991), и сын Василий (1918–1941), мой дядя, он погиб на войне, был танкистом...

На Покров день гуси жирные

Деревня Моршнево представляла собой одну-единственную горбатую улицу длиной около одного километра. Называлась она деревней потому, что здесь не было церкви, люди ходили в церковь в соседнее село Артюшково. Престольным праздником этой церкви был Покров день, 14 октября. Все прихожане отмечали этот праздник и в советское время, хотя власти этого не поощряли, а скорей, запрещали. Но люди упорно стояли на своем и праздновали еще более рьяно. К этому дню белили внутри и снаружи свои хаты, готовили вкусные кушанья. Обязательно варили холодец и жарили гусей. К этому времени гуси уже набирали вес и жир, паслись на полях, где закончили уборку пшеницы или жита (ржи), но колосков там оставалось много, и гуси ими кормились. В этот день жители деревни принимали и угощали гостей, обычно дальних и близких родственников из других сел, где Покров день не был престольным праздником. Например, из Волобуево или Пушкарного. Там престольным праздником был день Успения богородицы (день смерти матери Иисуса Христа). Отмечался он 28 августа. И тогда люди из Моршнево шли в гости к своим родственникам в эти села, так было принято испокон веку, т. е. очень давно. Дедушка говорил, что гуси на Успение невкусные, одни кости, не успели нагулять мяса и жира. А на Покров день — жирные, вкусные.

Тесовые ворота

Хаты в Моршнево стояли справа и слева, образуя улицу. С фасада почти у каждой хаты был палисадник — огороженный кусочек земли на ширину хаты. В нашем палисаднике росли пионы, георгины и большой куст сирени. Когда сирень цвела, мальчишки ее воровали, но бабушка с бабушкой на них не ругались, ее все равно надо обламывать, чтобы хорошо цвела на следующий год.

За хатой, вернее, за двором, — сад и огород. У бабушки это был верхний огород, на склоне поднятия в рельефе. Вход в хату был со двора через сени. А во двор входили через ворота или калитку, если у кого не было ворот. У хорошего хозяина ворота — это солидное сооружение. Три дубовые верей, вкопанные в землю. Каждая из них толщиной до 25 см. Что такое верей? Дубовое бревно длиной метра 3–4 обтесывали топором по бокам так, чтобы образовались четыре грани (отсюда тесовые ворота). Получалась верей. Дубовая потому, что дуб в земле почти не гниет. Вкапывали их в землю на неодинаковом расстоянии друг от дружки. Первая от второй на удалении около метра, а третья в 3–4 метрах от второй, чтобы был просторный въезд, например для телеги с возом сена. На верей навешивались створки ворот из досок, прибитых вертикально или наискось. По всей длине ворот делалась узкая крыша тоже из досок. Слева и справа к воротам примыкал высокий забор из досок. По качеству и красоте ворот можно было судить о достатке, вкусе и трудолюбии хозяина двора. После войны таких ворот в деревне осталось немного. У нас они сохранились. Это были уже старые ворота, которые достались бабушке от его отца.

Янтарные груши

В каждом дворе был погреб для хранения овощей и солений, сарай для сена, хлевы для коровы и овец, сви-

нарник, уборная «типа сортир». В дедушкином дворе сохранился даже большой деревянный амбар дореволюционной постройки, где раньше хранили зерно. В то время там хранилась всякая домашняя утварь, а осенью на соломе на полу лежали яблоки, груши, сливы. В погребе стояли кадушки (кадки) с солеными огурцами, помидорами, квашеной капустой и мочеными антоновскими яблоками, пересыпанными мелкими грушами. Груши назывались желтыми, потому что в моченом виде были как будто янтарные, прямо светились, обладали изумительным вкусом. А сырые, обычные, были невзрачные и невкусные. Для мочения годились груши только этого сорта. У дедушки в саду росло два дерева таких груш. (Будучи студентом, в конце 50-х годов я приезжал к дедушке и бабушке на зимние каникулы, дедушка угощал меня мочеными яблоками и грушами и говорил: «Ешь, внучок, на здоровье, пока я жив». Больше нигде мне не довелось до сих пор поесть таких чудесных моченых яблок и груш.)

Хороших дорог там нет

Дорога вдоль улицы зимой и после дождя — почти не проезжая. Там и до сих пор нет ни мостовых дорог, ни, тем более асфальтированных. Разве только шлях по черноземным полям, доставшийся нам от царских времен. Но после дождя — ни пройти ни проехать. А когда сухо, толстый слой черно-серой пыли превращается в облако, которое тянется за машиной, как шлейф. Машине, идущей сзади, не позавидуешь: пыль проникает во все щели салона, в двигатель тоже. (Я все это испытал, когда приезжал к бабушке на своей «Волге» в 1967 году и незадолго до ее смерти в 1974 году.)

Земли в личном пользовании у каждого хозяина было много, до 50 соток. У дедушки 25 соток было под садом и столько же под двумя огородами, верхним и нижним.

Деревня стояла на не крутом склоне обширного поднятия в рельефе. Там, где склон переходит в низину с ольховым лесом, были нижние огороды. Иметь нижний и верхний огороды было очень по-хозяйски: если летом заливают дожди, то хороший урожай будет на верхнем огороде, если засуха — то на нижнем, там рядом болото и много влаги.

В саду у дедушки росли антоновские, китовские яблоки, боровинка, было много груш, слив, вишен. За верхними огородами простирались колхозные поля. А за нижними — ольховый лес с Тимошкиным болотом и за ними — прекрасный пойменный луг реки Сейм, тоже колхозный. На речку мы бегали через болото, удили рыбу, купались.

Двести граммов. И все!

Колхоз в деревне Моршнево назывался имени Хрущева. В него входили все деревенские дворы, их было около пятидесяти. Горе горькое это было. Все, что вырастало на полях, а это прежде всего зерно и сахарная свекла, в обязательном порядке сдавалось «в государство». Во время уборки из Рыльска приезжали уполномоченные представители власти и зорко следили, чтобы весь урожай увозили в «закрома Родины». Особенно тяжело было людям после войны: в деревне почти одни женщины, кругом разруха, горе, а работать в колхоз надо идти, и за этот тяжелый труд практически ничего не платили. Записывали трудодень или, по-другому, в ведомости ставили палочку. К концу года отоваривали: на один трудодень — 200 граммов зерна. И все!

Оставался один выход: украсть. И воровали в колхозе — и зерно, и сено, и все, что плохо лежало. За это наказывали, сажали в тюрьму. Только к концу 50-х годов трудодень чуть-чуть потяжелел: стали давать полкило-

грамма зерна. Казалось бы, после войны не забирайте вы у крестьян весь хлеб, дайте людям возможность вылезти из нужды и нищеты. Да где там! Обложили еще и налогом. Надо было сдавать государству мясо, яйца, деньги, если нет мяса или яиц...

Радио брешет!

Электричество в нашей деревне появилось только к 50-летию Октябрьской революции, т. е. в 1967 году. Дедушка до этого времени не дожил, умер годом раньше. Но к его хате свет так и не подключили — столба не хватило. Так что бабушка продолжала освещать свою хату коптилкой и керосиновой лампой до самой смерти, до 1974 года. Правда, радио им провели еще при дедушке, и они с удовольствием слушали, как «оно брешет» (так они говорили).

Любимое место кошки

Что собой представляла хата? В основе — деревянный сруб с потолком и крышей, размером, если по-хорошему, 9 на 6 м. А по-плохому — значительно меньше, как после войны, когда на месте разрушенных хат возникали хатенки. Стены снаружи и изнутри обмазывались смесью глины и мелко нарезанной соломы. После высыхания стены белились раствором белой глины, залежи которой были в соседнем овраге. С улицы — 3 окна, во двор — 2 окна в задней стене и одно — сбоку. Крыша покрыта соломой. Я не помню ни одной крыши, покрытой железом вплоть до конца 50-х годов. Потом начали появляться крыши под шифером. Полы были деревянные, но после войны в «новых хатенках» полы, как правило, были земляные. Самым главным предметом в хате являлась русская

печь — массивное кирпичное сооружение, также побеленное глиной. Это был источник тепла, а значит, жизни. В печи готовили еду, а на печи можно было спать, там тепло и даже жарко. У нас на печи спал дедушка, я часто забирался к нему погреться. Топили ее рано утром ольховыми или дубовыми (редко) дровами. И тепла хватало до следующего утра, если погода была не слишком морозная. К печке примыкала лежанка (или грубка, подругому) с выходом в горницу (в другую комнату), в которой три окна смотрели на улицу. Так что в хате было две комнаты: кухня, где была печь, и горница с грубкой. Последнюю топили отдельно, обычно вечером, при сильных морозах. Мы с Вале́й любили на ней спать, там было тепло и это было любимое место нашей кошки.

Помню, как в длинные зимние вечера, сидя на лежанке вместе с нами, бабушка рассказывала некоторые эпизоды из Евангелия: как людей крестили в реке Иордан, как Иисуса Христа распяли на кресте. Мне было страшно, и я просил бабушку не рассказывать про это. У бабушки, как и у дедушки, было всего два класса образования церковно-приходской школы. Считалось, что крестьянским детям этого было достаточно. Научились читать и считать — и хватит. Бабушка немного умела читать по церковно-славянски, у нее была единственная религиозная книга Псалтырь, одна из книг Библии. Бабушка была верующим человеком, придерживалась старой веры, дониконовской. (Патриарх Никон вместе с царем Алексеем Михайловичем, отцом Петра I, провел в 1654 году церковную реформу. Но многие люди продолжали придерживаться старой веры, дониконовской.) Бабушка знала все религиозные праздники, они перечислялись в Псалтыри (она была на церковно-славянском языке). Учила меня молитвам: «О, господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Прости меня грешного, без числа я согрешил, господи, помилуй». Но бабушка слабо разбиралась в религиозных вопросах. Когда я, уже будучи взрослым, в разговоре о вере спросил ее, зачем нам нужен еврейский бог, ведь

Иисус был евреем, бабушка перекрестилась и искренне была удивлена. «Володя, не говори так, не бери на себя грех», — повторяла она.

Магнит для мальчишек

Осень 43-го, весна и лето 44-го... Чтобы добраться до реки — надо пересечь болотистый лес, Тимошкино болото и луг. Для своих надобностей немцы построили пешеходный мост, мы его ласково называли — мостик. Правда, узкий, но длинный, через весь лес и болото, это метров 300 или даже больше. Использованы были ольховые опоры и ольховые же перекладины. Ширина его была не больше метра. Удобный, хороший. По нему можно было ходить до луга, а там, по разминированной полосе шириной метров 50, к речке.

На остальной площади луга мины еще были не тронуты. Их было хорошо видно. Это были противопехотные мины, начиненные толлом и шариками, для большей убойной силы. Шарика хороши для стрельбы из рогаток, которые мы делали из немецких противогазов, и «поджигных».

Последние делали уже ребята старшего возраста, которым было лет по 13–15. Они использовали для этого куски винтовочных стволов: заливали один конец расплавленным свинцом из пуль, отступив от свинцового дна пару сантиметров, делали прорезь в куске ствола, и миниатюрная пушка наполеоновских времен была готова. Называлось это изделие поджигной. Оставалось найти порох (очень легко, патронов винтовочных было полно) и шарики.

А шарики в минах. Разряжать мины уже многие умели. В общем, минное поле тянуло к себе мальчишек как магнит. Валя неоднократно со своими сверстниками делал набег на луг. А меня они не брали, мал еще. Но бабушка и Валя частенько ловили меня на середине мостика,

на полпути к минному полю. И тут уж мне доставалось от бабушки хворостиной по попе!.. Помню, как Валентиновы друзья, человек 5–6, ушли разряжать мины. А Валя в это время был в соседнем селе Волобуево, ходил к сапожнику, чтобы тот починил ботинки.

На лугу рвануло так, что вся деревня вздрогнула. Кого-то из ребят убило сразу, в том числе с нашего конца деревни Колю Мареева, Агеева Валю, кто-то умер от отравления газами, что образуются при взрыве... А мостик тот местные жители разобрали на дрова. Жалко, удобно по нему было ходить.

Погиб и мой друг и сосед Федька Косой вместе с двумя другими моими сверстниками. Но они погибли от взрыва снаряда, который лежал на выгоне, за верхними огородами. Федя и меня звал пойти с ними, но я не пошел. А сколько еще было подобных случаев и в нашей деревне и в соседних селах, и везде, где прокатилось чудовище войны? Всех и не перечесать...

Недавно на станции техобслуживания, где я ремонтировал машину, увидел человека моего возраста, у которого не было кисти правой руки. Я поинтересовался, не в Чечне ли он потерял кисть. Но он сказал, что на Голубой линии, на Кубани, в 1943 году: пытался разрядить какую-то немецкую игрушку...

О бабоньки!

Сразу после освобождения от немцев в деревне снова организовали колхоз. Надо было пахать землю, выращивать хлеб для фронта. Чем пахать? Ни лошадей, ни тем более тракторов не было. Да и мужиков в деревне не было. Только наш дедушка и еще несколько стариков и инвалидов. Копали лопатами и свои огороды, и колхозные поля. Иногда женщины запрягались в плуг и тащили его, пахали. Получалось, земля у нас мягкая... О бабоньки! Какие же

нечеловеческие тяготы выпали на вашу долю в военные и послевоенные годы! И голые, и босые, и непосильный труд в колхозе, и голодные малые дети дома. А мужа ваши на фронте, и многие из них уже во сырой земле, дай бог, если похоронены.

На лугу мы находили черепа и кости наших солдат, видимо, разведчиков, с советскими касками и патронами. А ведь у нас боев не было, так, перестрелки. Домой в деревню вернулось с войны 5–6 человек, раненых, контуженых. А на фронт ушли десятки. (Один из них — Иван Нелочкин. Был ранен в ногу очень серьезно. В госпитале ему отняли ее по самый пах. Ходил он по деревне на костылях, а вместо ноги болталась подвязанная штанина. Бывало, выпьет самогона, идет по улице и поет громко-громко: «Ох, доходились мои ножки, ох, да по Моршневской дорожке!..»)

Помню, как зимой женщины из Волобуево и Некрасово шли гуськом через Моршнево, таца за собой большие санки, груженные колхозной сахарной свеклой. К ним присоединялись женщины из Моршнево, и эта бесконечная вереница медленно двигалась в Коренево, чтобы погрузить там свеклу в вагоны, которые отправят потом на какой-то уцелевший или восстановленный сахарный завод для переработки. Наш Семеновский завод еще лежал в руинах.

Выращивание сахарной свеклы в колхозе было делом обязательным, государственной важности, как писали в газетах. Каждому колхозу из района приходило предписание (разнарядка): засеять столько-то гектаров сахарной свеклой. И попробуй председатель колхоза не выполнить: горя не оберешься! Семенами обеспечивали, но и жестко требовали результат. Обрабатывали свекольные поля все женщины колхоза. Исключение составляли доярки, но им хватало работы и в коровьем хлеву. На каждую женщину была установлена норма: обработать один гектар (это сто соток, кто не знает). И вот с ранней весны и до поздней осени бабоньки на своих делянках стоят кверху

задом с утра до вечера: сначала прополка, потом прореживание рядков, потом окучивание и, наконец, уборка. В сентябре–октябре на уборку свеклы выгоняли всех, в том числе стариков и школьников. Неделю, а то и две ученики работали в поле вместе со своими матерями.

А с конца 50-х годов, когда из колхозов поразбежалась молодежь и некому было работать, свекольную повинность заставили выполнять жителей городов и поселков: рабочих, служащих, домохозяек, студентов. Правда, к этому времени уже появились в колхозах трактора, стало легче, по крайней мере при уборке: рядки свеклы «подкапывал» тракторный плуг. А сразу после войны вся работа выполнялась вручную. И часто выкопанную, обрезанную от ботвы и сложенную в бурты свеклу нечем было вывозить с поля. И тогда ждали... снега... И вот женщины везут плоды своего труда на санках за 12 км в Коренево, и конца этому обозу не видно... Воистину «я и лошадь, я и бык, я и баба и мужик». Справедливости ради следует заметить, что за выполненную норму по сахарной свекле женщине полагалось, кажется, сорок килограммов сахарного песка, дополнительно к трудодням. В магазинах его не было...

До сих пор для меня мерилом непосильного женского труда является выращивание сахарной свеклы в колхозах в послевоенные годы.

Хлеб

А где мы брали хлеб? Ведь его для колхозников не было. Рабочим в городах давали по карточкам, а сельские жители должны были изворачиваться сами. Если удавалось людям украсть или как-то купить ворованное зерно, то его еще надо было превратить в муку. Нам было легче, маме за шитье платили и зерном, и мукой. Мука очень ценилась в деревне. Были самодельные ручные мельни-

цы. У нас тоже была такая. Зимними вечерами при свете коптилки дедушка крутил рукоятку мельницы, получалась мука, неважная, правда. Все равно ее не хватало. В тесто добавляли картофельный жмых: чистили картошку, терли на терке, промывали водой в ведре, отжимали полученную массу, это и есть жмых. А в ведре на дне после отстоя получался крахмал. Используя жмых как добавку к тесту, получали много хлеба, истратив мало муки. Пекли хлеб один раз в неделю в печке. Я очень любил дни выпечки хлеба, потому что перед тем, как ставить хлеб в печку, выпекали лепешки. Еще в печке горит огонь, а бабушка кладет на сковородку кусок теста, расправляет его, дает постоять на загнетке минут десять, чтобы чуть-чуть «подшло», и сковородку — в печь, на раскаленные угли. Минут через 10–15 лепешка готова, а я уже тут как тут тоже, готов пробовать.

Зорька и Малинка

Вот, маленькая моя Анюта, растревожил я заводь своей памяти, будто бросил в середину камешек. И пошли по воде кругами волны-картины, казалось, давно забытого детства. Вот единственная в деревне черно-белая корова Зорька, пригнанная из-под Кенигсберга вместе с другими коровами для помощи населению Рыльского района, крепко пострадавшему от немецкой оккупации и войны. Ее передали семье, где было четверо детей. Зорька щиплет траву на лужайке у ручья, почти рядом с нашей хатой. У Зорьки большое-пребольшое вымя, она давала много молока — по ведру за каждую дойку, а доили ее по три раза в день (когда много травы). Зорька была коровой голландской породы. А коровы российских пород давали в три-пять раз меньше... А вот уже наша Малинка, красно-белая. Дедушка обучил ее лошадиному ремеслу. Надел на нее самодельный хомут, и она возила

небольшую тележку двуколку (на двух колесах) с сеном, картошкой, дровами. Дедушка ездил на Малинке в село Сухое и привозил продукты, которые там зарабатывала мама (зерно, картошку, муку). Малинка и молочка нам давала, хотя вымя у нее было очень маленькое. Правда, немножко, литра 2–3 в день, но и за это ей спасибо, ведь она много работала, даже пахала огород.

Жалко колхозных коров

А вот уже колхозные коровы, целое стадо, голов тридцать. Их каждый день зимой пригоняли к незамерзающему ручью на водопой. Нашей Малинке дедушка зимой давал теплое пойло, и жила она в хлеву, хорошо защищенном от ветра и мороза, спала на толстом слое соломы и ей было тепло. А колхозные коровы содержались в дырявых сараях, да и есть им было нечего, потому что сено разворовывалось колхозниками для своих коров. Даже дедушка, работая на колхозном дворе, возвращался домой всегда с охапкой сена для Малинки. Люди не хотели работать в колхозе, там ничего не платили, но их заставляли... И колхозные коровы пили ледяную воду из ручья, худые, дрожащие, с грязными впавшими боками, потому что лежали они в сарае не на соломе, как Малинка, а на собственных какашках. Прямо у ручья одна-две из них падали и не могли встать, не было сил...

Молоко от Зорьки

А вот тетя Поля принесла нам к Рождеству кувшин молока от Зорьки. Наша Малинка еще не отелилась и молока не давала, надо было ждать. До чего вкусно было это молоко с хлебом на картофельном жмыхе! Бабушка

наливала мне кружку, и я его пил потихоньку, понемногу, зато хлеба кусал помногу.

...В 1946 году, засушливом, хоть и резанул по живому наши места голод, но смертей от истощения было мало: уже во многих дворах была коровка-кормилица. Да и картошка хоть и немного, но уродилась, правда, только на нижних огородах, где влага не вся испарилась. Верхние же огороды полностью выгорели от жары.

Вася Куц, лесник

А вот выплывает из памяти еще одна картинка, как с киноплёнки. Мы с дедушкой по колено в болоте в ольховом лесу косим осоку, болотную траву, чтобы потом вязанками перетащить ее на нижний огород, высушить и отнести в сарай для Малинки на зиму. Ведь косить на лугу, в поле, даже вдоль полевых дорог, на неудобьях было категорически запрещено, все это было колхозное. А если нарушишь и тебя поймает бригадир или объездчик, то можно было заработать и тюрьму. Примеров было много, когда даже за колоски на убранном поле судили людей и сажали в тюрьму. Да и на болоте нельзя было косить, но эта земля относилась к лесничеству, а не колхозу. Приходилось дедушке задабривать лесника.

Лесником был немец Вася Куц. Жил он в селе Некрасово, за селом Волобуево. Время от времени он обходил свои владения. Он был русский немец, его родители жили в России еще до революции. После войны какими-то судьбами он оказался в наших краях. Он любил заходить к нам в хату попить водички. Водку он не пил, но от обеда не отказывался. Стол ему бабушка накрывала в горнице, стелила на стол скатерть. Сами мы в горнице никогда не обедали. Бабушка ставила на стол тарелку запущенки с творогом (заквашенное топленое молоко. Обед у нас всегда, особенно для гостей, начинался с запущенки, если

была, конечно). Потом резала кусок соленого сала на небольшие дольки вместе со шкуркой. Подавала ароматный борщ, жареную на коровьем топленом масле в чугунке миску картошки, от которой шел аппетитный запах, соленые огурцы и на закуску — моченые яблоки и груши.

Вася Куц садится за стол, просит у бабушки нож. Дома у нас не было тонких обеденных ножей, и бабушка предлагает ему кухонный. Вася улыбается и вежливо отказывается. Вытаскивает из кармана пиджака свой складной, довольно длинный нож и, открыв его, начинает обедать. При этом нож он держит в правой руке, вилку в левой и не перекладывает вилку в правую руку после того, как отрежет кусочек огурца или сала, а отправляет его в рот вилкой, держа ее в левой руке. У нас таким образом никто не ел не только в семье, но и в деревне. Бабушка говорила, что он левша. Но тогда почему он держит ложку в правой руке, когда ест запущенку или борщ? Это было загадкой для всей нашей семьи. От сала Вася Куц отрезал и съедал только ту часть дольки, которая была у шкурки, толщиной приблизительно в один сантиметр, а может, и меньше. Остальное оставлял на тарелке. Меня он называл незнакомым словом «хирург» (я учился в третьем или четвертом классе).

К дедушке Вася Куц обращался на вы. После обеда говорил дедушке: «Я знаю, что вы косите траву в ольховом лесу. Продолжайте, никого не бойтесь, скажите, что я разрешил, и никто вас не тронет». Дедушка был рад. И не знал он, что болото нигде не числится как угодье для покоса. Вася Куц просто обманывал дедушку, но благородно.

Грушка

Почти сразу после войны к нам в деревню, вернее, в колхоз стали поступать из района лошади, по одной, по две. Было их уже штук шесть. Для них на колхозном

дворе построили конюшню. Конечно, шесть лошадей для колхоза — мало, но люди приободрились, все же значительная помощь для колхозников, и надеялись, что еще пригонят. Однажды я вышел во двор и услышал крик Федьки Косого: «Кавалерийская она!» На улице вокруг него собралось несколько мальчишек. «Кавалерийская, я слышал, как говорил Гузев». И хотя с ним никто не спорил, он продолжал доказывать, что лошадь эта кавалерийская и что такой ни в одном соседнем колхозе больше нет. Наконец, мы добежали до колхозного двора. К ольховой жерди коровьего загона была привязана красивая, с черным чубом и белой звездочкой на лбу кобыла гнедой масти. Она еще не остыла от перегона, пофыркивала недоверчиво, вверх-вниз качала головой и обстреливала огромными глазищами собравшихся зевак. Здесь же стоял и дядя Ваня Гузев, бригадир колхоза, пригнавший ее из Рыльска. «Сначала никак не подпускала к себе, а когда накинули на нее седло и затянули подпругу, успокоилась», — рассказывал Гузев. «Раненая она, поэтому и списали с кавалерии. Но горяча, как огонь!» Мы засыпали дядю Ваню вопросами: куда ранена? Как ее зовут? Что она будет делать? Но Гузев только сказал, что зовут ее Грушкой, так она числится по документам, и что надеть на нее хомут будет не так-то просто, потому что кавалерийские лошади, привыкшие к седлу, под хомут идти не хотят. И действительно так и получилось. Как ни старались мужики приучить ее к хомуту и телеге, ничего у них не вышло. Более того, она и к седлу своему никого не подпускала, кроме Гузева. Так и ездил он на ней верхом по деревне и полям. Грушка исправно служила дяде Ване. Он ездил на ней в Рыльск по колхозным делам, объезжал поля, чтобы никто ничего не воровал, прогонял нас, мальчишек, с убранного пшеничного или житного поля, где мы пытались собирать оставшиеся колоски. Бывало, направит на нас бегущую галопом Грушку, но мы видели это издали и разбегались врассыпную, прятались в кустах орешника.

А лично у меня к Грушке осталось особое, уважительное отношение. Дело было летом. Жарко. Коней пригнали на водопой к колодцу. У колодца стояло длинное корыто, из которого они пили. Ну, и мы, мальчишки, тут как тут, вертелись около них. Грушка была крайняя у корыта. А я подошел к ее пьющей морде слишком близко, да еще помахивал небольшой веткой. Ей это не понравилось, как я понял через секунду. Она оторвала морду от воды и двинула меня прямо в лоб. От удара я упал, испугался, заплакал. Ко мне подбежал Валя, осмотрел лоб и сказал, что у меня там следы от зубов, шишка, но крови нет. А Грушка как ни в чем не бывало продолжала пить. Бабушке мы ничего не сказали, а то бы еще добавила: не лезь не в свои сани!

Казбек, сын Грушки

Года через два у Грушки появился сын, маленький жеребеночек, тоже гнедой масти и со звездочкой, как у матери, на лбу. Задние ножки у него были беленькие, как будто в носочках. Назвали его Казбеком. Когда он вырос, стал работать в колхозе, но был не очень трудолюбивым. В начале 50-х годов Казбека отдали дедушке, чтобы он возил бочку с водой в поле трактористам и работавшим там другим колхозникам. Летом 1953, 1954 и 1955 годов работал водовозом и я, особенно после того, как дедушка упал с крыши сарая, которую ремонтировал, и повредил ногу. Фотоснимок Казбека и дедушки с бочкой есть в этом фотоальбоме на первом листе. Дедушку я сфотографировал «Сменой» в 1955 году, летом.

Работа водовоза заключалась в следующем: рано утром, часов в пять, надо было идти на конюшню колхозного двора за Казбеком, привести его или приехать на нем верхом домой, пустить его в сад часа на два, чтобы он пощипал травы, позавтракал. В это время я завтракал

тоже: два сырых яйца или яичница на сале, пара стаканов парного молока, хлеб. Иногда на завтрак был суп, если бабушка успевала его сварить. Затем часов в восемь я запрягал Казбека в бочку, которая ночевала около нашей хаты, и ехал к колодцу. Набирал в бочку воды двадцать ведер и ехал в поле, где работали трактора. Бочку со свежей водой оставлял там, а другую, пустую или со старой водой забирал и ехал снова к колодцу. Тракторов было уже много, 4–5 штук, работали они в разных концах колхозных полей, поэтому в день надо было сделать два или три рейса. Один рейс занимал 2–3 часа. Когда работа не очень поджимала, я на обратном пути где-нибудь у дороги или на опушке леса косил траву, связывал ее веревкой в вязанку и привозил домой, раскладывал для сушки. Коса и топор были всегда при мне. Топором в лесу рубил ветки, превращал их в поленья дров и в бочке привозил домой. Ни траву косить, ни дрова рубить не разрешалось, поэтому делал я это так, чтобы никто не видел. Иначе могли быть неприятности с бригадиром, вплоть до штрафа. Вечером я распрягал Казбека у своей хаты, оставляя бочку до утра, а сам верхом без седла скакал по деревенской улице, на зависть всем сверстникам, на колхозный двор. Удовольствие от езды без седла, конечно, было, но попа потом болела здорово.

У нас одно лето были в гостях две девушки-студентки из Москвы. Они любили возить со мной воду. Учились запрягать Казбека, но хомут надевать на себя Казбек им не разрешал, тряс головой и фыркал, мол, не ваше это дело хомутать меня, хомутайте парней. Но больше всего им нравилось — и они хохотали — когда Казбек спокойно шел, вез бочку и начинал пукать. Он это делал часто, подолгу и умело. Казалось, что он подыгрывал девушкам. А я ругался на него, мол, что ты меня позоришь, некультурный конь. Казбек только хлопал ушами и махал хвостом, отгоняя надоедливых мух, оводов и мое замечание.

Казбек был колхозным конем. В любой момент его могли забрать у дедушки для других работ. И забирали то

пахать огород, то привезти сено. Страшного в этом ничего не было, ведь Казбек — конь, его назначение служить людям. Беда заключалась в том, что слишком часто возвращался Казбек измученным, а иногда крепко побитым, потому что чужие люди не считали его своим и даже специально изнуряли его, чтобы сделать неприятность дедушке. Им не нравилось, что Казбек был у дедушки как свой конь. Дедушка заботился о нем, вовремя поил и кормил. Часто расчесывал специальной щеткой гриву. По-моему, эта процедура нравилась одинаково и Казбеку и дедушке. Казбек благодарно пофыркивал за то, что дедушка вычесывал из гривы репы и всякий мусор. В общем, дедушка любил своего друга и не слишком перегружал его работой. А завистники злобствовались, говорили, что дедушка присвоил Казбека. Этому нехорошему поведению людей есть объяснение.

Злая воля

В советское время после коллективизации (в начале 30-х годов) категорически запретили крестьянину-колхознику иметь в своем личном хозяйстве лошадь. Корову, правда только одну, можно было иметь, а лошадь нельзя. А ведь испокон веку на Руси крестьянская жизнь была связана с лошадью: обработка земли, сенокос, уборка урожая. Зимой извоз. Как без лошади обойтись? Когда организовывали колхозы, лошадей у крестьян забрали. Власти заставили крестьян сдать лошадей в колхоз для коллективного пользования. И видел крестьянин издали, как на его Савраске пахали другие люди. Обрекли хозяина Савраски, крестьянина-работягу, на безлошадную, тяжкую жизнь. И пришлось ему взять лопату и копать огород. На своем горбу носить из леса дрова, на своих плечах — яблоки на рынок, чтоб хоть что-то заработать, ведь в колхозе практически ничего не платили. И только

иногда удавалось выпросить колхозную лошадь, чтобы отвезти в город в больницу заболевшего родственника. Да и то задоблив бригадира бутылкой самогона.

А и то правда, в колхозе полно дел, всем лошадей не надаешься, а работа на личном огороде, подворье совершенно не поощрялась, выкручивайся как хочешь. Какая уж там лошадь! Не дождешься! Трудно крестьянину без своего Савраски. Более 50 лет не разрешалось ему иметь свою лошадь. Хотя уже можно было иметь десятки лошадиных сил в «Победах», «Москвичах», «Волгах», а одну лошадиную силу иметь во дворе — нельзя. Уже шла перестройка, а в газете «Известия» от 9 сентября 1987 года, писали об издевательствах местных чиновников, районных начальников над старым лесником, обладателем одной лошадиной силы: «Содержание лошади в вашем личном хозяйстве нецелесообразно». Язык-то какой!

И отобрали у бедного старика лошадку. Они, начальники, определили целесообразность. А старик на ней всей деревне помогал — пахал огороды, сено подвозил... И наконец в «Правде» от 25 сентября 1987 года: «...разрешено... рекомендовано продавать гражданам лошадей... с правом их содержания и использования на работах в личных подсобных хозяйствах...» Ну, наконец-то! «Свершилось!» — как сказано в Евангелии. Прозрели! Полноте, господа-товарищи! Опоздали вы лет на тридцать. Поумирали те, кто смог бы использовать лошадь. Умер хозяин, трудяга-крестьянин разлученный в свое время злой волей с трудягой-конем Савраской. Умер и мой дедушка...

Хочу мороженого!

В нашей деревне было много садов. Был большой сад и у дедушки. Вишни, груши, красные китовские яблоки, антоновка, сливы. Куда девать урожай? До ближайше-

го рынка — 12 км. Никакого транспорта нет. Лошадь в колхозе для этой цели ни за что не выпросить. Что-то сушили для зимы. Из сухофруктов варили взвар (компот): вместо сахара использовали сахарную свеклу (просто мелко порезанную клали в чугунок с сушками и все вместе варили). Что-то удавалось отнести на своих плечах или в руках на рынок в Коренево или Рыльск. А большая часть садовины пропадала — скармливали корове и поросенку.

Ребята постарше меня, такие как Валя, носили продавать яблоки и потом рассказывали, как они на вырученные деньги покупали и ели мороженое. Я еще никогда не ел мороженого и даже не представлял, что это такое. Я просил Валью принести мне попробовать. Но он сказал, что нести его нельзя, оно растает. Тогда я тоже решил пойти с ребятами на базар в Рыльск. С вечера заготовили хороших яблок. Назывался сорт боровинка, ранние, краснобокие, не очень крупные, но вкусные. Я набрал их полную корзинку. Но бабушка половину отсыпала, сказала, что слишком тяжело будет нести, ведь до Рыльска далеко, часа три надо идти. Вышли мы рано, часов в шесть. Шли трудно и долго. Я корзиной растер себе плечи, и они горели. Но часам к девяти мы уже были на базаре. Продавцов яблок было мало, потому что настоящий яблочный сезон еще не наступил, а ранние яблоки были не в каждом саду. Расторговались мы быстро. Яблоки тогда продавали на десяток, считать было легко.

Я тут же побежал за мороженым. Купил один стаканчик, съел. Понравилось. Побежал за вторым. Мне в ту пору было лет десять, значит, это было лето 1948 года, и в магазине можно было купить хлеб без карточек. Их отменили годом раньше. Одновременно обменяли старые деньги на новые. (За 10 рублей старых давали один рубль новых. Зарплаты и пенсии у людей оставили прежние, но выдавали их новыми деньгами.) Так что на оставшиеся деньги я имел возможность купить что-нибудь из хлебных изделий. Я купил пять булочек, кругленьких, румяных.

Одну съел сам, а четыре оставил для дома, как гостинец для дедушки и бабушки.

На обратном пути искупались в Сейме у Семенового моста и через час уже были в Моршнево. Я открыл ворота и в дальнем углу двора увидел дедушку, он там подправлял забор, и закричал: «Дедушка, иди сюда скорей. Я вам с бабушкой гостинец принес!» Дедушка действительно оставил работу и, улыбаясь, зашел в хату. А я радостно рассказывал бабушке, как я ел мороженое и какое оно вкусное. На столе лежали четыре моих булочки. Бабушка сидела на скамейке у стола, а дедушка сел на табурет напротив бабушки. Они переглядывались, улыбались, смотрели то на булочки, то на меня. А я продолжал делиться своими впечатлениями о своем первом яблочном походе в Рыльск. Наконец, бабушка сказала: «Спаси господи тебе, унучек. Храни тебя господь». А дедушка, видимо, думая о предстоящем большом урожае яблок, заметил: «Вот была бы у нас лошадка...» Через минуту бабушка уже плакала, вытирая слезы кончиком белого ситцевого платка, которым была покрыта ее голова. Она часто плакала, а я не понимал, почему.

Дедушкина лошадка

В конце 20-х годов у дедушки была лошадь. И он все хозяйские дела выполнял на ней: и огород пахал, дрова и сено привозил, ездил в Рыльск продавать садовину (яблоки, груши, сливы), на мельницу возил зерно, а назад привозил муку. Ласково называл он ее лошадкой. Купил он свою лошадку одновременно со своим другом, тоже из Моршнево. Прибыли они с базара каждый на своей кобыле, на радость своим семьям. В то время можно было держать лошадь в личном хозяйстве. В газетах даже призывали крестьян покупать лошадей, больше работать, обогащаться, т. е. становиться зажиточными и богатыми.

Потому что чем лучше живут люди в стране, тем богаче и крепче будет страна, государство. И люди в деревнях и селах откликнулись на этот призыв руководителей страны, в частности Бухарина, стали больше работать, зарабатывать деньги, строить новые дома, перестраивать свои хаты. Вот и дедушка с другом решили обогатиться. Года через два их кобылы ожеребились, т. е. родили жеребят, и тоже практически одновременно. Но дедушкина принесла мертвого, а кобыла друга — хорошего, здорового жеребенка. Дедушка с бабушкой погоревали, но ничего не поделаешь, такова судьба.

К этому времени политика государства изменилась. Бухарина посадили в тюрьму, а потом расстреляли. Сталин приказал всех деревенских богачей разорить, имущество и скот отобрать, а их самих вместе с семьями сослать в Сибирь. И началось раскулачивание (от слова «кулак» — богатый крестьянин, который использовал в своем хозяйстве батраков, наемных рабочих). По всей стране начали разорять богатые крестьянские хозяйства. Власти требовали, чтобы больше и больше людей было раскулачено. В Моршнево таких богатых людей, которые бы разбогатели за счет работы батраков, не было. Ну, разве что кто-то своим трудом смог перестроить хату, покрыть крышу железом, а вместо плетня поставить забор из досок...

Сначала разорили тех, у кого на хате была железная крыша. А из района, из Рыльска, идут указания: раскулачить еще столько-то дворов. Местные начальники сообщают в район, что уже некого раскулачивать, остались одни бедняки да середняки, кулаков больше нет. А им отвечают из района, что если не раскулачите еще десять семей, то сами пойдете под суд. И началось разорение тех дворов, где были заборы из досок. А потом тех, у кого в хозяйстве две лошади. Крестьян с одной лошадью не трогали.

Дедушка и его друг не успели ни новые хаты себе построить, жили в старых с крышами под соломой, ни даже плетневые изгороди со стороны улицы заменить на забор

из досок. Но дедушкиного друга раскулачили и отправили в Сибирь всю его семью, потому что посчитали годовалого жеребенка за вторую лошадь. Так он в Моршнево больше и не показался. Сибирь ведь далеко, да и выжил ли?.. Дедушку оставили в покое... А бабушка молилась: спаси господи тебе, сыне Божий, за то, что ниспослал нам мертворожденного жеребеночка иже спас нас грешных от гибели неминуемой... Когда началась организация колхоза, его заставили отвести свою лошадку вместе с упряжью, повозкой и санями на колхозный двор. И снова дедушка оказался безлошадным. Поэтому он часто говорил: «Вот была бы у меня лошадка...» А бабушка начинала плакать.

«Я плачу от радости...»

Да, бабушка плакала часто. Плакала, когда приходила почтарка (почтальон) и приносила пенсию за погибшего на войне сына Васю, моего дядю, плакала, когда мы с Валей, сидя на вишневом дереве и собирая сочные ягоды в ведро, пели песню «Варяг», плакала, когда приезжали из Рыльска налоговики, всякие уполномоченные, с милиционером, чтобы собирать в деревне налог...

Когда я был студентом, в конце 50-х годов, и приезжал на каникулы к своим родителям в Коренево, я всегда находил время, чтобы прийти в Моршнево навестить дедушку и бабушку. (Бывало это обычно зимой, потому что летних каникул у меня толком не было. У нас, будущих геологов, летние практики проходили в экспедициях. Мы старались уехать куда-нибудь подальше — в Кара-Кумы, тайгу, чтобы побольше заработать денег. Я всегда был рабочим экспедиции, а не просто студентом-практикантом. Старался заработать себе на костюм, на пальто, на туфли. Поэтому в те пару недель, что нам отпускались для каникул, я продолжал работать.)

Обычно я привозил дедушке и бабушке что-либо как гостинец. На этот раз я привез несколько штук атлантических селедок холодного копчения. В Москве такую селедку можно было купить только в магазинах высшего класса, таких как «Елисейевский» или гастроном на площади Свердлова. Это была самая дорогая селедка, по 21 рублю за килограмм. Для дедушки и бабушки — лучший гостинец. Селедку они любили. Но в ближайшем от них Волобуевском сельпо (в 1 км от Моршнево) можно было купить (иногда!) только страшно соленую, с желтизной на боках и посторонним запахом. В этом магазине продавали и керосин, и пряники, и соль, и школьные тетради, и селедку. И это хранилось все вместе в небольшой кладовке... Так что мой приезд, да еще с атлантической селедкой, для дедушки и бабушки был праздником.

Кроме селедки я привез еще и традиционную «белую головку», так дедушка называл московскую водку, бутылка которой была закрыта не красным сургучом, а белой пробкой, свидетельство высокого качества. Ни в Рыльске, ни в Коренево такая водка не продавалась... Как только я появился на пороге, бабушка тут же расплакалась, обняла меня и плачет. А дедушка, наоборот, улыбался, радовался: «Вот унучек приехал, молодец, не забывает деда. Да не плачь ты, давай накрывать на стол». «Как же мне не плакать? Унучек приехал, радость-то какая, вот от радости я и плачу», — оправдывалась бабушка и начинала хлопотать у печи. Доставала нехитрую деревенскую еду: борщ, картошку, гречневую кашу. А бывало и так, что в печке почти ничего и не было, ведь я приезжал неожиданно. Тогда бабушка зажигала керосинку (она у них уже была, цивилизация проникла и в деревню) и жарила яичницу на сале. Я разделявал селедку, рассказывал, как там в Москве мне живется, резал хлеб. (Бабушка по-прежнему пекла хлеб в печке, но уже без картофельного жмыха, стало полегче, можно было достать муки, она иногда продавалась в магазинах.) А дедушка шел в погреб. Все сразу он принести не мог и звал с собой меня. С гордостью пока-

зывал: вот кадка с солеными огурцами, с солеными помидорами, квашеной капустой. А вот моченые антоновские яблоки с желтыми грушами... Все это уже стояло на столе — дары Моршневецкой земли и результат труда моих дедушки и бабушки.

Дедушка идет в горницу к большому зеркалу, что висит на стене, и расчесывает свою красивую окладистую бороду. Подходит к столу. Взглянув на икону Божьей Матери с младенцем, бегло крестится и садится за стол. Осеняет себя крестом и бабушка, чуть подольше, чем дедушка, шепчет молитву. Я знаю, что это Господня молитва «Отче наш», которую рекомендуется читать перед едой. Мы с дедушкой в это время молчим. Еле слышатся слова: «...хлеб наш насущный даждь нам днесь... но избави нас от лукавого, аминь». Бабушка тоже садится за стол, а я уже разливаю «белую головку» в маленькие стограммовые стаканчики. Поднимаем их: «С приездом тебя, Володя!» «Спасибо, за встречу!»

Дедушка пьет медленно, маленькими глотками, но все до доньшка. Бабушка, едва пригубив, ставит стаканчик на стол: «Ох, крепкая какая», — и берет кусочек селедки. А я на закуску беру красный, рубиновый квашеный помидор. Он кругленький, блестит от рассола, чуть-чуть надутый. Его нужно осторожно надколоть вилкой и в рот. В пальцах остается только тоненькая кожица. (Я всегда любил такие помидоры, люблю до сих пор. К сожалению, они не всегда получаются такие хорошие как у дедушки: солю-то я их не в кадке, а в трехлитровой банке.) И конечно же закусываю желтыми мочеными грушами. Они мелкие. В рот беру всю грушу целиком и наслаждаюсь неповторимым божественным вкусом. А моченые антоновские яблоки?! Нет, правда, во всем мире не найти такой вкусноты, даже в лучших ресторанах Филадельфии, не говоря уж об Оклахоме! Только в Моршнево Рыльского района!..

Выпив стопку, дедушка некоторое время сидит молча, не закусывая, за что от бабушки получает замечание:

«Ешь, дед, закусывай, такая вкусная селедка, спаси господи тебе унучек». Дедушка никак не реагирует. Мы повторяем еще по одной. Я хвалю закуску, а дедушка, чуть захмелев, говорит: «Эх, пока я жив, пока моя нога ходит, все в доме будет!» (Ногу он повредил года три назад, когда упал с крыши сарая, с тех пор ходил с самодельным костылем, сильно прихрамывая, она у него продолжала болеть.) «Вот, открыл я вам глазки», — он имеет в виду и моего брата Валю. «Вылетели вы из моего гнезда, как соколы, радуюсь за вас. Но смотрите там, не забулындивайтесь, не забывайте нас с бабушкой». И мы не забывали и не «забулындивались».

Я к каждому крупному советскому празднику, а также на Рождество и Пасху присылал дедушке с бабушкой поздравительные открытки. А в 1963 году на Троицу прислал дедушке поздравительную телеграмму с 75-летием. «Как же он был рад», — рассказывала потом бабушка. «Он и сам не помнил, сколько ему лет, — шутила она, — спасибо, что ты напомнил». Регулярно присылал письма и Валентин. В этом альбоме есть фотокарточка с надписью: на память дедушке и бабушке от внука Вали.

Надо сказать, что советские праздники они не любили и не отмечали. А вот религиозные всегда отмечали, особенно крупные, такие как Рождество Христово, Крещение Господне, Благовещение Пресвятой Богородицы, Пасху, День Святой Троицы, Успение Пресвятой Богородицы и другие. Отмечались они праздничным обедом с пирогами. Церковь эту разрушили «до основания» при советской власти...

Три или четыре дня я был в гостях у дедушки с бабушкой. За это время помог, как всегда, заготовить недели на две дров. Для этого я с санками и большим топором ходил в ольховый лес и колол корчи (пеньки от спиленных ольховых молодых деревьев). Зимой, замерзшие, они хорошо выворачиваются от двух-трех ударов обухом топора или от удара лезвием — отлетают уже готовые поленья. Аккуратно укладывал их на санки большой горкой, пере-

вязывал веревкой, легко привозил домой и укладывал красивыми стопками под сараем. Это для меня был прекрасный активный отдых, а для бабушки — существенная помощь.

Мне уже пора было собираться уходить в Коренево. Я заглянул за занавеску, где была небольшая каморка у печки. Там стояли маленький стол и узкая кровать. Я увидел сидящую на кровати бабушку, а перед ней на столике фотографию дяди Васи в шлеме танкиста. Карточка была в рамке и стояла почти вертикально, опираясь на подставку от рамки. Бабушка плакала.

«Ну что ты, бабушка, снова плачешь, внук к тебе приехал, а ты в слезы», — обращаюсь я к ней. А она: «Господи боже милостивый, как же мне не плакать? Как же ты, Володя, похож на моего Васеньку. Он был таким вот, как ты, когда его забирали в армию. Вот я и плачу от радости, что ты живой». Всю жизнь бабушка ждала своего сына: может, вернется. Ведь они с бабушкой получили не похоронку, а сообщение из военкомата, что дядя Вася пропал без вести. Оставалась призрачная надежда, что он жив. Вот бабушка молилась и плакала...

Расплакалась она и когда мы с Валентином летом 1967 года приехали в Моршнево каждый на своей «Волге». Она радовалась и плакала одновременно. «Как же мне не плакать, дед не дождался своих соколиков, помер год назад. Как он хотел вас видеть! Вы ж обещали ему в письмах покатать на машине. Перед смертью, в горячке, все звал вас: Валя! Володя!» Вместе с бабушкой мы сходили на могилку бабушки, поправили оградку, убрали с могилки сорняки. Посидели, помянули и оставили на могилке стограммовый стаканчик с водкой из бутылки с белой головкой. Спи спокойно, наш дорогой дедушка. Мы тебя помним...

А бабушку мы успели покатать на машине. Умерла она в 1974 году в Коренево, в доме своей дочери, нашей мамы. Там же, на поселковом кладбище, и похоронена, вдали от бабушки. Видимо, так было угодно Господу.

Дико визжал поросенок

Несмотря на послевоенную разруху, нищету и горе, крестьяне должны были платить государству налог. Каждый двор обязан был сдать в год 40 кг мяса, 200 штук яиц и что-то еще. (При Хрущеве ввели дополнительный налог на каждое дерево в саду. В итоге сады начали выпиливать, и этот налог потом отменили.) А где это было взять? Все голые, босые, только-только перестали голодать, начали опериваться. И налог.

Я хорошо помню как налоговики, двое мужчин из Рыльска, и милиционер собирали налог у Новикова Ильи Афанасьевича. Семья эта жила очень бедно, как, впрочем, и большинство жителей нашей деревни! Коровы не было, но был поросенок, правда, уже большой, килограммов на тридцать. Бегали по двору и огороду куры. И было четверо детей от 3 до 10 лет. Налоговики подъехали на подводе. Там в мешках уже лежала собранная дань с других дворов. Позвали хозяев хаты. Те вышли, выскочили из хаты и дети. Налоговики бесцеремонно вошли во двор и потребовали налог. «Нет у нас ни мяса, ни яиц», — заголосила тетя Катя, хозяйка. «Сами сидим голодные, вон их нечем кормить, одна картошка», — указала она на детей. «Тогда давайте деньги». Денег, конечно, тоже не было. Откуда они? И тогда налоговики взяли с телеги мешок и пошли через весь двор к хлеву, где хрюкал поросенок. Тетя Катя еще громче заголосила, запричитала и бросилась на обидчиков: «Не пущу, глаза повыдеру, душегубы проклятые, чем мы зимой детей кормить будем». Дети подняли рев. Остановил тетю Катю милиционер, представитель власти, крепко схватив за руку. А налоговики поймали поросенка, засунули его в мешок. Он дико визжал на всю деревню. Налоговики положили мешок с поросенком на телегу и поехали. А милиционер отпустил тетю Катю и посоветовал ей не кричать, а не то налоговики вернутся и кур переловят.

И только Илья Афанасьевич не проронил ни единого слова. Он сидел на ступеньке крыльца, и голова его беззвучно тряслась.

Конфеты от немца

Хочу рассказать тебе, Аня, как меня немец угощал конфетами. Эта картинка очень часто всплывала в моей памяти и когда я учился в школе, и когда учился в институте. Но я никогда никому о ней не рассказывал, потому что из газет, из книжек и кино о войне мы знали, что немцы — захватчики, жестокие, убивали наших людей, и мой рассказ не поняли бы собеседники. Но в нашей семье этот случай часто обсуждался. Одним словом, это не выдумка и не сон. Я только не помню, когда точно это было. Видимо, перед тем, как нас начали выгонять из деревни в село Сухое, где-то в начале марта 1943 года.

Немцы уже были в нашей деревне, а мы продолжали жить в своей хате, и нас до поры до времени не трогали. На улицу мы с Валею не высывались, играли во дворе. Вдруг открываются ворота, и во двор входит немец, без винтовки. Увидев нас, перепуганных, заулыбался и начал что-то говорить. Из хаты вышла бабушка и хотела нас увести. Но немец заулыбался и ей, начал показывать на нас, указывал на свою грудь, а потом махал рукой куда-то вдаль. Уже позже мы поняли, что он хотел сказать, что у него тоже есть такие же дети там, далеко в Германии. Он полез в карман своего френча и вытащил несколько цилиндриков в цветных обертках длиной и толщиной в палец взрослого человека. Немец предложил их нам и бабушке, и мы взяли.

Это были конфеты-леденцы, которые в виде кружочков толщиной в полсантиметра лежали друг на друге, образуя цилиндрик. Немец стал приходить к нам еще и еще. И каждый раз что-нибудь приносил: то конфеты, то жел-

тенькие шарики величиной с горошину в стеклянных пузырьках. Это были витамины, кисленькие такие, вкусные. Я думал, что это конфеты, и один раз съел сразу штук десять. Валя тут же сказал, что я умру от них, так много сразу есть нельзя. Я расплакался, побежал к маме. Она меня успокоила, что я не умру, а Валю поругала за то, что он говорит глупости. В общем, мы перестали бояться немца. Звали его Петер. Он научил нас говорить по-немецки такие слова, как «спасибо», «здравствуйте», «до свидания». С бабушкой и дедушкой он изъяснялся жестами. Показывал на себя, потом выразительно двигал руками, как если бы стругал рубанком доски, и указывал на оконные рамы, двери, стол. Было понятно, что он столяр и стрелять из винтовки ему совсем не хочется. Все это легко угадывалось в его жестах.

Однажды он пришел к нам в полном обмундировании, с винтовкой. Мы сидели всей семьей за столом и обедали. Я хотел выскочить из-за стола ему навстречу, но бабушка меня придержала. Петер был какой-то взволнованный, что-то говорил, показывал на себя, потом рукой указывал куда-то в сторону. Затем он снял с себя головной убор, взял с вешалки дедушкину шапку и, показывая на них, говорит: «Гитлер и Сталин». Бросил на пол и начал топтать, что-то продолжая запальчиво говорить. Мы сидели молча и слушали. Скорее всего он говорил: «Зачем я, немецкий столяр, пришел к вам с войной, нарушил вашу жизнь? Виноваты во всем Гитлер и Сталин». Может, он говорил как-то по-другому, но было видно, что воевать он не хочет. Потом успокоился, надел свою пилотку с ушами, отдал нам честь, сказал «ауф видерзеен» и ушел. Больше мы Петера не видели. Видимо, их часть перевели в другое место.

А вскоре после его ухода пришли мадьяры (венгры), начали выгонять мирное население в тыл, а кто вздумал не подчиниться — расстреливали. Венгрия воевала на стороне Германии. Но немцы не доверяли мадьярам серьезные военные операции, а оставляли «грязную

работу» вроде очистки передовой линии от жителей. И они старались, усердствовали. Были жестокими и безжалостными.

Пленный немец

Как-то вскоре после войны к нам в деревню приехали из Рыльска четыре человека. Это были два следователя и два немца: один пленный, другой переводчик. Пленный немец был худой, высокий, слегка сутулый, выглядел изможденным. Второй, наоборот, был низкого роста, толстенький, с черными волосами и все время улыбался. Видимо, это был «наш» немец, из тех, кто воевал против фашистской Германии.

Пленного немца возили по окрестным деревням и селам для опознания. Говорили, что вроде бы он совершал здесь во время войны какие-то преступления. Остановились прибывшие у бабы Лукерьи, им понравилась ее просторная, солнечная хата. Немца посадили на табуретку в горнице лицом к окну, чтобы было лучше видно. И начали приглашать жителей деревни посмотреть на пленного, не узнают ли они его. Дедушка не пошел, а бабушка приоделась и пошла. По пути она зашла к тете Паше Зайчихе, своей подруге по несчастью: у бабушки погиб на войне ее единственный сын Вася, а у Паши Зайчихи погибли пятеро сыновей, все, сколько она родила и вырастила. А муж умер еще перед войной. И осталась тетя Паша одна в своей маленькой хатке, кое-как сложенной после войны, потому что довоенная, просторная хата была разбита прямым попаданием снаряда.

Вдвоем они пришли в Лукерьину хату. Первой зашла в горницу бабушка. Смотрела она на немца и так и этак. Ее попросили обойти вокруг него. «Нет, не знаю, никогда не видела», — сказала бабушка. Потом вошла Паша Зайчиха. Смотрела-смотрела на пленного немца, за-

плакала и говорит: «Может, это ты убивал моих сынов?» Немец вздрогнул, повернулся к переводчику, но тот ничего не сказал, только улыбнулся. Потом баба Паша подошла к следователям и сказала, что она не знает немца и, чуть помедлив, добавила: «Покормите вы его, посмотрите, какой он худой, наверно, голодный». Об этом же говорили другие бабы, что толпились у крыльца сений во дворе.

Через минуту они помогли бабе Лукерье начистить картошки, а та затопила печку. К вечеру опознание закончилось — безрезультатно. Пленного посадили за стол на кухне. Тут же на столе появились квашеная капуста, соленые огурцы и отварная картошка в чугушке, от которой шел пар. В свете керосиновой лампы он был хорошо виден в виде шевелящейся тени на стене избы. Немец принялся жадно есть. Первые картофелины он съел не поднимая от картошки глаз. А женщины толпились у дверей кухни, заглядывали, любопытствуя, как немец ест. Он поднял глаза на бабу Лукерью и покивал головой, мол, благодарю вас. А та все приглашала второго немца, переводчика, тоже сесть за стол и поесть. Тот улыбался и отказывался. Откуда было знать бабе Лукерье, что он хоть и немец, но не пленный и поужинает вместе со следователями, у них для этого случая была припасена провизия, может, получше картошки.

Мой земляк

Сразу после войны и в 50-х годах село Сухое гремело на весь Рыльский район, даже на всю Курскую область. Там был колхоз «Красный Октябрь». Возглавлял его Федор Павлович Максимов, бессменный председатель в течение, кажется, 20 лет. Село почти не пострадало от войны, в нем было много жителей, в основном женщин. И вот за счет их труда колхоз стал передовым в районе.

Больше других они выращивали и сдавали государству зерна, сахарной свеклы, молока, мяса. Председатель стал Героем Труда, вручили ему Золотую звезду, потом еще одну. В Рыльском музее висят его портреты и даже есть картина какого-то столичного художника, на которой он с Н. С. Хрущевым на хлебном поле — стоят в позах, подобающих персонажам произведений социалистического реализма.

Крестьян нещадно эксплуатировали, толком ничего не платя за их тяжкий труд. Были они недовольны своим правителем, глухо роптали на него. Я в этом убедился, когда в июне 1955 года был там в гостях на Троицу, в праздничный престольный день. Люди даже за праздничным столом рассказывали, что уже нет сил терпеть: без выходных, без проходных, от зари до зари их заставляют ишачить на этого советского помещика...

Хрущев не случайно бывал в здешних местах. В 40 километрах к северу от Рыльска находится его родина, Калиновка. Люди там бедные, забитые. Глухомань еще большая, чем в Моршнево. Жестоко прокатилась война и по Калиновке, линия Курской дуги проходила и там. Горе, нищета. И вот после своего прихода к власти Хрущев решил сделать из Калиновки образцовое сельское селение, колхозный рай. Видимо, это были искренние его намерения. Поскольку там не было никаких дорог, сплошные топи и черноземная грязь по колено, Хрущев приказал построить туда автостраду из бетонных плит, как ответвление от трассы Москва — Симферополь на Глухов и далее на Киев, с аппендиксом до Калиновки, длиной километра три (тупичок такой). Дорогу построили, и Хрущев стал частенько приезжать в Калиновку с многочисленными машинами сопровождения. О Калиновке заговорили по радио и в газетах. Первое, что сделал Хрущев, это отрезал у крестьян приусадебные участки по уборную, т. е. отнял всю землю, что была в личном пользовании крестьян. Он считал, что крестьяне слишком много времени тратят на обработку своей

земли, поэтому плохо работают в колхозе. Во-вторых, он заставил колхозников отвести своих коров на колхозный двор, чтобы образовать большую молочную ферму с автодоилками. Потом, мол, построим сыроварню, маслозавод. Пусть женщины работают на ферме, теперь им не надо тратить времени на уход за личной коровой, а молоко для себя будут брать на ферме. Потом Никита Сергеевич повелел оставшуюся землю вокруг хат и в палисадниках засадить цветами, а то там крестьяне начали сажать картошку и лук. «Жить надо культурно и красиво! Это все делается для вашего же счастья, как вы этого не понимаете», — убеждал Хрущев своих земляков.

Но крестьяне воспротивились, не захотели строить коммунизм в отдельно взятой деревне. Бабам не понравилось ходить за молоком на колхозный двор, стоять там в очереди у молочной цистерны или фляг. Им нравилось доить свою корову в своем хлеву, пить парное молоко от своей коровки. А картошку и лук они любили и хотели выращивать на своем огороде. В общем, не поняли земляки Никиту Сергеевича, ничего у него не получилось. А тут пришел 1964 год, Хрущева из начальников Советского Союза убрали, пришел к власти Брежнев Л. И., а о хрущевских делах в Калиновке забыли.

А бетонная автострада так и ведет в Калиновский тупик. Я ездил по ней: трясет на стыках плит, но ехать можно. Если бы Хрущев продлил дорогу хотя бы до Рыльска или, на худой конец, до старой дороги Хомутовка — Рыльск, люди ему были бы благодарны, ведь там непролазные топи у истоков рек Сев и Амонька...

В народе говорят, что Никита Сергеевич хотел в Калиновке построить метро, но не успел. Может, тогда бы земляки его были более сговорчивы.

...Когда я учился в институте (в 1957–1963 гг.), Калиновка гремела на весь Союз. Я с гордостью сообщал своим однокурсникам, что Хрущев мой земляк.

Детские шалости

Павка Новиков был почти ровесник Валентина. Мы и дружили и ссорились, вместе зимой ловили кубарями вьюнов в Тимошкином болоте, а летом дедушкиным бреднем — линею и щук в ближайших озерах. Вместе же взрывали найденные на лугу, в болоте или на огородах «наши» снаряды или немецкие мины от минометов, или гранаты. Для этого разводили на бугре, подальше от деревни, костер, осторожно складывали туда найденные «цацки» и убежали в овраги или оставшиеся от немцев траншеи. Ждали, когда прогремит взрыв. От этих взрывов екали сердца матерей: «Опять кого-то убило!» Выбегали из хат сестры, матери, бабушки и наперебой звали истошными голосами своих братьев, сыновей, внуков. Убеждались, что это очередная проделка Павки Новикова: он был признанным вожакom деревенских озорников нашего края деревни. И ему доставалось от своей матери и матерей других мальчишек.

Вообще, всяких проделок и хулиганских выходок со стороны подростков было много. Так, Валька Курусев время от времени мучил своими выходками бабу Дуню. Курусь жил с матерью. Отец погиб на фронте. Мать свою он не слушался, был хулиганистый и изобретательный выдумщик всяких проказ. «Безотцовщина, что с него взять», — говорила о нем наша бабушка. Бывало, отругает его мать за какие-нибудь проделки: «Не приходи домой, паразит такой, все равно не пущу», — и он ночует в своем «гнезде», которое уже давно соорудил для такого случая на разлапистых ветках ракиты, высоко над землей. Там, на помосте из досок, устланном всяким тряпьем, ему было уютно и тепло. Это его «гнездо» было предметом зависти других мальчишек.

Баба Дуня жила одна в своей хате. Она была ругливая, крикливая, не любила Куруся и постоянно ссорилась с его матерью, соседкой, хата которой была напротив, через улицу. И Курусь ей мстил. Уйдет баба Дуня из

дома, а он закрывает намертво со двора калитку, и та, ругаясь, вынуждена обходить плетневую изгородь, чтобы попасть во двор со стороны огорода. Или прицепит к окну нитку с гайкой и вечером, спрятавшись за кустом бузины, дергает за нитку. Гайка бьет по стеклу, вроде как кто-то стучится в окно. Дуня выйдет на крыльцо, крикнет: «Кто там?» Никого нет. Только зайдет в хату — опять стук.

А однажды отчебучил (выдумал) такое, что Дуня не на шутку испугалась и даже расплакалась, правда, ненадолго. Курусь установил в середине ее двора «мину». Притащил корпус настоящей мины, похожий на плоскую, невысокую кастрюлю, прицепил к ней тонкую проволоку, а другой конец ее привязал к ручке двери в хату. Утром Дуня хотела выйти из хаты во двор. Но дверь открывалась только слегка, в появившуюся щель была видна натянутая проволока и мина. Баба Дуня раскричалась, испугалась, расплакалась. Позвала соседок. Те собрались у калитки двора, галдят, судачат, но никто к «мине» не подходит, бог его знает, что там внутри. Прошло с полчаса. Появился Курусь. Прикинулся дурачком. Что, мол, тут происходит? Мина? Где? Какая? И тихонечко, как артист, пошел к ней. Мать кричит: «Валька, не подходи!» Бабы врассыпную. А Курусь осторожненько, чтобы все видели, какой он опытный, вытащил из середины «мины» какой-то винт, вроде это взрыватель, отвязал проволоку и говорит: «Готово! Не бойтесь. Я ее разрядил». Валька ожидал, видимо, похвалы и благодарности. Но баба Дуня пришла в себя и как заорет: «Это ты, паразит, подложил ее». Схватила палку и бросилась на «спасителя». Тот наутек: «Ну, подожди, я тебе еще что-нибудь устрою, старая», — вертелось у него в голове.

...Валька Курусев окончил нашу Волобуевскую семилетнюю школу, поступил в Рыльский строительный техникум, успешно закончил его и уехал куда-то работать по распределению. В деревню, как и большинство ребят, он не вернулся.

Браток

Напротив дедушкиного дома (дедушка иногда называл свою хату домом, потому что с фасада она стояла на высоком фундаменте из-за откоса в рельефе) стояла хата двоюродного брата дедушки, Ивана Афанасьевича. Хата эта была невзрачная, меньше, чем дедушкина, с низко посаженными окнами, что давало повод дедушке лишний раз быть гордым за свой дом. Иван Афанасьевич это знал, но виду не показывал и отыгрывался другими способами. Ворота у дяди Вани были красивые, еще до-революционные, тесовые, с дубовыми веревями и изящными, наискось прибитыми узкими досками на створках. Во время войны ворота не пострадали и величаво напоминали о былом достатке хозяина двора. Забор из досок не сохранился, видимо, немцы разобрали его на дрова или обшивки своих окопов и блиндажей. От крайней веревки до угла хаты метра на четыре тянулся высокий плетень с вертикально стоящими в нем орешниковыми палками толщиной один-два сантиметра. Плетень, конечно, не очень смотрелся рядом с тесовыми воротами, но где взять досок после войны? За двором был небольшой сад, за ним длинный огород, упирившийся своим дальним концом в ольховый лес. Справа от усадьбы дяди Вани располагался дедушкин нижний огород, тоже длинный, узкий, шириной метров шесть. Когда разливался Сейм, обычно в апреле, на Пасху, то вода заливала половину дедушкиного огорода и весь огород и сад дяди Вани, подходила к самому крыльцу его хаты. А хата дедушки стояла через улицу на возвышении, и разлив был нам не страшен, даже самый большой. Межа между огородами дяди Вани и дедушки была общей. Еще до войны на той меже дядя Ваня посадил длинный ряд слив. Дедушка как увидел, рассердился, возмутился: «Ну что же ты делаешь, Иван Афанасьевич, кто же это прямо на меже сажает деревья, отступи полтора метра, как положено, и сажай, как все люди делают». «Ну что ты, браток, сердисься. Мы же свои. Сливы будут

у нас общие: какие на твой огород будут падать — твои, а на мой — мои», — отвечал, посмеиваясь, дядя Ваня. «Не нужны мне твои сливы, своих девать некуда, — возражал дедушка. — А тень от них закроет пол-огорода». (Дедушка недолго любил дядю Ваню за его мелкие пакости и ядовитый язык.)

Но дядя Ваня не для того сажал сливы, чтобы уступить справедливым замечаниям дедушки. Он просто решил лишний раз позлить его, сделать ему неприятность. Характер у него был такой противный. Так и росли эти сливы на меже, создавая на дедушкином огороде ненужную тень. Когда созревали, сыпались и на нашу сторону. Но дедушка строго запретил нам собирать их, из принципа, как бы сейчас сказали. Их собирали дети дяди Вани, при этом топтали наш огород, неумышленно, конечно. А дядя Ваня посмеивался: «Ну что же, браток, ты не собираешь сливы?» Дедушка в душе сердился, но скандалить не хотел и спокойно отвечал: «Да на какого идола мне нужны твои сливы, своих некуда девать».

Дядя Ваня сильно хромал. У него на ноге была какая-то незаживающая рана, полученная им еще до войны, и он ходил на костылях. Работать он толком не работал ни в своем дворе, ни в колхозе, может, потому, что мешала больная нога. Целыми днями он сидел с кем-нибудь на лавочке у своего палисадника и «точил лясы», как говорила бабушка. Любил ходить на колхозный двор и там «чесать свой язык» со стариками и бабами. «Ну что ты, браток, работаешь в своем огороде на советские праздники. Ведь сегодня Первое мая, — язвил он, обращаясь к дедушке. — Как на Благовещенье, так не брал в руки лопаты. Иди сюда, посидим на лавочке». Дедушка отвечал, что советская власть Бога не признает, потому работать на ее праздники можно, а вот лодырничать да «лясы точить» — грех.

Во время коллективизации дядя Ваня состоял в комитете по раскулачиванию. Самому ему бояться было нечего: у него не было ни лошади, ни добротной хаты, а та, что

была, так под соломой, а не под железом. А вот другим выносил приговор: раскулачить или нет. Правда, время то было трудное, несправедливое: если ты не раскулачишь, то тебя раскулачат. Когда пришла немецкая власть, он тоже был в каком-то комитете. На общей сходке деревни, когда выбирали старосту, он сидел за столом президиума и предложил кандидатуру дедушки. Слава богу, выбрали другого, нашего соседа Данилу. (После освобождения старост арестовывали, сажали в тюрьмы или расстреливали. Наш сосед от переживаний умер сам.) А после победы, когда у нас появилась корова Малинка и дедушка обучил ее возить двуколку и пахать огород, на смешкам дяди Вани не было конца. «Ну, сколько молочка дает твоя лошадка, браток?» — издевался он над дедушкой. Теперь он был в правлении колхоза и снова вершил судьбы людей. До дедушки доходили слухи, что он ставил там вопрос о запрете пахать на корове, чтобы досадить дедушке. Но пахали на коровах и в колхозе, затея его не прошла. «Ненавистный, — говорил дедушка. — Какое ему дело, хромонтшлыкому».

В 1947 году дядя Ваня умер то ли от воспаления легких, то ли от чахотки. А перед смертью, когда уже не вставал с постели, попросил, чтобы пришел к нему дедушка.

— Дмитрий Петрович, браток. Разреши, чтобы меня похоронили в твоём саду. Он высоко находится, там воды нет. А в моем, ты знаешь, вода очень близко, не хочу лежать в мокроте.

Дедушка, конечно, не отказал братку в последней просьбе, и его похоронили в дедушкином саду на самом высоком месте.

Здесь надо пояснить. Своего деревенского кладбища в Моршнево не было, как и в других соседних селениях. Принято было хоронить покойников в своих садах, благо они были большими. И только в середине 60-х годов было выполнено строгое предписание из Рыльска об организации кладбища. Дедушка наш был похоронен на нем третьим, в марте 1966 года. Мой папа сварил на заводе,

где работал электросварщиком, оградку, но без дверцы, торопился, не успел, говорил он. Поэтому могилку дедушки легко искать: у всех остальных оградок есть дверцы. В 1994 году мы с братом Валей были там, на могилке. У дедушки нет никакого памятника. Оградку мы покрасили. Сходил я и на могилку дяди Вани. Могилка цела, есть оградка. Но яблони в дедушкином саду рядом с могилкой засохли, пропали.

Подох Сатон

3 или 4 марта 1953 года к нам в хату забежал Павка Новиков и с порога закричал: «Слышали новость? Сталин заболел». Мы, конечно, еще не слышали, радио в деревне не было. А у Павки радио уже было, вернее, радиоприемник «Родина»: большая, красивая деревянная коробка с блестящими ручками настройки и целлюлоидной панелью, на которой мелко были написаны названия городов разных стран: Варшава, Прага, Москва, Ленинград... Это был единственный радиоприемник в деревне. Павкин старший брат Миша работал шахтером на Донбассе в Горловке. Шахтеры хорошо зарабатывали, и Миша привез приемник, когда приезжал недавно в отпуск.

Я помогал Павке ставить на сарае и хате длинные шесты для антенны. И мы иногда слушали радио у него в хате. Павка говорил, что ночью он слушает «Голос Америки» и что там говорят против Советского Союза. Вообще Павка был очень знающим, начитанным. Он перечитал все книги школьной библиотеки, где-то доставал новые и запоем их читал. Часто летними вечерами, сидя на лавочке у своего палисадника в окружении нас, мальчишек помладше, рассказывал то, что прочел в очередной книге. Мы слушали с интересом, отгоняя ветками рой комаров, которые слетались к нам из ольхового болотистого леса, что находил-

ся рядом. Мы и сами читали много книг, в основном про войну. «Белая береза», «Повесть о настоящем человеке», «Молодая гвардия», «В окопах Сталинграда» — любимые книги мальчишек послевоенных лет. Они переходили из рук в руки и зачитывались до дыр.

В 1952–1953 гг. Павка учился в 10-м классе, а я в 7-м. Но ему приходилось ходить каждый день 7 км в один конец, потому что средняя школа, десятилетка, находилась в поселке Семеновского сахарного завода. А Волобуевская семилетка — в одном километре от Моршнево, мне было легче. Правда, поздней осенью и в начале зимы, когда замерзала наша река Сейм, он добирался до школы на коньках и хвалился, как здорово он при этом чувствует себя. Потом лед заносило снегом, и он опять ходил пешком. Павка был единственным из многочисленной компании послевоенных мальчишек-озорников, кто учился в средней школе сахзавода и окончил ее. Остальные после Волобуевской семилетки поступали в техникумы Рыльска или спокойно работали в колхозе, «волам хвосты крутили», как говорила моя бабушка, и ожидали, когда их заберут служить в армию.

Сообщение Павки о болезни Сталина было принято в нашей семье к сведению. Порассуждали немного о том, что если эту новость передали по радио, значит, дело плохо. Но ни дедушка, ни бабушка нисколько не огорчились.

На следующий день, как всегда к 9 утра, я собирался в школу. Уже ярко горела печка. Дедушка вставал очень рано. В зимней темноте он ориентировался по настенным часам-ходикам, к гире которых были подвешены дополнительные железяки в виде подковы или молотка без ручки. Часы барахлили, забулындивались, как говорил дедушка. Но он и сам прекрасно знал, что уже скоро утро: раз спать не хочется, значит, пора вставать. Подумаешь, который там час — четыре утра или пять. Пора растапливать печку...

Бабушка мне готовила завтрак: оладьи со сметаной, когда доилась корова, картофельный молочный суп или

яичница. (Однажды, будучи студентом, я сварил в общезитии молочный картофельный суп и угостил своих приятелей, с которыми жил в комнате: узбека Сохиба, татарина Сулеймана и китайца Лэй Сюэ Чжуна. Восторгам не было конца.) Запивал я чаем из сухофруктов или молоком. Настоящий чай у нас бывал, но я его не любил, он мне казался горьким, невкусным. Фруктовый был лучше: поджаренные на сковородке аж до коричневого цвета сухофрукты засыпались в чайник, заливались кипятком и настаивались минут десять. Получался ароматный напиток, который я люблю до сих пор, особенно из антоновских яблок. Не помню ни одного случая, чтобы я шел в школу, а завтрак не был готов. Спасибо моим дорогим бабушке и бабушке...

О вчерашнем приходе к нам Павки мы уже забыли. В это утро я припозднился и шел в школу один, без обычной компании школьников, которые ходили из Артюшково и Иштутино, что находились от Моршнево в 4–5 километрах. (Да от нас еще один километр до школы. Ведь далеко, но ходили, учились, прогульщиков не было.) В тот день они уже прошли...

Волобуевскую школу отремонтировали, вернее, построили заново после военных разрушений. Это было одноэтажное, довольно длинное здание, классов было много. Одних седьмых было два, да шестых два, да пятых три. В каждом классе по 25–30 учеников. В общем, сельских детей в то время было много. В каждом классе своя печь, которую топили дровами. Но все равно зимой было холодно, и мы сидели за партами одетые в свои нехитрые зимние одежды, в валенках. В коридоре стоял на столике бак из оцинкованной жести с ледяной питьевой водой из колодца, к нему была привязана кружка. В школу многие брали с собой что-нибудь на перекус: кусок хлеба, яблоко, пирожок. А Валька Миронов, жил он недалеко от школы, бегал на большой перемене домой и приносил вареную картошку, еще горячую, которую, прежде чем съесть, подбрасывал вверх и ловил, иногда не очень удач-

но. О школьном буфете мы и слыхом не слыхивали. Даже в Кореневской средней школе, где я продолжал учебу, никакого буфета не было. Правда, там в перерыв можно было сбегать в станционный буфет и купить булочку или пирожок...

Итак, я подхожу к школе, уже вхожу в коридор и чувствую что-то необычное: нет привычной беготни по коридору, криков, шума, стоит подозрительная тишина. Захожу в класс, там уже наш классный руководитель Елена Яковлевна Никитина. Смотрю, все девчонки в слезах, учительница тоже...

Наш класс у Елены Яковлевны был первым, после того как она окончила педагогическое училище в Рыльске. В 1946 году она нас приняла. Ей было лет 19, всего на 10 лет старше нас. Всегда строгая, красивая, справедливая, добрая. До четвертого класса включительно вела все предметы, а потом русский и литературу. Мы ее очень любили. Я ее с благодарностью вспомнил, когда при поступлении в институт за сочинение получил «отлично». Привила она нам любовь к русскому языку... И вот наша Елена Яковлевна в слезах. Боже мой! Я тут же вспомнил вчерашний Павкин приход к нам домой. Умер Сталин.

Через полчаса нас распустили по домам. Не учились мы дня два или три, пока проходили похороны. Указания на этот счет приходили из Рыльска. Могу засвидетельствовать: плакали многие, но далеко не все. В классе зареванными были одни девчонки. Не помню, чтобы плакал кто-то из ребят. Не помню также, чтобы кто-то плакал из жителей деревни. Не плакала и моя бабушка, это точно, хотя она была любительницей пустить слезу. Более того, я помню, как пришла к нам баба Паша Мареева, почти соседка, и с ходу к бабушке со словами, правда, шепотом: «Подох сатѳн, рябая тертушка, так ему и надо. Теперь, может, колхозы распустят». (Люди откуда-то знали, что лицо у Сталина было рябое, изрытое оспинами, хотя на портретах его, естественно, изображали другим.) «Нет, не распустят, найдется дру-

гой сатón», — возражала бабушка. Она оказалась права. Вскоре появился Хрущев, и обложили крестьян дополнительным, новым налогом. Нам, мальчишкам, уже подросткам, не нравилось, казалось, что теперь плохо, нескладно кричать, если понадобится: «За Родину, за Хрущева!» Кричать: «За Родину, за Сталина!» — на наш взгляд, было гораздо лучше...

Валентин, мой брат, прислал письмо, где красочно описывал, как он со своими товарищами по институту пробирается по крышам и чердакам московских домов, чтобы выполнить свой долг: пройти через Колонный зал Дома союзов, где стоял гроб с телом Сталина. Свой «долг» Валя выполнил, о чем с гордостью сообщил в письме.

Салют

Хотя днем освобождения Курской области считается 2 сентября 1943 года, эхо войны еще долго прокатывалось по нашей деревне в виде взрывов оставшихся немецких боеприпасов и мин. Минные поля были расположены на пойменном лугу реки Сейм. Вскоре после освобождения к нам прибыли минеры и обезвредили основную массу мин. Минеры складывали их прямо на лугу в большие кучи и взрывали. От этих взрывов подпрыгивали в хатах миски и кружки, а земля под ногами дрожала. Минеры хоть и гоняли нас, мальчишек, но давали шарики от противопехотных мин, которые мы выпрашивали поиграть, а сами использовали их как пульки для рогаток и поджигных. Но в деревне еще было много немецких боеприпасов, например мин от минометов, их немцы бросили прямо в ящиках. Те, кто вернулись в деревню первыми, растащили их по хатам, спрятали в огородах. Матери, бабушки несли минерам наши «игрушки», чтобы они их тоже взорвали, указывали тайники своих детей, где хранились опасные «цацки». Но все равно, еще несколько лет война давала о

себе знать: то корова подорвется на mine, которую минеры не заметили, то дети найдут снаряд или мину и попытаются их разрядить...

Весть о Дне Победы пришла к нам с опозданием то ли на один, то ли на два дня: не было ни телефона, ни радио. Но митинг состоялся. На лужайке возле разрушенного «Володиного дома» в центре деревни собрались все ее обитатели: старики, женщины, дети. Председатель колхоза, инвалид войны без левой руки, произнес речь. Женщины смеялись и плакали одновременно. «Да здравствует наша Красная армия! Да здравствует Сталин!» — закончил председатель свое выступление. И в это время из подвала «Володиного дома» сначала медленно, затем все гуще повалил черный дым. Это мы во главе с Павкой Новиковым придумали такой салют в честь Победы: подожгли припрятанный тол от немецких мин. Мы знали, что без капсюля он не взорвется, но горит хорошо. Вечером меня бабушка «наградила» хворостиной, потому что ей кто-то сообщил, что я участвовал в подготовке салюта, и это была правда. А брат Валя подшучивал: «Надо было положить вместе с толom гранату с капсюлем, вот бы был настоящий салют!»

Проводы в армию

Проводы в армию ребят выливались в общедеревенское событие. Накануне дня проводов в семье новобранца устраивается праздничный обед. Приходят родственники, друзья, соседи. Обедают, выпивают, желают успешной службы, счастливого возвращения. А на утро на другом конце деревни уже слышатся залихватские переливы гармошки и задорные девичьи голоса:

Меня милый не целует,
Говорит: потом, потом.

Я смотрю, а он на лавке
Тренируется с котом.

И тут же ребячий голос:

Под Семеновским мостом
Рыба ловится с хвостом.
Девки ловят и едят,
Не боятся, что родят!

Процессия движется по улице к нашему краю деревни: новобранцы (человека три-четыре), их родственники, друзья, подруги, мальчишки, девчонки. Лают собаки. Рядом с гармонистом — дядя Ваня Нелочкин, изрядно подвыпивший, лицо раскраснелось. У него от паха нет ноги, болтается подколотая булавками штанина до колена. Идет на костылях. На потертой гимнастерке у него медали, ордена. Время от времени он поет свое, часто попадая в такт музыки: «Ох, доходились мои ножки, ох, да по Моршневской дорожке», — и горько машет головой из стороны в сторону. Новобранцы подходят к каждой хате, у которых уже стоят хозяева, тепло прощаются. Это те хулиганистые мальчишки, отцы которых погибли на войне. Еще недавно они озорничали по вечерам. Их любимая проделка — поменять местами колодки хозяев хат. (Колодка — это бревно, часто очень тяжелое, одному поднять не под силу, которое лежало почти у каждого палисадника, дворового забора или плетня. Использовалась колодка как скамья для сидения, отдыха.) И вот наутро выходит хозяйка на улицу, выпускает корову в стадо. Смотрит, а колодка не ее, чужая. Хорошо, если соседская, перетаскивать недалеко, а часто — от двора, что в пяти хатах от ее двора. Конечно же шум, гам: «Опять бугаи резвились ночью, хоть бы вас скорее в армию позабирали». И вот их забирают. Ребята просят прощения, просят не держать на них зла. Обида улетучивается: теперь им три года служить, а если кто попадет в морфлот — четыре. Там не порезвишься...

Вот уже и на нашем краю деревни играет гармошка. Процессия останавливается напротив дедушкиной хаты, она последняя в верхнем ряду улицы, и одновременно напротив тесовых ворот дяди Вани, хата которого — предпоследняя в нижнем ряду улицы. Здесь ровная низинка, заросшая гусиной травой, становится танцплощадкой. Плачут матери, играет гармошка, лают встревоженные собаки. А девки и ребята, подружки и друзья новобранцев, и в одиночку, и в паре, отплясывают на гусиной траве, выхваливаются друг перед дружкой озорными частушками:

Ах вы, лапти мои,
Четыре оборки,
Хочу дома заночую,
Хочу — у Егорки!

Мой муж — арбуз,
А я — его дыня,
Он побил меня вчера,
А я его — ныне.

Моя милка по хозяйству
Очень беспокоится:
Три часа козу доила,
А козел не доится!

А дядя Ваня Нелочкин опять не в лад с гармошкой поет про свое тяжкое горе:

Ох, доходились мои ножки,
Ох, да по Моршневской дорожке.

И горько плачет, машет головой вправо-влево. Вдова-солдатка обнимает сына, сквозь слезы, с надрывом выдавливает из себя: «Вот бы отец посмотрел на тебя, как ты вырос, таким же, как он, стал», — и снова рыдает. «Не плачь, мама, ведь я же не на фронт иду, а

служить, чего ты боишься?» «А вдруг опять война, вот чего я боюсь...»

Подходят ребята-новобранцы и к нашей хате. У ворот стоят дедушка и бабушка. Ребята обнимают их, прощаются. Дедушка говорит: «Дай бог вам хорошо отслужиться», — и крестится. А бабушка плачет, поднимает глаза к небу: «Господи милостивый, храни своих чад, избави их от войны», — и осеняет ребят крестным знаменем...

Дальше ребята пойдут одни через небольшой кустарниковый лесок, через соседние села Волобуево и Некрасово к Семеновскому мосту через Сейм. Это шесть километров от Моршнево. Здесь к ним присоединятся новобранцы соседних селений. От моста ребятам шагать еще километров семь до Рыльского военкомата...

После службы в армии назад, в деревню, очень редко кто возвращался. Разве что в отпуск — на побывку. Почти вся деревенская молодежь оседала в городах.

Лисья улыбка

Озорство, граничащее с хулиганством, было свойственно и мне. Правда, лидером я никогда не был, но участником всяких мальчишеских проделок был. Что касается подрывов найденных неразорвавшихся снарядов, то здесь вожаком был Павка Новиков. А я был у него помощником. Бегать на минное поле в одиночку я не решался. Но как хотелось, как тянуло туда, на луг, хотя бы посмотреть на стоящие и лежащие в траве мины! Бог миловал меня, как говорила бабушка, не подорвался. Может, потому, что бабушка использовала не только свой молитвенный арсенал, но и обычную хворостину. Она не стеснялась своего Господа Бога, и хворостина частенько гуляла по моей попе, когда меня ловили и возвращали домой с полпути до минного поля. Я кричал: «Бабушка, больше не буду!» Через день-два все повторялось...

Одну свою выходку я запомнил на всю жизнь. Было это, когда я учился не то в третьем, не то в четвертом классе, в конце 40-х годов. Учились мы во вторую смену. Школы еще не было, ее только строили, восстанавливали из развалин. Классы располагались в хатах. В одной — 1-й класс, в другой — 2-й и так далее. В отдельной хате была учительская. Наш класс был в середине села Волобуево, идти минут двадцать. Зима, хороший морозец, солнечно. Идем втроем через лесок, овраг, в общем, по дороге. Подняться по крутому подъему — и мы уже в селе Волобуево. В третьей хате справа — учительская. И что-то меня дернуло внимательно посмотреть в овраг: там лежало нечто подозрительное, припорошенное снегом. Я спустился туда, ковырнул ногой и — о боже! Ободранная, застывшая на морозе лиса. Шкура с нее была снята. Глаза остались, а зубы были в таком оскале, что, казалось, лиса улыбается. Это кто-то из охотников убил лису, снял с нее шкуру, а несъедобное мясо, целиком тушку, выбросил в овраг.

Мне бы плюнуть да пойти своей дорогой. Так нет, голова начала быстро-быстро соображать. Ага. Есть! Вытащить на дорогу и поставить как пугало для прохожих. Я не боялся ободранной лисы. Папа у меня был охотником, и когда он бывал в Моршнево, приносил домой и зайцев, и лис. Разве мне, сыну охотника, позволительно было бояться какой-то там ободранной лисы?! Я взял ее за передние лапы и вытащил на дорогу. Друзья помогли расправить задние ноги так, чтобы она стояла на четырех лапах с поднятым, естественно ободранным, хвостом. И улыбалась! Получилось прекрасно! Мы похихикали и пошли дальше: пусть кого-нибудь напугает.

Но шагов через десять кому-то из моих спутников пришла в голову великолепная идея (я потом оправдывался, что не я это придумал): поставить лису у ворот хаты-учительской, благо это уже рядом. Сказано — сделано. Притащили лису к воротам учительской. Поставили. Неплохо. И вот тут-то уже меня осенило: надо ее поставить

во дворе, перед дверью в сени, откуда будут вот-вот выходить учителя. Была как раз переменка и учителя уже были там, в хате-учительской. Быстренько я подхватил лису, кто-то открыл капитку во двор, и вот наша красавица уже стоит и смотрит на дверь учительской. Мы быстро отбежали, закрыв капитку, и пошли как ни в чем не бывало к своей хате-классу. Мы уже и забыли о пресловутой лисе. Но кто-то все-таки видел, что это я поставил лису. И донесли нашей учительнице, Елене Яковлевне. Она стремглав влетела в класс. Губы ее тряслись, лицо побавровело. Мы еще никогда не видели ее в таком возбужденном состоянии...

А случилось вот что. Прозвенел звонок, возвестивший о конце переменки, и учителя стали выходить из учительской. Первой выходила пожилая, очень худая, учительница русского языка и литературы Антонина Ивановна Отрокова. Она страдала сердечной болезнью, иногда у нее даже на уроках бывали приступы. И вот, спустившись по ступенькам с крыльца сеней, она поднимает глаза и видит улыбку ободранной лисы. Мол, как поживаете, Антонина Ивановна? Учительница упала в обморок. Побежали за фельдшером Яковом Петровичем, жил он рядом, в первой хате села. Слава богу, откачали. Антонина Ивановна пришла в себя... Я до сих пор каюсь за содеянное. Наверное, я мог бы сказать, что от переживаний я постарел на несколько своих мальчишеских лет...

А Елена Яковлевна выгнала меня из класса, крикнула: пусть придут родители. Но папа и мама жили в Кореново, и пришлось в школу идти бабушке. Это был первый и последний случай вызова в школу моих родителей за все годы учебы.

Когда бабушка вернулась домой, я сидел в уголке лежанки. Бабушка не стала меня ни ругать, ни бить. Села за стол и молча плакала. «Каюсь, грешен, грешен, бабушка. Прости меня Христа ради... Лучше бы ты меня отстегала хворостиной, но не плакала».

Федька Косой

Он был старше и командовал мной как хотел. И хотя это мне не нравилось, я все же с ним дружил, потому что с ним было интересно. Во-первых, он умел делать поджигной. Во-вторых, он умел разряжать снаряды и глушить рыбу, а в-третьих, у него был кусок дерева с дуплом, в котором жила семья шершней. При желании этот кусок бревна можно было положить у колодца, ковырнуть в дупло палкой и, спрятавшись, наблюдать, как шершни досаждают женщинам, идущим к колодцу за водой: аж ведра в разные стороны летят.

В общем, Федька знал и умел многое! Правда, он не умел собирать грибы, видел он плохо, за что и получил прозвище Косой. Но это не мешало ему быть изобретательным и здесь: если он проходил мимо гриба, не замечал его, а я находил, то он бесцеремонно отбирал его у меня, говоря: «Но ведь это я прошел этот гриб, значит, он мой!» Я злился, но спорить с ним было бесполезно, так как он был сильнее.

Как-то после очередного похода в лес, где Федька отобрал у меня почти все грибы, он как ни в чем не бывало пришел ко мне и говорит: «Вовик, пойдем на другой край деревни, я знаю, где там на выгоне лежит неразорвавшийся снаряд, и мы разрядим его».

Я тоже знал про этот снаряд, его кто-то огородил веточками, и мне очень хотелось пойти, но обида по поводу грибов была еще очень свежей, и я ответил по-взрослому: «Иди ты к свиньям собачьим».

И Федька пошел. По пути он сагитировал еще двух мальчишек. А я с братом Валею полез рвать вишни, потому что бабушка заставила нас собирать их на варенье.

Вскоре вдали, в направлении выгона, раздался взрыв. Матери, как по команде, выскочили из своих хат: «Ванька! Витька! Где вы?» — неслось отовсюду. Выскочила и бабушка: «Валя, Вовка!» И, видя нас

на вишневом дереве, перекрестилась: «Слава богу, здесь». Такие взрывы случались часто, и матери знали, что это могло значить...

Схоронили Федьку и его друзей в одной могиле. Я горько плакал, а после боялся оставаться один. По ночам мне снилось много грибов, которые я сам приносил Федьке, говоря: «На, Федя, это тебе».

Бурьян и забвение

Деревня Моршнево умерла. В 1994 году, на Троицу, 19 июня, мы с Валентином были там, на родине, прошли по местам нашего детства. Нашли могилку бабушки, покрасили оградку... Вся улица заросла крапивой и бурьяном, развесистым чертополохом в рост человека. Осталась только тропинка. Вместо колхозного двора — пустырь. Там, где стояли хаты, — бурьян, кустарники и наиболее жирная крапива. На месте бабушкиного подворья — тоже бурьян и проросшие тонкие осинки. Но куст сирени в бывшем палисаднике сохранился, выжил, еще больше разросся. Лужайка у ручья, где паслись Зорька и Малинка, где зимой пили ледяную воду и гибли колхозные коровы, заросла лозой и ольховыми кустами. Ольховый лес, где мы с бабушкой в болоте косили осоку, разросся и поглотил нижние огороды, в том числе и бабушкин. Но колодец, где я с Казбеком набирал в бочку воду, сохранился. Там, где были стены подвала «Володино дома» и где мы с Валеёй сфотографированы (он с гармошкой) еле заметны следы фундамента и буйствует крапива. Прошли мы и через луг. Трава по пояс, косить некому, да и половина луга заросла ольховыми кустами. Постояли на берегу Тимошкиного болота, где мальчишками зимой ловили кубарями вьюнов. Оно осталось таким, как было: здесь разрушать-

ся нечему, болото — предел упадка. Во всей деревне осталось, может, хат десять, где доживают свой век глубокие старики. Остальные хаты брошены, окна у них заколочены крест-накрест, крыши перекошены, во дворах бурьян...

Даже в послевоенной, полуразрушенной деревне Моршнево слышалась симфония жизни: детский смех и плач, бляние козы, визг голодного поросенка, ругань соседок, лай собак. Но то, что мы увидели сейчас, походило на беззвучный, застывший сатанинский танец забвения. Пронзительная тишина. Казалось, вот-вот польются звуки реквиема.

О себе

Я, Вычеров Владимир Васильевич, родился 18 октября 1938 года в деревне Моршнево Рыльского района Курской области. В 1962 году окончил геолого-разведочный факультет Московского нефтяного института им. И. М. Губкина и затем годичные курсы переводческого факультета (испанское отделение) Московского института иностранных языков им. Мориса Тореза. В 1963 году прибыл по распределению в Геленджик в Научно-исследовательскую морскую геофизическую экспедицию (НИМГЭ). В этом же году был откомандирован на Кубу, где шесть лет работал переводчиком и инженером-геофизиком-сейсморазведчиком. Вернулся в НИМГЭ и в 1978 году был откомандирован в Польшу в польско-немецко-советскую совместную организацию «Петробалтик», где работал шесть лет старшим специалистом-геофизиком по польскому шельфу Балтийского моря. Являюсь участником открытия трех месторождений нефти и газа на польском шельфе. После командиров-

ки в Польшу работал в Геленджикском тресте «Юн-морнефтегеофизика» начальником тематической партии по обобщению геолого-геофизических данных с целью оценки перспектив нефтегазоносности Азово-Черноморского бассейна. С 1997 года на пенсии.

Жанна Зайончковская

БЛИКИ ВОЙНЫ

(ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЫБЦЫ И ПОЛТАВА)

1

Почему меня так волнует война? Почему я буквально прилипаю к телевизору, когда показывают фильмы о войне, даже те, примитивные и ура-патриотические, где немцы сплошь простофили и дураки, а наши — хитрые смекалистые умницы и бесшабашные герои? Я смотрю эти фильмы столько раз, сколько застаю их по телевизору. Может быть, потому, что в каждом фильме есть крупинка правды?

Еще больше волнуют документальные кадры, мемуары и дневниковые записи людей, переживших войну. Почему так? Я часто сама себе задаю этот вопрос, и внятного ответа нет. Ведь я была крошечным ребенком, когда началась война (мне было тогда два года и один месяц), и всего шесть лет, когда она закончилась. Тем не менее эти четыре военных года оставили самый яркий след в моей жизни.

Еще и еще раз я спрашиваю себя — почему? Может быть, потому, что это совпало с ранним детством, когда все запоминается так отчетливо? Возможно. Но мои двоюродные сестры — почти мои ровесники — ничего не помнят из того, что помню я, и воспоминания о войне не так берегут их души. Может быть, потому, что их отцы вернулись с войны, а мой нет, и я всегда помнила о нем. Не меняла фамилию при замужестве, до сих пор ношу ее как след отца на земле. И всегда сверяла свою жизнь по отцу — доволен ли был бы он мною? Как будто он наблюдает за мной из своего вечно далека. Я его совсем-совсем не помню, и лишь однажды в детстве видела во сне. Мама спросила: «Как ты его видела?» Я ответила: «Вы целовались». И тогда мама сказала: «Значит, дей-

ствительно погиб». Ведь она все надеялась: может, ошибка? Такое иногда случалось.

Мои воспоминания о военных годах отрывочны, непоследовательны. Я не всегда могу выстроить их хронологически, хотя черта между периодом немецкой оккупации и тем временем, когда пришли наши, отложилась четко.

2

Я родилась в Полтаве, на Украине. Сразу же с началом войны отец был мобилизован. Ему было 32 года. Он еще успел прислать маме одно письмо. Писал, чтобы бросила все и эвакуировалась. Но на маме (ей было 22) «висел» киоск, в котором она была и продавцом и заведующей. Некому было сдать товар, все разбежались, а мама боялась бросить киоск — вдруг завтра кончится война и ее посадят за растрату. Ведь, как говорила мама, никто не знал, сколько продлится война. Так мы и остались.

Когда ушел отец, мама со мной переселилась к своим родителям в пригородное село Рыбцы. Под родительский кров вернулись и две другие дочери, мужа которых тоже ушли на фронт, — беременная Катя с годовалым сыном Женей и Тамара с полуторагодовалой дочерью Линой. Моя мама — Мотя, младшая из троих. Но была еще самая младшая, Люба, двенадцатилетняя. Вот таким семейством мы и переживали оккупацию. К трем малышам в декабре 1941-го прибавилось еще двое девочек-близнецов, родившихся у Кати.

Семья собралась вместе еще до вступления немцев в Полтаву. У всех взрослых дочерей мужа были коммунисты, у Кати и Тамары — военнослужащие, мой отец работал мастером на ликеро-водочном заводе. Быть женой коммуниста было опасно, все напряженно ждали — что будет?

И вдруг всполошенный крик по двору: «Нимци в Кременчугу! Нимци в Кременчугу!» Кременчуг — ведь это почти рядом. Не помню, кто кричал, но этот крик как сигнал тревоги и большой опасности запомнился. Может быть, это и есть первое мое воспоминание.

Вот я стою в хате-мазанке. Открывается дверь и входит кто-то чужой, страшный, худой, длинный (такой высокий, что ему пришлось сильно пригнуться, чтобы переступить через порог), весь в черном, с темной жидкой бородой и в гигантских сапожищах — с меня ростом. Приближается ко мне размашистым шагом и тычет мне в губы металлический крест. Крест показался мне огромным, я боялась, что он меня свалит, и вообще перепугалась. Видимо, поэтому и запомнила. Затем мама на меня надела маленький медный крестик на красненьком шнурочке, который дал ей священник. Так меня окрестили.

Рассказывали, будто пронесся слух, что некрещеных детей немцы будут расстреливать, и вот священник, неведь откуда взявшийся, так как в нашем селе церкви давно не было, обходил и в спешке крестил и спасал детей, хотя и сам, видимо, был очень напуган. Но расстрелов не было, по крайней мере, ни тогда, ни после не помню, чтобы о них говорили.

Перед приходом немцев закапывали в саду документы и фотографии.

3

Наше село Рыбцы расположено совсем рядом с полтавским военным аэродромом, одним из самых крупных на западе СССР. Естественно, аэродром и его окрестности бдительно охранялись немцами. Наше село тщательно ими патрулировалось, чтобы не допустить появления партизан и соблюдать светомаскировку.

Партизан у нас действительно как будто не было. Тем не менее немцы их ужасно боялись. В связи с этим я помню два случая.

Немецкий солдат зашел к нам в хату и, увидев четвертушку подсолнечного масла, которое как раз накануне было выменяно на вещи кем-то из бабушкиных дочерей в отдаленном селе, потребовал отдать ему масло, но случайно выронил бутылку. Бутылка с треском разбилась. «Партизан!» — крикнул солдат и ринулся бегом из хаты. Так напугал его резкий звук лопнувшего стекла. «Девчата» — Катя, Тамара, Мотя и Люба — долго потом хохотали от комизма ситуации и от радости, что немец испугался. А разлившимся маслом смазали сапоги, все какая-то польза.

Второй случай из рассказа тети Тамары. Я помню, как она это рассказывала. Немецкий солдат проходил мимо нашей кукурузной делянки и на ходу простреливал ее из автомата. «Боялся партизан», — заключила тетя Тамара.

Чем мы питались? Ели скудно, однообразно, но не голодали. Ели то, что выращивали сами на своем участке и что вызревало в саду. Выращивали в основном кукурузу и буряк — сахарный и красный.

Вижу дедушку, беспрестанно вертевшего ручку самодельной крупорушки, которую он смастерил из консервных банок, чтобы дробить кукурузу. Бабушка варила большой чугунок крутой кукурузной каши на воде. Захочешь есть — снимешь крышку с чугуна, отковырнешь ложкой какой сможешь кусок каши, возьмешь этот кусок в руку и ешь, словно хлеб. Мы, дети, не помнили, а народившиеся в войну — и не знали вкус хлеба. Кукурузная каша нам вполне его заменяла. Взрослые же мечтали о хлебе, страдали без него.

На отваре сахарной свеклы готовили узвар (компот), но даже фрукты не могли отбить тошнотворный свекольный запах и вкус. Нас, детей, заставляли пить это узвар, и то, что мы получали натуральный сахар, безусловно, было очень важно для нормального роста. Взрослые же ели и вываренный буряк.

Картошки не было. Ее не сажали, так как все равно отобрали бы немцы. По этой же причине не держали кур. Но в сарае, взаперти, не выпуская попасить, держали двух коз, чтобы выкормить появившихся двойняшек. Эти козы, вероятно, давали совсем мало молока, так как я не помню, чтобы оно доставалось нам, старшим детям.

Матерей заставляли работать на полях колхоза (который немцы не распускали, но весь урожай забирали себе), на рытье канав, траншей и т. п. Работу часто меняли. Заставляли также убирать комнаты офицеров, тоже все время меняя дневальных.

Однажды тетя Тамара, самая бедовая из сестер, придя после такого дежурства, едва успев открыть двери в хату, потребовала: «Стелите на пол рядно». Затем сняла и перевернула вниз голенищем сапог, из которого посыпалось пшено. И из второго сапога тоже. Затем она стала на рядно и начала трясти свои шаровары. Из них вместе с пшеном посыпались... — о чудо! — маленькие печенья. Это были галеты. Нам, старшеньким, в виде исключения налили миску молока и туда опустили галеты. Из утянутого у немцев пшена испекли лепешки. Этот случай вспоминается как волшебство, как праздник, который, увы, не повторился.

Колхоз, который был в Рыбцах, специализировался в том числе на разведении рыбы. Там была цепочка прудов. Мы жили у первого пруда (ставка). Дедушка, Иван Гаврилович, и бабушка, Орышка, по фамилии были Луговые, и «наш» ставок соответственно назывался Луговивьським. Наш огород спускался прямо к пруду.

Как-то раз мы увидели, что на противоположной стороне пруда загорают трое немцев — голые! Лишь срамные места прикрыты крошечными косыночками. Мы остолбенели от неожиданности. Нам строго-настрого запрещалось подходить к немцам, но зрелище было столь захватывающим, что мы спрятались за кустами и долго за ними наблюдали. И снова я спрашиваю себя — почему? Может быть, потому, что мы никогда не видели раздетых

мужчин, ведь отцы были на фронте, дедушка — не в счет, а немецкие солдаты всегда в форме. Наше удивление — тоже проявление войны, когда остаются неизвестными самые обыденные вещи. Я говорю «мы», потому что мы трое погодков — я, Лина и брат Женя — тогда почти не различались, всегда были вместе.

Нас, малышей, вероятно, старались не выпускать со двора. Во всяком случае, я не помню, чтобы мы общались с немецкими солдатами и вообще почти их не помню, кроме того, который испугался партизан, и тех, что загорали.

Зато помню постоянное ожидание бомбежек и страх перед ними.

В течение всей двухлетней оккупации в ясные ночи наши войска делали налеты на полтавский аэродром, чтобы вывести его из строя. Вот наш хромой дедушка с палочкой выходит на порог и смотрит на небо. Если «хмарно», все спокойны, обойдется без налета. Если же дедушка предрекает ясную погоду, надо уходить на ночь из хаты.

Нас, детей, везут на тачке в другое село, подальше от аэродрома, к дальним родичам. В тачке все мы не помещаемся, только четверо. Я, старшая (три с половиной года) иду пешком, а это километров пять. Когда дорога идет под горку, тетя Катя, которая обычно нас везет, сажает меня на тачку, чтобы немного отдохнула, а идут (под горку-то легче) следующие по старшинству Женя или Лина. Близнецы пока идти не могут.

После работы подходят мама и тетя Тамара. Спим на полу, не раздеваясь. Мама крепко, как клещами, держит меня, плотно прижимая к себе. Мне неудобно, я стараюсь высвободиться, но не получается — мамины руки сжаты цепко — вдруг тревога: чтобы сразу вскочить и бежать, быть уже одетым и в суматохе не потерять ребенка.

Однажды бомба угодила в наш ставок. Хата покосилась, из окон вылетели стекла, разрушилась печь. Память хранит рассыпавшиеся кирпичи по дедушкиной с

бабушкой кровати. Но их Бог уберег, в ту ночь они ночевали в вырытом во дворе окопе. Помню радость всех возвратившихся с ночевки из дальнего села, что старики живы. Горячо обсуждали, что было бы, останься они в хате. На ночь окна заткнули подушками, занавесили ряднами, а коптилку поставили под стол, чтобы — Боже сохрани — не пробился свет. Немцы жестко следили за светомаскировкой, угрожая расстрелом в случае нарушения.

То, что взрослым беда, детям иногда радость. Так, нам нравилось залезть под стол и сгрудиться вокруг коптилки, нас притягивало таинство подсвеченного слабым мерцающим светом сумрака.

И еще. От бомбежки не только вылетели стекла, но упал гардероб. Падая, он зацепился краешком верха за стол, дверцы раскрылись и оттуда вывалилась коробочка с елочными игрушками. Я первая это заметила и в приливе восторга схватила «сокровище» — дутую пятиконечную стеклянную звезду, сунула ее за пазуху, чтобы другие дети не увидели и не стали отнимать ее у меня, помчалась в огород, собираясь там налюбоваться игрушкой в одиночестве, но — в наказание за эгоизм — споткнулась, упала и раздавила звезду.

В конце лета 43-го от осколков зажигательной бомбы загорелся наш сарай. Помню жаркое, яркое, высокое пламя, страх взрослых, чтобы оно не перекинулось на хату (крыша-то соломенная). Сарай был полон сухого сена, сухих кизяков, заготовленных на зиму, и главное — в нем были козы, кормилицы близнецов. Прибежали соседи, по цепочке от колодца к сараю стали передавать ведра с водой, но пламя бушевало лишь жарче. Тетя Катя, мать двойняшек, сразу же рванулась в огонь, чтобы вывести коз. Сестры ее не пустили. По очереди кидались в пламя мама и тетя Тамара. Обе были ранены осколками, к счастью, легко, но результата не добились. За ними все же бросилась в горящий сарай тетя Катя и вывела-таки коз из огня. За ней рухну-

ла крыша сарая¹. А мама с перевязанной рукой и шеей, задетыми, но не поврежденными осколками бомбы, легла. Тут же и я. Лежу и думаю (ясно это помню): как хорошо, что маму ранило и можно с ней полежать, и она меня обняла и держит возле себя. Видимо, у мамы не часто было время приласкать меня, а может быть, детям всегда материнского внимания мало.

Как я уже упоминала, до войны наша семья жила в Полтаве. Там оставалась у нас «квартира». Когда родители поженились, отцу в качестве жилплощади выделили веранду в бывшем помещичьем доме. Они с мамой обмазали стены веранды глиной, и получилась комната. Был еще отсек в общем сарае с заготовленной на зиму в качестве топлива лузгой (шелухой подсолнечника). Часть этой лузги мама успела на тачке перевезти в Рыбцы еще до прихода немцев. Решила навеститься на квартиру и при немцах. Но ее на дальних подступах встретила соседка — тетя Зая — и предупредила, что идти на квартиру нельзя, так как ее заняли немцы. Кроме того, один из соседей донес им, что мы — семья коммуниста, и нас поджидали, чтобы расстрелять. Мама считала, что сосед донес, чтобы занять наш сарай и присвоить лузгу. Так разделяла и проявляла сущность людей война — одни спасали, другие доносили.

Естественно, я не могла это помнить. Передаю по рассказам мамы.

Перед уходом немцы стали угонять молодых женщин в Германию. Мама и тетя Тамара прятались по балкам, а тетя Катя с пятью детьми — со своими тремя, со мной и Линой — оставалась в хате. Говорит, обвязалась низко платком, чтобы выглядеть старше (ей было 28), босиком. Дети грязные, тоже босые, с соплями, царапинами — нарочно так, чтобы отпугнуть немцев, которые боялись инфекций. На это и был расчет.

¹ Оказывается, тушили пожар неправильно. Зажигательную бомбу нельзя тушить водой, от этого пожар только сильнее разгорается, надо было огонь засыпать землей.

— Если только зверь, расстреляет, — так рассудили матери.

Действительно, обошлось. Как вспоминала тетя Катя, несколько солдат заходили в хату, но, увидев старуху с грязными «киндерами», уходили.

Я же помню убегающих немцев на мотоциклах с факелом в руке, чтобы поджигать хаты. Будто бы я с кем-то из взрослых стою в каком-то сарае и через щель вижу это. Не сон ли это или отзвуки чьих-то рассказов? Потому что не знаю ни где мог быть этот сарай, ни с кем я была там. А сейчас уже и спросить не у кого. Во всяком случае, хаты на нашей улочке уцелели.

Страшно ли было в оккупации? Нам, малышам, думаю, нет. Ведь мы были с матерями, бабушкой и дедушкой, а что же может защитить ребенка сильнее, чем мамина юбка? В то же время я отчетливо помню жуткий звенящий свист осколков, заставляющий цепенеть и прижиматься к дедушкиной ноге. Помню, с каким напряженным вниманием взрослые вслушивались в этот свист. На всю жизнь остался испуг перед внезапным окликом. Например, готовлю на кухне, неслышно войдет муж и громко сзади окликнет меня по имени, я непроизвольно вздрогну всем телом, побледнею и могу выронить что-нибудь, ложку, например.

4

И вот, наконец, как и в начале войны, снова крик по двору, но уже радостный, освобождающий, снимающий оковы оцепенения: «По Красний наши! По Красний наши!» (Красная — главная улица села).

Два года и два месяца прожили мы в оккупации. Полтаву освободили 23 сентября 1943 года, но до конца войны было еще далеко.

Первым делом с нас сняли крестики, так как теперь носить их было опасно.

Хорошо помню похороны погибших при взятии аэродрома красноармейцев. Все взрослые пошли на похороны, и я с бабушкой. Хоронили погибших в двух больших общих могилах. Без гробов. Аккуратно заворачивали их в шинели и бережно клали в яму, одних поверх других. Всего их было, как говорили взрослые, около 30 человек, солдат и офицеров. В памяти полные глубокой печали и жалости лица оцепеневших взрослых. Все тихо плакали.

Потом пришла похоронка на отца. Не официальное извещение, а письмо сельчан, подобранных труп отца на поле боя и сообщивших о его гибели по адресу, найденному в гимнастерке. Отец, Зайончковский Антон Нарциссович, погиб в 1943 году в битве за Днепр, в совхозе «Веселое» Запорожской области. Смерть в месте с таким названием — жуткий гротеск.

Все взрослые собрались в хате, в одной комнате. Мама плачет, все «сумни» (печальные), слова: «люди написали», слабые утешения — может, ошибка, может быть, еще жив? Оцепенение тети Кати и тети Тамары — вернутся ли их мужья? Я, ребенок, ничего толком не понимаю, но чувствую, что случилось большое горе.

Не так давно мы с Линой ездили в совхоз «Веселое» (он и сейчас так называется), положили цветы на братские могилы. Сколько же там полегло пехоты! Нетрудно представить. Плоская, словно выутюженная, степь, ни канавки, ни кустика — спрятаться негде. Местные люди говорят, поля были усеяны погибшими. Мой отец, поляк, сложил голову за мою родную реку Днепр, которую своей я теперь не могу даже назвать. Как не могу иметь и украинское гражданство, будучи российской гражданкой. Так вот распорядилась жизнь.

Никого из семьи отца я не знаю. Мама не успела с ними познакомиться. Знаю от мамы, что братья были высланы в Казахстан как поляки. Семья отца из Каменец-Подольска и, вероятно, попала под предвоенные пограничные зачистки¹. К сыновьям уехала мать. Место

¹ См. об этом: Полян П. М. Не по своей воле. М., 2001. С. 84–94.

поселения не было известно, но, очевидно, она нашла их, так как не вернулась. Ездил в Казахстан искать их всех и отец, но не нашел. У отца была и сестра, которая с мужем и маленьким сыном жила в Хмельницкой области. Туда мои родители отправились в 1937-м в свадебную поездку и нашли опечатанную дверь, а сестру и ее мужа, железнодорожного служащего, по рассказам соседей, «забрали», т. е. арестовали. Куда делся ребенок — неизвестно. Затем война еще раз все перевернула. Я, оставляя фамилию отца, надеялась: может быть, кто-то из родных по отцовской линии меня отыщет, знали же, что мы в Полтаве. Но нет. Вероятно, братья воевали и тоже погибли. В Каменец-Подольске же, где родился отец, Зайончковских полгорода.

Вскоре после освобождения Полтавы неожиданно заехал домой муж тети Тамары — тоже Антон, как и мой отец. Перед глазами картина. Входит он во двор с сослуживцем, видимо, хорошо навеселе, на взводе и кричит: «Если что — расстреляю!» А навстречу ему тетя Тамара — с больной опухшей ногой, раздутой флюсом и подвязанной щекой — скачет на одной ноге, держась за стену хаты, худющая, протягивает мужу свободную руку, смотрит на него лучистым взглядом, не веря внезапному счастью, а лицо заливают слезы. Антон сразу обмяк, но потом, выпив, еще шумел.

Оказывается, он бушевал из ревности — вдруг жена «гуляла» с немцами, — очевидно, наслушался таких историй. Мама возмущалась: какие «гульки»? Работали, света белого не видели, дети малые на руках. Неожиданной встрече все радовались, пили самогонку, пели «Катюшу» — откуда узнали песню, ведь радио не было? На следующий день дядя Антон уехал догонять свою часть.

После того как в Рыбцы вошли наши, у нас короткое время был на постое лейтенант, который и сфотографировал всю нашу семью¹.

¹ См. фото на вклейке.

Немцы еще какое-то время после отступления делали налеты на наш аэродром, сбрасывали бомбы. Они отступали так же быстро, как и наши в начале войны, и, вероятно, не успели вывести аэродром из строя.

Вскоре с нашего аэродрома стали летать американцы¹. Иногда они появлялись в селе. В памяти такой случай. Мы, все пятеро, возимся во дворе. По нашему проулку движется комичная фигура — в клетчатых светлых штанах и панаме. Невообразимо! Разве так ходят? Кроме военной формы, телогреек и застиранной серо-бурой одежды, мы ничего не видели и уставились на странного пришельца. Он же доброжелательно и с любопытством наблюдал нашу возню, бросил нам через тын цилиндрическую пачечку конфет. И вот как ни желанны были конфеты, как ни мала я была (видимо, уже пятилетняя), а гордости хватило обидеться, что человек не подошел к нам или не подозвал к себе, не дал гостинец в руки, а бросил его нам, «как собакам». Я не участвовала в схватке за пачку. Конечно, это, вероятно, не помешало мне потом есть конфеты вместе со всеми.

В Рыбцах, когда закончилась оккупация, ужасно запили деды и наш, конечно, хотя потом я не помню, чтобы он пил. Собирались по очереди то у одного, то у другого. Так снимали пережитой стресс.

Еще долго после ухода немцев возле аэродрома на минах подрывались подростки. Так погибли и наш сосед Витя, лет десяти, со своим товарищем. Они выпасали корову недалеко от аэродрома. Их хоронили в одном гробу. Лицо Вити было все испещрено черными ранками от осколков. Витя был добрый мальчик и всегда защищал девочек, в том числе меня, когда мальчишки дразнились

¹ После освобождения Полтавы 23 сентября 1943 года и восстановления летной полосы на аэродроме он стал использоваться союзнической (американской) авиацией для «челночных» перелетов: отбомбившись, самолеты продолжали полет на восток и садились на дозаправку и техобслуживание в Полтаве. 22 июня 1944 года этот аэродром подвергся массивной бомбардировке Люфтваффе.

или норовили обидеть. Я его смерть ощутила как личную потерю. И это была первая смерть, которую я видела так близко.

5

Мама сразу же после ухода немцев стала работать, как и до войны, в горторге. Поселилась у старшей сестры Татьяны, семья которой переживала оккупацию в городе. В 1945 году мама забрала и меня в город, чтобы я привыкала к нему перед школой. И снова нас было много: тетя Таня с мужем и двумя детьми — Вале́й, подростком, и Лидой, почти ровесницей мне, годом старше, и мы с мамой. У тети была большая комната с кухней и прихожей, отдельным входом. По тем временам — очень хорошо. В комнате поставили легкую деревянную перегородку, отделив небольшую, но как бы отдельную часть, где спали мы с мамой и Валя.

Я подошла к кульминационной точке своих воспоминаний, а возможно, к эмоциональной кульминации всей своей жизни — Дню Победы. Никогда больше мне не пришлось видеть столь яркого, искреннего, всеохватного проявления радости, ликования, восторга, как в День Победы. А ведь я пишу эти воспоминания в 70 лет и многое успела повидать.

Очень рано, на заре, в нашу дверь забарабанили кулаками. Мама с опаской спросила: «Кто?» Оказалось, наша родственница, сестра дяди Шуры, тети Таниного мужа, тетя Утя (Устинья). И то, что пришла она в столь ранний час с противоположного конца города, и то, что у нее, не очень молодой женщины, рассыпались по спине волосы (она была «распатлана», как тогда говорили, — появляться так на людях считалось неприличным), само по себе было крайне необычно. Тетя Утя сразу же кинулась к маме, стала ее трясти и, обливаясь слезами, кричать:

«Мотя, победа! Победа!» И слезы — рекой у обеих, а я, замерев, видимо, почувствовав торжественность и исключительность этой минуты, наблюдала, на всю жизнь сохранив память о ней как о самой драгоценной.

Затем взрослые побежали в город, а меня закрыли в доме. И пусть мне не пришлось увидеть общее ликование на улицах города, я благодарна судьбе, что мне выпало счастье быть свидетелем столь бурной, всеохватной радости родных мне людей, красноречивее, чем что-либо другое, показавшее мне, сколь трудным испытанием была для них война, сколь долгим и тягостным было ожидание ее конца и вожделенна победа. Для меня День Победы до сих пор главный праздник.

Помню центральную улицу Полтавы — Жовтневу (Октябрьскую), всю в руинах, свисающую арматуру разрушенной трикотажной фабрики.

Город был наводнен калеками — безногими, безрукими. Инвалид с вырванным плечом, с красным рубцом, затянувшим рану, пьяный, сидит скрестив ноги на дороге, просит милостыню и истошно, сквозь всхлипы, со слезами, поет душераздирающую песню. Таких было много. Но через год-два инвалидов стало гораздо меньше. До сих пор не могу понять — куда они делись?

То и дело дома рассказывали страшные истории про детей, которых воруют на мыло. И каждый раз матери повторяли запрет ходить мимо разрушенных домов.

А через дорогу, прямо против наших окон — опухшие, безразличные к всему, с потухшими глазами лица пленных немцев и их протянутые через колючую проволоку безжизненные руки, просящие милостыню. Но редко кто подавал. Во-первых, и самим было голодно, во-вторых, ненависть к ним была совсем свежа. Но тетя Таня, добрейшая душа, жалела их в той крайности, до которой они дошли, и изредка украдкой от людей подавала, уж не знаю что — может быть, картофелину, может быть, кусочек хлеба. Тетя Таня, кстати, в конце оккупации несколько дней прятала немецкого солдата — дезертира,

который при вступлении наших сам сдался им. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Пленные немцы построили в Полтаве новый кинотеатр взамен разрушенного. До этого кино показывали в каком-то уцелевшем небольшом здании. Там я смотрела первый свой фильм — «Свинарка и пастух». Впервые в кино Люба и Валя привели тогда и бабушку. Мы с ней отличились. Я весь сеанс просидела спиной к экрану, не могла оторвать взгляд от волшебного «мотылька» — это вертелся вентилятор в свете красного фонаря над входными дверями в зал. А бабушка, увидев на экране паровоз, закричала на весь зал: «Тикайте, а то задавит!»

Новый кинотеатр идеально вписался в екатерининский ансамбль зданий классического стиля, окаймляющих круговую городскую парку, с высокой колонной, увенчанной золотым орлом, в середине, воздвигнутый в честь 100-летия Полтавской победы Петра I. Гордость и краса Полтавы. Здания ансамбля были разрушены, но петровская колонна уцелела.

Пленные закладывали кирпичом пустые проемы разрушенных зданий. Вероятно, они делали и другие работы, но я пишу только о том, что видела сама. Пленные довольно быстро исчезли, видимо, нечем было их кормить, и их отправили домой.

Мужья тети Кати и тети Тамары еще продолжали служить в армии какое-то время после войны. К ним поехали и жены с детьми. Я осталась у бабушки с дедушкой одна, и тут уж мне досталось вдоволь козьего молока. Золотое время. Золотые были старики. Я не помню ни одного окрика в свой адрес, только заботу и ласку. Дедушка вообще любил детей. Никогда нас не наказывал, редко сердился, рассказывал сказки и байки. Однажды сделал нам качели. Из-за них мы постоянно ссорились, дрались, отпихивая друг друга. Что сделал дедушка? Он построил для каждого свои качели, но у нас, правда, тут же интерес к ним пропал. Оказалось, что главное для детей — не качаться, а бороться за первенство.

Первым возвратился из армии мамин двоюродный брат Антон (модное тогда было имя в наших краях!), офицер, в новом обмундировании, при наградах, руки и ноги целы. Его мать вся светилась от радости, не хуже, чем медали сына. Гуляли у тети Тани, гулянка была знатная. Не знаю уж, было ли достаточно закуски, но самогонки точно было выпито немало.

Вернулась из Германии угнанная туда родная сестра Антона, дочь дедушкиного родного брата, Люба. Всем на удивление приехала пополневшая, похорошевшая и приодетая. Ей повезло, попала в услужение к хорошим хозяевам. Она подарила мне небольшую зеленую шелковую ленточку. И хотя бант не к чему было привязать, так как нас, дабы было меньше вшей, брили практически наголо, оставляя девочкам лишь небольшую челочку, было счастьем иметь такую ленточку. Все девочки мечтали об украинском веночке с лентами. Что ж, начало было положено.

В уцелевших подъездах домов открывались магазины, вернее сказать, лавочки. Поблизости была галантерейная лавка, торговавшая всякой всячиной. Там были замечательные невиданные вещи, которые так интересно было рассматривать. Например, маленькие круглые зеркальца, на обратной стороне которых были нарисованы птички. Или маленькие глиняные мисочки. Вероятно, солонки, но в моем воображении это была посуда для кукол. Но больше всего привлекали мое внимание три небольшие гуттаперчивые черные куколочки, стоящие в ряд. Я назвала их оловянными солдатиками (видимо, Валя уже рассказывала мне сказку Андерсена про них) и бегала в этот магазинчик каждый день, чтобы полюбоваться ими. В мечтах я играла этими куколочками, не могла насмотреться.

Однажды я застала в лавочке двух американских летчиков. Они сидели прямо на прилавке, а их вытянутые ноги занимали почти все свободное пространство. Они смеялись, громко разговаривали, а затем... купили всех трех солдатиков. Вероятно, искали хотя бы какие-нибудь

сувениры, а купить было нечего. Обида душила меня. Я долго шла за летчиками по пятам и горько думала: зачем им целых три? Хотя бы одного оставили! Думаю, если бы американцы оглянулись и заметили преследующую их босоногую девочку, у которой капали слезы, они бы, наверное, подарили ей куклку, но они не оглянулись, и сказка кончилась. Я долго держала на них обиду.

Американские летчики резко выделялись на общем фоне. Высокие, стройные, в формах «с иголки», всегда веселые, они источали здоровье и благополучие. На фоне озабоченных людей, одетых в телогрейки, серые платки, инвалидов на костылях или с болтающимися рукавами, безногих на тележках, они выглядели посланцами из другого мира, как оно в действительности и было.

Самой популярной игрой у городских детей была игра в войну. Одни были «фашисты», другие — «наши». Была проблема набрать «фашистов», никто не соглашался. Играли ребята постарше, а мы — 5–6-летки — создавали массовку. Вот «фашисты» схватили Зою Космодемьянскую — Нельку и собираются ее повесить. Мы, малышня, — и «фашисты», и «наши», — ревом ревом, думаем, и вправду повесят, а Нельку жалко. Все это происходит в развалинах дома, из которого только что вывезли пленных немцев.

После победы появилась американская помощь. Какие-то вещи (маме досталось платье), но главное — «рационы». Так называли консервы и сладости. Они были в разных упаковках — в консервных темно-зеленых баночках, вроде сгущенки, и в картонных запечатанных коробках, в которых было несколько таких баночек, пачка печенья, мармелад, спички с цветными головками на картонке. Наклеек не было, и было неизвестно, что вас ожидало при вскрытии. Это могла быть тушенка (мечта взрослых), бобы, сгущенка или же баночка, наполненная сладостями (мечта детей). Такую баночку очень интересно было разбирать: сверху была насыпана горсточка квадратных ирисок, каждая завернута в бумажку, дальше — несколь-

ко штук круглых, по форме баночки, печений в целлофане, затем кружок концентрата какао, толщиной примерно в сантиметр, затем круглая металлическая баночка, по форме основной банки, с мармеладом. Целый клад! В больших упаковках, кроме того, бывали пачечки небольшого круглого печенья, цветное драже, похожее на пуговицы или на нынешние m&m's¹.

Легко представить, каким вожделением был кондитерский «рацион» для детей. Если попадалась такая баночка, ее, разумеется, делили на всех. Я же мечтала хотя бы раз получить баночку целиком. И придумала как. Зимой расстегнула пальто и легла на снег. Добилась своей цели, простудилась, заболела и получила в утешение целую сладкую баночку. Даже горький-прегорький кальцекс, который заставили меня пить, не погасил моего внутреннего торжества.

«Рационы» были огромной поддержкой, их раздача продолжалась несколько месяцев. Не скажу, правда, на каких условиях, по какой норме.

Не знаю, когда появился хлеб. Помню только, что в голодных 1946-м и 1947-м хлеб был едва ли не главной ценностью. Черный, тяжелый, но какой же вкусный! Его просили на улицах, на него меняли вещи. Хлеб давали по карточкам, но их трудно было отоварить, хлеба не хватало. Люди стояли в очереди ночами, дожидаясь привоза хлеба. Однажды зимой рвавшаяся в магазин толпа разозлилась и стала кричать на старика, усевшегося на ступеньках и мешавшего проходу. Но когда старика попытались столкнуть, оказалось, что он мертв. Я это видела, помню и вижу наклоненную голову старика в облезлой ушанке.

Наша семья была в привилегированном положении, поскольку мама, работая в магазине, всегда могла натурализовать карточки, а то и обменять на них промтоварные купоны. (Были и такие. Однажды по такому купону маме достался крой на бельевую сорочку, сшить ее надо было

¹ Конфеты драже.

самим.) Иногда мама передавала буханку хлеба родителям в Рыбцы и очень при этом боялась, как бы бабушка не съела сразу всю буханку. В 1946-м мама болела тифом, и две ее соседки по больничной палате умерли, съевши разом по буханке хлеба, принесенного им на гостинец.

Я дружила с девочкой Людой, мама которой работала в каком-то магазине уборщицей и сторожихой, а отец, как и у всех, погиб. За свою работу мать Люды получала 180 рублей в месяц, а буханка хлеба на базаре стоила 200–250 рублей. Они буквально голодали, ели лебеду. Моя мама разрешала давать Люде каждый день помоть хлеба.

Когда я оставалась дома одна, под ключом, у меня иногда выпрашивали хлеб большие ребята. В нашем городском дворе жили две семьи, оставшиеся без отцов, в одной из семей было четверо, а в другой — трое детей. Мне кажется, мальчикам-подросткам было труднее переносить голод, чем девочкам. Во всяком случае, не помню девушек-попрошаек, а ребята просто изнемогали. К моему окну подходили соседские огольцы — 16-летний Шурка и 14-летний Гришка, оба высокие, костлявые, с длинными шеями. Первым обычно подходил Шурка. Стучал в окно и начинал «заливать», будто знает пацана, у которого куча игрушек (например, кукольный гардеробчик и т. п.), что он меня отведет к этому пацану, и я смогу посмотреть и поиграть, только за это «дай кусочек хлеба». Я «клевала» на наживку, отрезала маленький (чтобы не заругала мама) уголок горбушки и бросала ему в форточку. Горбушка моментально исчезала у него во рту. Не успевал отойти Шурка, как тут же возникал Гришка и требовал свою порцию за возможность лицезреть гардеробчик.

Говорю:

— Я же уже дала за это хлеб Шурке.

В ответ:

— Так Шурка набрехав, то не он, а я знаю пацана с гардеробчиком и т. д.

Конечно, Гришка, не без угрозы побить, тоже добивался своего и получал кусочек хлеба.

Однажды раздобыли немного муки и тетя Таня готовила вареники. Дело было летом, варили вареники на примусе в прихожей, открыв дверь на улицу. Гришка сразу учуял это. А во дворе были проволочные качели, привязанные к одичавшей груше. Я очень любила качаться, но сама не могла дотянуться до качелей. И вот Гришка придумал:

— Жанка, вынеси вареник, я тебя целый день качать буду.

Тетя Таня дала, конечно, но что Гришке один вареник! Через короткое время он останавливает качели:

— Хватит, слезай!

Я ему напоминаю обещание.

В ответ:

— Так то ж если ты два вареника дашь.

Получает второй и тогда уж долго качает, хотя что ему и два вареника!

Ребята рыскали по садам, обирали даже дички. Видимо, им доставалось. Бывало, они подговаривали нас, малышня, слазать в сад. В случае чего нам бы попало меньше.

6

Все события, происходившие в Советском Союзе, так или иначе касались нашей большой семьи. На борьбу с бандеровцами на Западную Украину был отправлен муж тети Тамары Антон Степанович, служивший в милиции. В город Станислав (ныне Ивано-Франковск) был откомандирован инженером на кожевенный завод дядя Шура, работавший в Полтаве на аналогичной работе. Заменяли убежавших, арестованных или выселенных бандеровцев. Немного погодя к мужу уехала тетя Таня, забрав с собой

Лиду, младшую из дочерей. Помню, что они смогли сесть на поезд только с третьего или четвертого раза. Поезда брали штурмом, есть билет или нет — не важно. Валя осталась с нами до конца очередного, по-моему, пятого вместо седьмого, положенного по возрасту класса школы.

Валя и отвела меня в первый класс, к высокой седовласой, очень доброй и ласковой даже по первому впечатлению учительнице — Настасии Антоновне.

Детей поставили в круг, а в его центре... чудо! — девочки побольше (школа была женская) в красных сапожках, в веночках с разноцветными ленточками водили хоровод, пели украинские припевки, а в самой середине кружился мотылек с большими крыльями. Дома, когда я об этом, захлебываясь от восторга, рассказывала, Валя заметила, что крылья из марли, натянутой на проволоку, а сапожки обтянуты крашеными чулками... Ну и пусть, все равно этот сказочный день живет во мне. Ведь это было первое представление, которое я видела, и, может быть, благодаря ему — кто знает! — я потом стала заядлой театралкой и пересмотрела весь репертуар не только полтавского театра, но и гастрольный.

Нас оказалось 81 человек в классе. Был еще один первый класс, и там столько же детей. В городе не хватало уцелевших помещений, чтобы посадить всех учеников. Несмотря на переполненность классов сверхвсякой меры, школа работала в 3 смены, я училась в первую, Валя — в третью. Через год школе выделили еще одно небольшое здание и из наших двух классов сделали три — более чем по 50 человек каждый. Почти так мы и дошли до выпуска из 10-го класса в 1956 году.

И вот первый урок, переключка. Настасия Антоновна знакомится с детьми. Спрашивает имя и фамилию девочки, затем — как зовут маму. Дети отвечают. Далее учительница спрашивает:

— А батько?

И девочка вдруг суровеет, вытягивается в струнку, ручки вытянуты, прижаты к бочкам и глухо:

– Загынув... (погиб).

И так почти весь класс, и я в том числе:

– Загынув...

– Загынув...

До сих пор перехватывает горло, как вспомню это.

Всего у нескольких девочек оказались в семьях отцы, и когда такая девочка обнаруживалась, мы на нее все оборачивались и с завистью смотрели.

У двух или трех девочек мамы побирались, в семьях было по трое детей без отца. Никто этих девочек не дразнил и не смеялся над ними. Дети чувствовали безысходность ситуации.

В школе для самых обездоленных организовали обеды. Например, давали картофельное пюре с огурцом. А всем нам перед большой переменной раздавали по ломтику черного хлеба с конфеткой — подушечкой или постным сахаром, а иногда и просто слегка присыпанного сахаром.

Школа старалась как могла помочь семьям. Например, старшекласники ставили пьесу, билеты были по рублю. Рубль тогда ничего не значил, но так как детей набивалось «сколько влезет», собранных денег хватало, чтобы купить ботинки или валеночки тем, кто из-за отсутствия обуви не мог ходить в школу.

Сидели по 3 человека за одной партой, сидеть приходилось боком. В такой тесноте трудно было избавиться от вшей, одолевавших всех, и коросты (чесотки). Моя мама яростно боролась со вшами, каждый выходной выпаривала мое белье, проглаживала одежду. Все равно к следующему выходному я была со вшами. Не обошла меня и короста.

К школе Валя разучила со мной песню. Пелось о том, как раненый боец диктовал медсестре письмо домой, конец песни был печален: «Умер от раны герой». Когда я спела эту песню в классе, Настасия Антоновна заплакала и попросила: «Спой еще раз». Ситуация повторилась три года спустя, когда я уже на пионерском сборе, возмож-

но, связанном с какой-то военной датой, прочла стихотворение (уже не помню, о чем). Наша уборщица расплакалась навзрыд и попросила повторить.

В школе почти сразу же нас повели в кукольный театр. Театр был устроен в разбитом здании, без крыши, но с уцелевшими стенами. Спектакль высмеивал Гитлера, которого мы сразу узнали. Кукла с черной челкой вначале рявкала, затем дрожала от страха. Мы в возбуждении вскакивали, хлопали в ладошки и кричали: «Так ему и надо!», «Так и надо!».

Потом в школу приходил отец местной комсомолки-подпольщицы Ляли Убийвовк, возглавлявшей молодежное сопротивление, схваченной и казненной немцами. Мы ждали героического бравого рассказа, а увидели убитого горем человека. Было о чем задуматься.

Мы, дети, готовились к новому, 1946 году. Валя научила меня делать цепочку из цветной бумаги. Бумага вообще была ценностью, а цветная — тем более. Для этого использовались тетрадные обложки. Тетради тогда не продавались, а выдавались в школе штучно, очень ограниченно. Мы клеили колечки и соединяли их в цепочку. И хотя цепочка была тусклых сине- и серо-зеленых тонов, мы радовались, что на елке будет гирлянда. Но наш труд пошел насмарку. В школе запретили украшать елки цепочками, так как они — «символ цепей империализма». Это сообщила расстроенная Валя, и наша цепочка была уничтожена. Помню, что в доме у Шурки, который у меня выпрашивал хлеб и сестра которого училась в одном классе с Валею, цепочку не уничтожили, она висела на елке. Видимо, мать в полуголодной семье решила, что хуже уже не будет и не стала лишать детей хотя бы малой радости.

В связи с этим всплывает в памяти и другой случай, происшедший 5–6 лет спустя. Школа устраивала выставку детского творчества. Велели нести поделки. Тогда было массовое увлечение вышивкой, и девочки натащили массу «подушечек». Я в том числе. И вот уже красиво развешанные подушечки приказано было

снять, так как их крестообразные рисунки якобы можно было принять за тайную пропаганду религии. Такие вот были времена.

Еще вспоминаю стопку портретов Сталина, вырезанных из газет и аккуратно сложенных на этажерке у моей первой учительницы. Боялась выбросить, как бы кто не донес и не случилось бы чего. С учителей был особый спрос. Люди привыкли быть предусмотрительными и осторожными, но детей в свои тревоги не посвящали.

В школе мне было интересно и очень хорошо, а дома трудно. Валя, уходя в свою третью смену, запирала меня на ключ. Наше парадное выходило прямо на проходную улицу (сейчас бы сказали, проезжую, но никто не ездил, разве изредка телега), доверять ключ ребенку было опасно. До прихода мамы с работы было еще долго. Зимой темнеет рано, света нет, в темноте смелеют крысы. Страшно. У меня только огарок свечи. Я сажусь высоко, на сундук с картошкой, и кладу возле себя горку поленьев. Если зашебуршит крыса, я пугаю ее — бросаю полено. Совсем страшно, когда поленья кончаются, а слезать за ними с сундука боязно. Огарок догорает, и я тщательно собираю оплывший воск, леплю из него новую свечечку. Иногда и она догорала. Но тут приходили Валя или мама. Мама обычно возвращалась позже. Она работала в продовольственном магазине. Продавцов тогда очень жестко контролировали. Ревизии были едва ли не ежедневно, как правило, после рабочего дня. Поэтому мама возвращалась поздно.

Чтобы мне было не так страшно и холодно дома зимой, с нами стала жить Люба, младшая мамина сестра. К тому же, живя в городе, Люба могла получить паспорт и прописку, которые давали ей свободу в выборе работы, а колхозникам в то время паспортов не полагалось. После отъезда Вали к родителям мы с Любой днем оставались одни.

17-летнюю Любу как магнитом тянуло в кино. Тем более что открылся новый настоящий кинотеатр, с колонна-

ми, фойе, бархатными шторами, светильниками. Но где взять деньги на билет?

И она придумала продавать картофельные очистки. Очистки и раньше не выбрасывали, но тетя Таня их просто отдавала, за ними регулярно приходила какая-то женщина. Очистки отваривали, из них пекли оладьи — все лучше, чем лебеда. Люба сама, видимо, стеснялась продавать, уговорила меня. Базарчик был совсем рядом, мою корзинку выхватывали из рук. Может быть, наши очистки были жирненькие, может быть, очень дешево продавались. Продать надо было за 5 рублей. Из них четыре рубля — Любе на билет в кино и один рубль — мне. На это я и купилась. Корзинка набиралась быстро, так как ели почти одну картошку. И всякий раз мы ходили в кино. Фильмы тогда прокатывали по месяцу и дольше. Благодаря Любиной предприимчивости я посмотрела по 3–4 раза все сказки, которые тогда шли: «Аленький цветочек», «Василиса премудрая», «Кощей Бессмертный», «Тахир и Зухра». Люба же млела от Кадочникова и готова была хоть 100 раз смотреть «Подвиг разведчика». В те годы показ фильма предварялся маленьким концертом. Чаще всего исполнялся шлягер «Хороши весной в саду цветочки». Это тоже привлекало Любу. Мама о наших походах в кино не подозревала. Люба запретила мне говорить маме об этом, правильно полагая, что маме не понравится такая вольница — и то, что мы стали продавать очистки, и то, что это делала я, и то, что меня одну отпускали в центр города мимо развалин в кино... Кончилось все внезапно. Учительница пожаловалась маме, что я стала небрежно готовить уроки. Мне была взбучка, а Люба, видимо, намотала на ус. Узнала ли мама о наших проказах, не помню, но мои частые походы в кино прекратились. После этого я уже смотрела фильмы по одному разу.

Были трудности и с водой. Из дворовой колонки она текла тоненькой струйкой. Жильцы с утра выстраивали в очередь пустые ведра и время от времени наведывались в очередь. Так же делала и Люба. Однажды она, побе-

жав к колонке, забыла запереть дверь, и в дом с улицы неслышно вошел незнакомый дядька. Он был хорошо одет — в добротное пальто, новые валенки, хорошую шапку. Когда он увидел меня, тихо спросил: «Девочка, у тебя есть спички?» «Есть», — ответила я. Он попросил спичек. Я дала одну, но он попросил всю картонку (10 спичек). Это меня смутило, так как спички были ценностью. Я дала ему картонку, но знала, что меня будут ругать за это. Потом он спросил, есть ли у меня еще спички. А нитки? Выяснил, что есть. Спрашивая, он в то же время медленно как бы наступал на меня, постепенно оттеснив в угол, и стал протягивать ко мне руки. Отступать мне было больше некуда, а его глаза сделались злыми, и я сильно испугалась. Но тут вбежала Люба, с улицы вошли люди и выгнали дядьку. Оказывается, соседи видели, как он вошел в дом, побежали за Любой и подняли шум. Все обошлось.

В новый, 1947 год мама вышла замуж. С нами стал жить отчим — Косьмин Григорий Павлович. Он тоже воевал. Был сапером. На mine не подорвался, но на Курской дуге немецкий стрелок прошил ему обе ноги. Курская крестьянка спасла его — уволокла с поля боя, оттерла самогоном, так как он уже замерзал. Он был отправлен в госпиталь в Алма-Ату, где полгода пролежал в гипсе, но ноги ему спасли, хотя умер он все-таки от гангрены, в 76 лет.

С появлением отчима жизнь изменилась. Она стала надежней, да и материально легче. А у меня появились детские книжки, цветные карандаши. Отчим работал главным бухгалтером в транспортной конторе, машины которой ездили и в Киев, и в Харьков, и даже иногда в Москву. Всем шоферам отец делал заказы привезти что-нибудь для меня. Благодаря этому у меня с самого начала были все учебники (а их долго выдавали очень ограниченно, иногда по 5 штук на весь класс), книжки-раскраски, у одной из первых появились резиновые сапожки — черные, блестящие. Они меня завораживали, не могла дожидаться дождя, чтобы их обуть. Я сама назвала отчима папой, но

долго говорила ему «вы», потом сама же заменила его на «ты», обозначив этим полное доверие к нему. Он действительно заменил мне отца.

Вместе с ним в нашу с мамой жизнь вошла бабушка Таня, родная тетя отца, добрая, ласковая. Она стала приезжать к нам на зиму, топила печку, готовила еду, а летом возвращалась домой в село Гоголево Диканского района. Едва ли не каждый день она нет-нет и заплачет о своих детях, сыне и дочери. Ее муж рано умер, она одна с огромным трудом сумела сохранить детей в страшный голод 1933 года, но война не пощадила их. Сын ушел в армию в 1940-м, без вести пропал на западной границе. 17-летнюю дочь угнали в Германию. Она пряталась, но ее, как и всю молодежь села, выдал местный староста. У старосты в 1933 году умерли все пятеро детей, и он мстил тем, кто выжил тогда. В Германии бабушкина Марийка попала на шахту, а в шахте случился обвал, как раз в ее смену. Так она погибла. Об этом рассказал вернувшийся односельчанин, работавший на той же шахте, но в другую смену.

Война, таким образом, не отступала от меня, она как продолжающая жить реальность входила в дом с каждым новым человеком.

Летом 1947-го нам пришлось переехать на другую квартиру. Демобилизованный полковник искал жилье для своей семьи. У него была туберкулезная жена. Требовалась двухкомнатная квартира, чтобы можно было жену изолировать от ребенка. Наша квартира подошла ему, так как нашу большую комнату можно было перегородить на две. Поэтому нас, не спрашивая согласия, неожиданно переселили, выделив комнату в бывшем помещичьем доме, в квартире с одной соседкой. Думаю, мы даже выиграли от такой манипуляции. Новая комната была в кирпичном доме на высоком фундаменте, сухая, светлая, высокая и тоже довольно большая (более 20 кв. м). Она явно выигрывала по сравнению с прежней квартирой — сумеречной, в приземистом глиняном доме, хотя и с отдельным входом.

Через новый наш дом я получила возможность воочию познакомиться с историей страны. Бывшие хозяева дома тоже продолжали жить в нем. Но что это была за жизнь! Хозяева были немцы. Хозяин до революции работал инженером на заводе, владел в Полтаве несколькими домами, сдавал их в аренду. После революции ему разрешили оставить за собой один дом, как раз наш. Но содержать целый дом оказалось дорого, и он уступил часть дома своей знакомой — жене бывшего царского офицера с двумя детьми, которая потом и была нашей соседкой. Понятно, что во время войны с немцами не церемонились, и в доме самовольно поселились несколько семей, оставшихся без жилья.

Когда мы переехали в этот дом, то застали такую картину. Бывшие хозяева — инженер с женой и две уже взрослые дочери занимали одну большую комнату, не имеющую отдельного выхода. Жиличка, поселившаяся в проходной комнате, не разрешала им ходить через свою комнату. И вот бывшие хозяева всего дома вынуждены были ходить через окно и по лесенке спускаться на землю. Хозяин лежал, болел и вышел на улицу лишь однажды. Я как раз играла под липой, что росла на углу дома. Липа была роскошная. Хозяин, крупный, высокий, с палочкой, подошел ко мне, погладил по голове (мне было уже лет 9) и сказал: «Деточка, эту липу посадил я, когда был таким, как ты. Ты тоже посади дерево». Какой горький жизненный итог!

Здесь же, во дворе, во флигеле, по-прежнему жила бывшая хозяйская прислуга. И хотя они едва-едва сводили концы с концами, им, вероятно, все же было легче, чем бывшим хозяевам. А у меня была лишь жалость к свергнутым «эксплуататорам» и никакой классовой ненависти. В реальности все оказалось совсем иначе, чем описывалось в учебниках.

Денежная реформа 1947 года запомнилась мне тем, что у меня появилась первая настоящая кукла. Это был большой пупс — голыш, его ручки, ножки, голова — все

вертелось! У мамы в магазине ночью шла переоценка, и мама «сбросила» на пупса обесценившиеся старые деньги. Этими пупсами была уставлена вся верхняя полка магазина, их никто не покупал, было не до них. Я тоже и мечтать не могла, а тут такая радость. Этот пупс долго был единственной куклой на всех девочек двора, и мы сообща его наряжали.

Недалеко от нашего дома был детский приемник для детей-сирот. Помню мальчишек-подростков, полураздетых, в трусах и майках, голодных, босиком рыскающих по садам и дворам. Затем в детприемнике стали жить маленькие дети. Девочки учились в нашей школе, уже были одеты и обуты. Я часто пускала их в дом. В доме все их удивляло — и пустой флакон из-под духов, и пластмассовая уточка на полочке дивана, и салфеточка на тумбочке. Им все хотелось потрогать. Для них это были свидетельства неизвестной, но такой притягательной домашней жизни.

Жизнь была трудной, еще долго дышала отзвуками войны, но и перемены к лучшему ощущались. Особенно чувствовали это дети. Для нас, не знакомых со многими обыденными вещами, все новшества были в радость. Например, в первом классе редко у кого были цветные карандаши, а во втором — уже почти у всех были коробочки по 6 штук, а у некоторых — по 12, на зависть остальным. Потом уже и по 12 можно было свободно купить. Появились игрушки, детские книжки. В 1949 году в городе пустили первый после войны автобусный маршрут. Ходил маленький носатый пазик, но проехаться на нем было счастьем. Проемы развалин довольно быстро все были заложены, дома побелены. Ходить по городу стало безопасно, хотя разрушенные здания окончательно были восстановлены в Полтаве где-то к концу 50-х. В Корпусном саду возле Петровской колонны по воскресеньям стал играть духовой оркестр. Очереди за хлебом еще долго сохранялись, но уже за белым.

Детство, несмотря ни на что, было радостным, полным событий, в основном связанных со школой.

Когда я думаю о войне, не могу отделаться от ощущения, что у взрослых она была иная, чем у детей. Возможно, стремлением до конца понять своих близких и вызван мой интерес к войне? Взрослые, пережившие войну, не любили о ней рассказывать. Это относится и к моей маме и к отчиму, воспоминания для них были мучительны. Мама, в противоположность мне, совсем не могла смотреть фильмы о войне, а если в них показывали бомбежки, сразу требовала: «Выключи! Не могу!»

Как показывают воспоминания и записи, опубликованные Павлом Поляном в серии «Человек на обочине войны», война у всех была очень разная. Мы еще далеко не все о ней знаем. В литературе о войне очень не хватало живых голосов людей, переживших ее. Полагаю, что и воспоминания детей тоже должны занять свое место в этом общем хоре. Пусть они, возможно, не во всем точны, что-то в них смещено, упущено, преувеличено или искажено, но так войну запомнили дети, и это тоже живой голос истории.

О себе

Я, Зайончковская Жанна Антоновна, в 1961 году окончила Московский университет, географический факультет. Шесть лет вместе с мужем-москвичом работала в Новосибирске, в Институте экономики и организации промышленного производства, жила в новосибирском Академгородке. Затем переехала с мужем и дочерью в Москву и по сей день здесь живу. Всю жизнь занимаюсь исследовательской работой. В 1968 году защитила кандидатскую диссертацию. Работала в Совете по изучению производительных сил СССР, в Институте географии АН СССР, затем и по сей день — в Институте народнохозяй-

ственного прогнозирования РАН, где заведу лабораторией миграций.

Мой муж — Переведенцев Виктор Иванович, исследователь и журналист, недавно умер. Его старший брат погиб под Брестом, а отец, Иван Васильевич, имевший пятерых детей — сына в армии, двух дочерей-студенток и двух маленьких сыновей, в 42 года тем не менее был призван на фронт и дошел до Сталинграда. Там был ранен, демобилизован. Вылечить его не смогли, он умер в 1947 году. Мужу, к началу войны десятилетнему, пришлось работать в колхозе, помогать матери. Так что и ему тоже было бы что вспомнить о войне.

Борис Миронов

СКОБАРЁНОК

(ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕХНО И АЛТУН)

Маленькое вступление

Эта книжка о войне и... не о войне. Она о детях, которые открывали для себя мир в суровую военную годину в самом тылу врага.

Так уж получилось, так уж выпало на их долю.

Многое из того, что я видел в детстве, я осмыслил взрослым и осмысливаю теперь. И очень многое до сих пор для меня не совсем ясно.

Мне хочется рассказать о своем детстве и о войне, какой я ее помню, какой ее не могли знать полководец, лейтенант, сержант и рядовой, в какую было некогда вглядываться крадущемуся партизану или озабоченному подпольщику.

И вообще я пишу только о том, что видел лично и что при этом испытывал, ничего не придумывая и не пользуясь никакой иной информацией. Я искренне полагаю, что именно в таком виде моя книга может представлять какую-то ценность для читателя.

Первые воспоминания

Милые, бесконечно дорогие воспоминания — первые осознанные шаги по жизни.

...Мишка, зайчик и девочка собирают в дремучем лесу огромные, с голову, ягоды. Они очень смешно ходят и говорят, они ненастоящие. Этот мультик — первый фильм в моей жизни.

...На улице тепло и солнечно. Сугробы у дома, деревья утонули в снегу. Снег твердый и блестящий. Воздух такой пахучий, что щекочет в носу. Громко поет синица, небольшая зелененькая птичка. Как хорошо!

...Сосед по дому надевает сапог, а там... мышка! Сколько визгу и смеху!

Таких воспоминаний множество.

1941 год. Война!

...И вот война! Небольшое семейство сосен у дороги на окраине нашего села. Пестрая толпа мобилизованных, среди которых и отец, и провожающих. Здесь и мы с мамой, и наши родственники. Недавно прошел дождь, и все вокруг будто покрылось красным налетом — из-за облаков показалось предвечернее солнце.

Почему-то не запечатлелось тягостных, жутких сцен расставания, хотя многие расставались навсегда и, наверно, понимали это.

Конечно, каждый надеялся, что с ним-то (со мной, с моим, с нашим) ничего не случится. В памяти осталась острая щемящая тоска и радуга — яркая летняя радуга, вонзившая свои цветные рога в мокрые луга где-то за лесом. «Это солнце воду пьет», — говаривал мой дедушка.

Так из моего раннего детства ушел папа: самый красивый, самый добрый и самый очкастый человек на свете. И на долгое время я сохранил чувство жгучей приязни ко всем очкарикам.

У меня есть старая фотография, на которой запечатлены молодые мужчина и женщина с простыми русскими лицами. С бесконечно родными мне лицами, потому что это мои родители. Их сфотографировали накануне разлуки. Отец в гимнастерке. Он всего несколько дней как вернулся с лагерных сборов из города Острова, что неподалеку от нас.

В бегах

— Немцы идут! Немцы! — многоголосым эхом прокатилось по деревьям.

Люди не знали, что делать. Любое бездействие казалось им противоестественным, но предпринять что-либо самостоятельно никто не решался. Известие пришло из районного городка в виде страшного слова «эвакуация». Казалось невероятным и неправдоподобным вдруг, сразу, невесть Бог на сколько, расстаться со всем, что до сих пор составляло смысл и содержание жизни. Многие старики были не в силах решиться на такой шаг. Люди помоложе, все те, для кого будущее было полно надежд и планов, устремились на восток.

Наверно, не было в те дни дорог, по которым бы не тянулись в тыл вереницы обозов. Наш обоз, скрипя телегами, сопровождаемый криками детей и взрослых, мычанием коров и блеянием овец, двинулся в путь рано утром.

Через несколько часов движения обозная жизнь вошла в ритм. Улеглось беспокойство, вызванное не столько страхом, сколько неизвестностью. Теперь люди знали, что делать: вперед, только вперед, на восток, вглубь страны.

К концу дня поняли, когда делать остановки, кому и как готовить пищу, где ночевать. Каждый знал свое место в обозе и держался его. Хозяйки быстро разделили обязанности. Словом, жизнь наладилась, определился быт, наверно, в чем-то похожий на цыганский.

Для детей эвакуация быстро стала чем-то вроде увеселительной прогулки. Мальчишки бегали друг к другу в гости, носились по полям — так у нас называют лужайки — вдоль дороги, ловили мотыльков и популяшек (бабочек), крупных зеленых скачков (кузнечиков), если везло, то крылатых, с красным подбоем, которые, вырываясь, улетали, громко трепеща крыльями, собирали ягоды, цветы и траву. Приходилось забегать далеко вперед, чтобы поваляться в траве. Мы могли

не беспокоиться: мамы никого не забудут, никого не оставят.

Когда в полдень жара становилась нестерпимой, сворачивали в лес и ждали вечера. Доили коров, отпускали скотину попасаться, готовили пищу. А после обеда весь огромный табор погружался в дремоту. Только старики приглядывали за порядком да несли караульную службу.

Что может быть прекраснее сна в лесу после детских игр? Располагаемся на телеге. Под боком душистая трава, закрытая ярким лоскутным одеялом, рядом с телегой вздыхает корова, позвякивает удилами и фыркает лошадь. Между деревьями в золотой кисее солнечных лучей видны телеги, люди, лошади. Опущенную руку щекочет высокий папоротник: удивительное растение с причудливыми листьями и оранжевыми пятнышками на обратной стороне листа. Эти пятнышки, будто божьи коровки, притаившиеся от докучливых глаз. Рядом мама. Она заботливо прилаживает марлю, чтобы спать не мешали надоедливые мухи и безжалостные слепни. Спадает жара, и снова обоз огромной змеей вьется среди лесов и холмов. Все бодры и веселы. Никто и не вспоминает о войне.

Страх присутствовал, но какой-то беспредметный. Немец — каков он? Это было неведомо до тех пор, пока над обозом из-за леса не появились два самолета с черными крестами. На бреющем полете они прошли над обозом. Вернулись. Должно быть, это была одна из фашистских выдумок, предназначенных для устрашения старых и малых. Люди запаниковали. Кричали женщины, в истошном вопле заходились грудные дети, надрывались мы. Колонна устремилась в лес, чтобы найти спасение среди деревьев. На обочине лесной дороги — свалка.

Вот опрокинулась в канаву тяжело нагруженная телега, увлекая за собой лошадь. Кого-то придавило. Суматоха невообразимая.

Я не помню, чтобы с самолетов стреляли или бросали бомбы. В памяти остались страшные лица летчиков за прозрачными фонарями, мерзкие рожи с мертвыми гри-

масами улыбок. Лица палачей, которых радуют слезы и страх жертв.

Самолеты издавали жесткий металлический лязг. Он напоминал лязг, с которым бабушка захлопывала крышку чугунного утюга, набив его чрево мягкими сыпучими углями.

И снова лес и дорога. И снова народ приободрился и ведет себя так, словно ничего и не произошло. К вечеру о происшествии никто и не вспоминал, все были заняты думами о завтрашнем дне.

С рассветом обоз снова тронулся в путь. Отдохнувшие люди и животные стремились как можно быстрее добраться до места. Хотя где оно, это место?

До первого на пути городка осталось не так уж много, а это как-никак источник информации. Здесь можно будет разузнать, далеко ли немец и долго ли еще от него бежать. А может, героическая Красная армия опомнилась да и всыпала немцам по первое число?

Застрекотал мотор, и вдруг большая тень заскользила над обозом: откуда-то сбоку вынырнул фанерный четырехкрылый самолет. Люди шарахнулись было в лес, но разглядели на крыльях красные звезды. Самолет сделал круг и, сильно снизившись, прошелся над самыми верхушками деревьев вдоль дороги. Обоз встал.

Люди держали под узцы лошадей, смотрели из-под ладоней в небо и ждали, что произойдет: не зря же самолет кружит вокруг. Со второго захода «кукурузник» сбросил в кусты, растущие на болоте, несколько ящичков и, покачав крыльями, улетел. Те, кто оказался поблизости, испугались, но ничего страшного не последовало, и люди замерли в нерешительности. Первыми к ящичкам бросились никем не сдерживаемые мальчишки. В ящичках оказалось сливочное масло, завернутое в тугую пергаментную бумагу. Толпа оживилась и принялась делить нежданный гостинец.

А к полудню, выйдя из лесу, колонна оказалась в городке, на берегу обширного водоема. Ничто здесь не напоминало о войне, разве что обилие красноармейцев.

Было воскресенье. На берегу пруда собралось чуть не все население городка. Люди загорали и купались. Играли патефоны. Вскоре и все наши присоединились к общему веселью. Откуда-то появилась и пошла по рукам свежая областная газета, в которой сообщалось, что враг разбит и выброшен за «священные рубежи нашей великой Родины». Помню, как красноармейцы смеялись над нашими страхами, над уверениями, что немец совсем близко. А когда появилась газета, воспрянувшие духом люди присоединились к купающимся.

Отлогий берег был покрыт прохладной щекочащей травкой. Жизнерадостный красноармеец потащил меня в воду. Он окликнул товарищей, которые плавали, держась за бревно, и те подплыли к нам. Бревно было не простое: заботливо ошкурено, оснащено скобами, вбитыми с противоположных сторон. Меня научили цепляться к скобе, и вот я уже на середине пруда, подстраховываемый со всех сторон. И страх и крайний восторг охватывают душу. С трудом отрываю взгляд от бревна и вижу на берегу маму. Она машет руками, платком и что-то кричит. Наверное, «не утони!». Всем очень весело и очень хорошо.

Освоившись, замечаю на берегу высокое бревенчатое сооружение. Сбоку — огромное деревянное колесо. Это водяная мельница. В лучах солнца, которые бьют в глаза, она мерцает серебристо-серыми тенями на краю нестерпимо сверкающей с черной рябью воды. Подплываем к табунку гусей. Не успевая удрать вплавь, они хлопают крыльями и, роняя перья, убегают от нас по поверхности воды.

Вот какие, оказывается, немцы

Мы вернулись в свое село, потому что не могли не поверить родной советской газете. До сих пор не понимаю,

как могла быть напечатана такая дезинформация в областной газете.

Утро следующего по возвращении дня не предвещало ничего худого. Медленно поднималось солнце. Воздух был напоен влажным запахом цветов, а в совхозном саду, огороженном высоким частоколом елей, раздавался птичий гомон. Мы с двоюродной сестренкой Галей выскочили из дому и помчались через дорогу в сад.

Внезапно тишину взорвал вой самолетных двигателей. Мы бросились под дерево.

Наш дом — казенное строение из деревянного бруса с двумя крыльцами. Рядом два его близнеца, один из которых был переделан в «очаг культуры», как называли после революции клубы, а другой, с большим полисадником, где размещался совхозный детский садик, — составляли новую, социалистическую часть села. Она была построена на окраине, в стороне от оживленного большака и, в отличие от остального села, утопающего в садах и укрытого купами деревьев, была вся на виду.

Именно на нее и зашли в пике два черных хищных креста. И опять раздалось уже знакомое чугунное клацание, которое приводило в ужас людей. Самолеты выровнялись и помчались над селом. И опять детское перепуганное воображение нарисовало замогильные гримасы пилотов.

Спустя какое-то время гулко, на всю округу стукнул пулемет, и село наполнилось ревом мотоциклов: прибыла целая колонна оккупантов. Они веером рассыпались по селу, а спустя какое-то время стали появляться на улицах группами по двое-трое и пытались вступать в контакты с молодыми женщинами и детьми. В селе были еще старики и старухи, а больше никого. Люди угрюмо отворачивались от немцев и пытались быстрее проскочить мимо.

А вскоре разъяснилась причина стрельбы. Как оказалось, сельские мужики, по призыву парторганизации, решили просто так села не сдавать. Нашлось кое-какое оружие, вероятнее всего охотничьи ружья, и они, надо полагать, заняли оборону.

Одним из оборонцев стал Коля Демидов, человек бесхитростный и доверчивый, из тех, кого за глаза по-доброму называют чудаком, а по-злomu — много хуже. На его долю выпало занять пост на окраине села в том месте, где у проселочной дороги, на самом краю большого совхозного поля торчала то ли пожарная, то ли сторожевая вышка. Коля влез на вышку и затаился. Так уж случилось, что именно по этой дороге, а не с большака пришли немцы.

Когда разведчики на мотоцикле с коляской оторвались от затаившейся мотоколонны и вихрем помчались в село, дорогу им преградил одиночный выстрел. Мотоцикл круто развернулся, немец, сидящий в коляске, снял с турели пулемет, спокойно прошел деревянную постройку и верного своему долгу Николая Ивановича Демидова.

Но погиб не только он. Разбился, вылетев из заднего седла, немец.

Остальные оборонцы, к слову сказать, знать о себе не дали.

Хоронили Николая Ивановича и немецкого солдата одновременно. Сельские жители присутствовали на погребении. Немцы, выстроенные в шеренгу, с одной стороны, и толпа удрученных селян — с другой. Сначала выслушали грубо звучащую для русского уха речь офицера в фуражке с высокой выгнутой тульей, потом прозвучал салют, и гробы опустили в могилы. Николая Ивановича и немца похоронили рядом, в соседних могилах.

Казалось диким недоразумением, что вот лежат рядом двое мужчин, оба рослые, молодые, белокурые, еще несколько часов назад не подозревавшие, что вечером их не станет. Но злая воля свела их вместе, и оба они погибли и, если верить переводу офицерской речи, погибли как герои.

Мне не было ясно, почему они лежат рядом, эти большие и симпатичные дяди. Глядя на немцев, не верилось, что именно с ними — молодыми, здоровыми, одетыми в красивую военную форму со всякими там штучками на

мундирах и с оружием, которое страсть как хотелось потрогать, — связано столько ужасов, столько паники и страха.

Призывники спешат на войну

После странных похорон, в предрассветной мгле, огородами, мама и я дали деру из Вехно. Мы рванули в Алтун к бабушке и дедушке. Надо было пройти пять километров песчаной дорогой по густому лесу, чтобы выйти в межозерье, где вдоль долины, по которой тихо струился ручей, связывающий два озера, по опушкам леса уютно раскинулись несколько маленьких, в два десятка дворов, деревушек. На берегу одного из озер, неподалеку от большака, и расположилось село Алтун, бывшая вотчина одного из богатейших в краю помещиков.

В лесу нам повстречалась толпа мужчин с шелгунами¹ за спинами.

— Ну, вот, мужики, как нескладно вышло, — засмеялся очень высокий и здоровый человек с выпуклыми голубыми глазами и крупным носом. — Мы к ним в гости, а они от гостей. А ну, поворачивай назад!

Высокий схватил меня под мышки и высоко подбросил:

— Ну, что, племяшок, пойдём немцев бить?

Это был материн брат и мой родной дядя Антон.

— Ты, браток, только собрался воевать, а твой племяш уже с немцами навоевался, — серьёзно сказала мама.

И тут мы поведали пораженным мужикам о том, что в Вехно, куда они направлялись, почти сутки находятся немцы. Выяснилась удивительная для сельской местности вещь: пока немцы хозяйничали в Вехно, в каких-нибудь пяти верстах рядом призывники целый день собирались на

¹ Заплечный мешок, торба (псковский говор).

войну, потому что накануне получили повестки о мобилизации и в этот злополучный день должны были явиться в сельсовет для отправки в действующую армию. Так что большую часть пути по лесу мы шли с отвоевавшими на этот раз мужиками.

Дедушка жил в доме при мельнице, которая стояла на пригорке при въезде в село со стороны большака. Мельница была огромной, выложенной из кирпича, оштукатуренной и побеленной снаружи, с огромными же крыльями. Дом тоже был добротный, хоть и бревенчатый. Дедушка работал мельником, а потому и проживал в доме вместе с семьей: бабушкой Дуней — Евдокией Ивановной и младшей дочерью Ниной, моей 20-летней тетей. И вот с целым ворохом вестей наша группа пошла по селу, будоража всех информацией и нежданной радостью — возвращением призывников. Все понимали, что в жизни скоро произойдет переворот, что будет плохо, плохо надолго, неизвестно на сколько. Какими жертвами, какой ценой будет оплачено все то, чего добились к началу войны, что составляло смысл и содержание жизни?

— Что слышать? Где наши? Надолго ль война?

— А немцы, какие яны? На шашков (чертей) не походи?

— Как жить будем? Где наша власть советская? Неужели одни остались?

Услышав рассказ о похоронах, сильно закручинились: непрост немец, ох, непрост!

— Ничего, бабы, немца мы видали, — сказал мой дед Дмитрий Васильевич, а по-деревенски просто Шора. — И завсегда бивали. А что такое безобразие допустили, так мы всегда сначала чухаемся. Видно, не может русский человек иначе. А ужотко как очухаемся, так и всыпем супостату так, что он своих не узнает. Главное сейчас — перетерпеть. В Бога дней — не решето.

Селяне разошлись и долго сумерничали у своих домов.

...Был один из тех летних вечеров, когда земля — теплая, ласковая псковская земля — так прекрасно благоухает, смешивая свой первозданный аромат с запахами трав и цветов; когда в лугах, затопленных туманом, несмело начинает «дергать» коростель — по-деревенски «дергач», перебиваемый категорическим перепелиным «спать пора», а кupy деревьев темнеют, кутая село в сумрак, и наша большая семья сидит на скамейке перед домом, тихонько переговариваясь.

Мимо, утопая колесами в песке, быстро проехала телега с незнакомыми седоками и непонятным, тщательно укрытым грузом. Дядя Антон разглядел под рядном детский pedalный автомобиль, помчался вдогонку узнать, не продадут ли. Оказалось, машину недавно привезли из Ленинграда, и она нужна самим. Вот для каких забот еще оставалось место.

Презент от немца

А наутро село было не узнать: прямо в центре, на обширной поляне напротив княжеского особняка, под кронами могучих дубов, ясеней и серебристых тополей сидели и стояли немецкие солдаты, сложив на землю снаряжение. Гремя котелками и громко переговариваясь, они вставали в очередь перед полевой кухней, которая дымила трубой в центре лагеря. Румяный здоровяк в белом халате орудовал большим блестящим черпаком и смеялся. Солдаты тоже были веселы и отвечали на шутки громким смехом. Селяне с любопытством рассматривали издали непрошенных гостей. Те подходили к дедам и мужикам, предлагали сигареты, вид которых был незнаком крестьянам, пытались объяснить с помощью жестов.

Я вслед за мальчишками постарше ринулся прямо в гущу немцев, которые, покончив с едой, курили. Не знаю, кто нас научил, но отчетливо помню, что, подойдя

к немцам, мы произносили к их большому удовольствию: «Камрад, гип мир раухен, битте!»¹

Немцы давали сигареты, совали невиданные предметы: какие-то значки, коробки из-под сигарет с картинками, печенье. Заиграл аккордеон, запиликали губные гармошки.

К вечеру, возвращаясь домой после утомительного, насыщенного дня, я повстречал немца с гнедой лошастью на поводу. Пробежал было мимо, но он вдруг окликнул меня:

– Кинд, ком цу мир!

Я остановился, а он подошел ко мне и что-то стал говорить. Я, естественно, ничего не понимал. Убедившись в этом, он вложил в мою руку повод и показал, чтобы я шел, а сам повернулся и, громыхая сапогами с короткими и широкими голенищами, отправился в противоположную сторону. Потом обернулся и жестом показал, что лошадь моя и что я должен вести ее домой, а у него есть другие неотложные дела.

Увидав меня с лошастью, из избы вышел дедушка.

– Где это, внучек, ты такого коня взял? — спросил он, осматривая того со всех сторон. — Ай да конь! Строевой, кавалерийский... Наш конь, русский...

Жеребец смотрел на деда и, казалось, удовлетворенно пофыркивал.

– А, вот тяперь я вижу, почему супостату ён не сгодился, — дедушка осторожно приподнял лошадиную гриву. — Ай-яй-яй, как яму губоньку-то порвали...

Губа с левой стороны был порвана далеко к уху и грубо зашита грязной ниткой. С каким нетерпением, с какой силой надо было рвануть удила, чтобы так поранить бедное животное. Видно, в серьезную переделку попал седок.

Дедушка взял коня за гриву. Тот вздохнул и доверчиво прислонился своей головой к дедовой. Наверное, понял, что попал в ласковые руки крестьянина, для которого

¹ «Товарищ, дай мне покурить, пожалуйста» (нем.).

конь, даже самый ядащенький, — сам-друг. А что говорить про статного красавца? Так и отправились они, чуть не в обнимку, в сарай: конь, осторожно ступающий по земле, и дедушка, бережно державшийся за холку одной рукой, а другой неся снятую уздечку.

Дед мой хорошо знал всякое крестьянское дело, не отдавая предпочтения ни одному из них. В любой псковской избе трепали лен, пряли из него пряжу, ткали холсты и выбеливали их, шили одежду, обувь, белье, ухаживали за скотиной, выделывали шкуры, были и плотниками и каменщиками, одним словом, любое крестьянское хозяйство на Руси представляло собой производство с замкнутым технологическим циклом. В псковских деревнях едва ли не в каждой избе стояли ткацкий станок и ручная мельница. К слову сказать, по уверению моего отца, были и гармошка, и балалайка, и гитара, и делом чести всех молодых и девиц было умение играть на них.

На деревне всегда почитались умельцы, проявившие себя в каком-то одном роде деятельности. Так, на Алтунщине, т. е. на территории волости, а затем сельсовета с центром в Алтуне, жили Портновы. Помимо обычной крестьянской работы они отлично шили шубы, отсюда и их фамилия. В Задолжье жил Васька Шнур, который был известным сапожником. Были специалисты делать красивые и добротные розвальни, валять валенки. И если будничную одежду (скажем, портки, рубаху, сбрую) умел мастерить каждый, то когда нужно было сделать что-то получше, понаряднее, подбротнее, шли к узкому специалисту. Дедушка, которому было около семидесяти, был знаком с основами ветеринарного дела, как, видимо, и многие другие, выросшие среди домашних животных и лишенные возможности получать квалифицированную помощь специалиста, когда в этом появлялась нужда. Во всяком случае, он уверенно взялся за лечение коня. Помнится, меня очень удивило, — правда, не могу поручиться за достоверность, — что бабушка ставила опару и давала деду сыворотку для примочек и компрессов.

Третий забег

На другой день дедушка вывел лошадь из сарая и осторожно надел на нее узду. Бережно, чтобы, не дай Бог, «не докрянуть», т. е. не задеть рану, запряг в телегу и пропустил удила под нижней губой.

На телегу положили самое необходимое, самое ценное (предметом особой заботы была швейная машинка), повесили замок на дверь и тронулись. Дорога шла через все село, мимо немецкой техники и солдат.

Чтобы не вызывать подозрений и не быть задержанными, бабушка с коровой ушла гораздо раньше, причем кружным путем. Потом в лесу мы встретились.

Наш путь лежал в Карузы, в нескольких километрах от Алтуна, на берегу Сороти. Деревня эта находилась в стороне от больших дорог, в лесу, и поэтому решили, что там, у дедова родственника, можно будет пересидеть трудное время, потому что, как говорил дедушка, «ядва ли немец у нас продержится долго».

Ехали лесной малоезженной дорогой, чтобы избежать нежелательных встреч. Широкая телега будто ныряла с каждой колдобины и взбиралась на очередную. Время от времени мать или тетка отбегали за бочину и собирали для меня ягоды малины, заросли которой росли сплошной стеной. Лошадь передвигалась медленно, осторожно выбирая место, куда ступить. Дорога огибала болотину, густо поросшую ольхой и таловником.

— Ишь, бес, как трясет, — ругалась баба Дуня. — Язык откусить можно.

— Но, Колька, но-о! — дедушка посмотрел на меня, а я на него (почему вдруг Колька?).

— А что, внучек, если мы его Колькой назовем? А, бабы?.. Ай, какой справный конь! Вот подлечим, будет не конь, а огонь!

Мне сильно надоела тряска, и я начал громко дудеть, чтобы насладиться вибрациями голоса от тряски. Но чуть не откусил язык при очередном нырке телеги.

— Дедуля, посади меня на коня, а? — запросил я с тоски. — Ну, посади!

— Нельзя, мал ты еще. Упадешь — разобьешься, — неуверенно сказал дедушка, никому не умевший отказывать, и посмотрел на женщин.

— Ну, посади, — заныл я. — Посади, а! Увидишь, не упаду, я буду крепко держаться...

— И не выдумывай! — категорически заявила мать. — Тоже кавалерист нашелся! Задницу разобьешь, а я по ней еще всыплю.

Но удержу во мне не было, я был баловнем, и поэтому нытье мое возрастало с каждой минутой.

— Ты замолчишь, шашко? — страшным голосом закричала на меня бабушка. Она всегда изображала гнев, когда разговаривала с капризничавшими внуками. — Что за малец такой: оторви шмат полы — и отдай. Ничаво тебе ня будя!

Однако вскоре лошадь остановили. Меня усадили верхом на заботливо подложенное сразу за седелкой пальто и наказали крепко держаться за чересседельник. Ногами я едва доставал до оглоблей. Мы тронулись. Было страшно. Каждый раз, когда лошадь ступала в ямку, казалось, что вот-вот я с нее свалюсь. Захватывало дух от высоты, со страху и от собственной лихости. Мама страховала меня, идя сбоку. Но когда дорога становилась ровнее, я ехал самостоятельно. И скоро настолько освоился, что слезть с коня меня заставила лишь нестерпимая боль на том месте, на котором я сидел. Меня сняли, подвергли осмотру и обнаружили лопнувшие пузыри.

Всю оставшуюся дорогу взрослые посмеивались над незадачливым кавалеристом, который лежал на животе и громко кряхтел на каждом увале, что не мешало ему, однако, с увлечением играть с божьей коровкой.

Вот почему мне так запомнилась первая верховая поездка, хотя много позже, когда я был уже взрослым парнем, их было немало и не раз с таким же неприятным исходом.

...И снова не было войны. Мы убежали от нее, казалось, навсегда. Вечером, перед заходом солнца, в деревню вошло стадо, сопровождаемое облаком пыли. Резко щелкал кнут пастуха, гремели ботала, мычали коровы, блеяли суетливые овцы, мечась по улице от плетня к плетню. У каждого дома стояли хозяйки или большие девочки с кусками хлеба (почему-то мальчишек в этой роли я не помню). Они неистово зывали своих упрямых Зорек и Бяшек, а когда те приближались, наконец, к домам, бросались к ним и загоняли на подворье.

Вечером ужинать за обширный выскобленный стол уселись и хозяева, и гости. А после ужина хозяин, похожий на дедушку и горбатым носом, и бородой, зажег керосиновую лампу под потолком, запалил козью ножку и вышел с дедушкой на улицу. Женщины стали устраиваться на ночь. На широких лавках, расставленных вдоль стен, постелили хозяину и хозяйке. Дедушке с бабушкой отвели почетное место на высокой и широкой кровати с большими блестящими шариками на спинках, а тем, кто помоложе, предстояло спать на полу. Принесли из сарая сено, разослали на нем рядно, простыни, одеяла.

Мне было неловко и непривычно на полу. Жесткие травинки кололись сквозь редкую домотканую ткань, и я без конца ерзал и гундел.

— Тихо, сынок, — шепнула мама. — В гостях — не дома, и кошке скажешь: тётъ, подвинься.

Меня так удивил этот аргумент, что я умолк, а через некоторое время заснул, «как пеньку продавши».

...Утро было ясным. Как и заведено на деревне, спозаранку встали все. А когда солнце поднялось над лесом, деревня опустела.

Люди ушли работать в поле. У нашего дома, в засенье, т. е. в тени, собрались женщины и вовсю лоскотали¹, горячо обсуждая виды на будущее. Когда все было обгово-

¹ Болтали, трепались (псковский говор).

рено, соседка из дома напротив ласково сказала маме:

– Лизанька, зайди-ка ко мне в сад с мальчиком. Клубники много поспело, а обирать некому. Для внучков ленинградских берегла, а яны ноймы, видно, не приедут. Поешьте наших гостинцев.

Немцы классового родства не признают!

Мы выходим из сада. В руках у матери огромное блюдо с крупнющими ягодами. Ничего подобного прежде я не видел и без конца жую сочную ароматную мякоть, хотя на моем животе, если употребить любимую дедом солдатскую шутку, вшей давить можно. От дома по заросшей гусиной травкой тропинке идем меж высоких плетней к дороге и буквально натыкаемся на колонну немцев. Сколько могу судить сейчас, было их около взвода, может, чуть больше. Впереди выступал молодой офицер. Завидев нас, он остановил колонну. У офицера на плечах тонкие витые погончики, а в руках открытая планшетка с картой. На улице, кроме нас и колонны, не было ни души. Немец, обратясь к матери, тыкал пальцем в карту и картова, уродуя до неузнаваемости русские слова, произносил названия деревень — спрашивал дорогу. Мать что-то отвечала. А между тем из колонны подходили немцы — по одному, по двое, брали ягоды и возвращались в строй. И тут я увидел в колонне несколько красноармейцев без оружия и без ремней. Они были веселы и улыбчивы.

– Эй, хозяйка, — крикнул кто-то из них, — пусти переночевать!

И что-то еще в этом роде. Немцы смеялись, а сами подходили и подходили за ягодами. Мне было до слез жалко ягод, мама, отвечая офицеру, отстраняла блюдо.

Но безуспешно. Солдат это только веселило. К блюду подошел красноармеец. Немцы закричали на него, а один даже стал грубо толкать его в сторону строя. Крас-

ноармеец, продолжая смеяться, взял ягоды пригоршней и пошел назад. Немец наотмашь ударил его по спине прикладом. Но, видно, не больно, потому что тот протянул ягоды товарищам, которых было около десяти, повернулся и что-то с улыбкой ему сказал.

По младости лет я не понял, что произошло, но на маму этот эпизод произвел неизгладимое впечатление, она долгое время после войны пересказывала его. А смысл сказанного красноармейцем заключался в том, что он попрекнул немца, мол, тот не понимает, что они братья и что враг у них один — немецкий буржуй. «Ты — рабочий, я — крестьянин, оба мы трудом живем», — заключил свою тираду красноармеец, и эти его слова мама хорошо запомнила.

Лишь много позже, прочитав немало книг о войне, я понял смысл этого эпизода. Все советские люди были воспитаны в духе классовой солидарности с трудовым людом всего мира. Очень сильны были настроения, что вот, мол, очнутя немецкий рабочий и крестьянин, одетые в форму вражеских солдат, от фашистского дурмана, бросятся в объятия русских братьев по классу и вместе победят нациста-капиталиста. И чем дальше мы от войны, тем нелепее кажется это заблуждение. Именно в борьбе с ним родилась статья Ильи Эренбурга «Убей немца!» и другие его статьи¹. Именно оно, это заблуждение, стало, должно быть, для матери очевидным в ту далекую минуту и все более нелепым с течением времени.

Гостевание наше теряло всякий смысл, и через пару дней, выехав из бора, мы увидели пышные купы деревьев и остроконечную башенку помещичьего особняка, высоко вверх вытарчивающую из листвы.

¹ Имеется в виду серия публицистических статей И. Эренбурга, опубликованных в годы войны: «Враги» (1941), «Людоеды» (1941), «Ненависть» (1942), «Убей» (1942), «Убей немца!» (1942) и др.

Мы дома. Дальше бежать некуда

Село Алтун некогда было княжеским поместьем. Расположенное на берегу живописного озера с лесистыми берегами, оно славилось своими парками, садами, громадной конюшней, псарнями, изысканной красотой особняка, являющего собой, как говорили, копию какого-то известного дворца в Германии.

В селе кроме особняка, который все местные не без гордости называли дворцом, было четыре жилых дома: два кирпичных, белый и красный, составляли часть архитектурной композиции поместья, были точными копиями друг друга, только в зеркальном отражении, и располагались напротив особняка на расстоянии добрых ста метров. Между ними — большая поляна и огромный цветник.

Неподалеку, на берегу озера, высился двухэтажный деревянный дом, а с другой стороны особняка, также на берегу, напротив огромного хозяйственного здания-сарая, выложенного из камня-валуна, находился «чиновников дом», где во время оно обитал чиновник акцизного ведомства, ибо в означенном производственном помещении функционировал винокуренный завод, а также производили сливочное масло и перерабатывали всяко-разные дары земли. Конюшня с псарнями располагалась через дорогу за белым и красным домами. Обширное это строение из камня-валуна обратной своей стороной выходило в парк. На чердак конюшни с дороги вел широкий въезд, сделанный на мощном контрфорсе. На чердаке хранился фураж, сено подавалось через люки в полу прямо в ясли — на лошадиный обеденный стол.

Каменными же были каретный сарай, похожий на уют, потому что один из его углов был острый, а окна полукруглые, а также длинное складское помещение, которое пряталось за дубами аллеи, ведущей от большака к особняку мимо мельницы. Слева перед белым домом стояли две высокие серебристые силосные башни, дорога поворачивала к ним; не приближаясь к особняку, она оги-

бала перед конюшнями белый дом и спускалась немного под уклон мимо красного дома и каретного сарая. Потом она резко поворачивала влево и ныряла в тенистую аллею из дубов, серебристых тополей и пышно разросшихся под ними кустов сирени. Дорога вела к кладбищу, обозначенному высокими соснами, сиренью и густыми зарослями бузины. Дальше она огибала кладбище и, ныряя с холма на холм, вела к виднеющимся на пригорках деревням и скрывалась в лесу. Откуда и появилась наша телега.

Так началась наша жизнь в так называемом Третьем рейхе. Кто бы мог подумать тогда, что растянется она на без малого три года.

В селе прочно и надолго обосновался немецкий гарнизон численностью до роты. Комендантом гарнизона стал гауптман, то бишь капитан с распространенной немецкой фамилией — что-то вроде Миллера. Красивый мужчина, довольно вразумительно изъяснявшийся на русском языке, как выяснилось позже, добрый человек.

Немцы заняли деревянный двухэтажный дом и особняк. По вечерам в селе стало шумно. Пиликали губные гармошки, на просторном балконе барского дома гремел аккордеон — заграничная штучка, мало кому из крестьян известная. Почему-то играли преимущественно одну и ту же мелодию, ритмику которой хорошо передают слова, которыми мы, дети, подпевали ей: «Машины-шины-шины! Машины-шины-шины!» Уже в середине 50-х я услышал ее снова в исполнении артистов из ГДР. Она была одно время очень популярна у нас, а называлась, как я узнал, «Дятел».

Тон жизни села немцы стали задавать не потому, что они такие уж резвые супротив псковских, а потому, что аборигенов в селе жило всего несколько семей. Они занимали оба кирпичных дома и дом акцизного чиновника, если не считать дома мельника. И вот в селе, в обстановке, как оказалось, неустойчивого равновесия, сложилось и стало существовать человеческое сообщество. Глубинная суть происходящего для меня отсутствовала, я помню

лишь внешние признаки сельского бытия в первую пору оккупации.

Например, помню вечер. Наверно, он вобрал в себя многие подобные вечера. Но вот он...

На землю медленно опускаются сумерки. Верхи деревьев красны от заходящего солнца. Переделав свои дневные дела, мои односельчане устроились перед домами и ведут тихие крестьянские беседы. На ель посреди поляны сел аист. Бахромчатая, как угол портьеры, нижняя ветвь упруго качается под грузом большой птицы. Аист машет бело-черными крылами и упрямо, перебирая нескладными длинными ногами, взбирается по провисшей лапе ближе к стволу. Потом, устав бороться с собственным весом, взмывает вверх, чтобы тут же опуститься на вершину соседнего ясеня, где на обширном, похожем на воз, гнезде рыболовным крючком торчит другой аист. Тучи стрижей с криком носятся в небе. Между ними как бы в задумчивости парят ласточки: помашут крылышками, помашут и будто замрут на мгновенье. Все карнизы и едва заметные выступы особняка унижены гнездами.

Гремит аккордеон, энергично выводя «Машинышины», немцы подпевают. Огромный цветник в форме звезды с алым контуром благоухает в вечернем воздухе. Мне кажется, я и сейчас еще выделяю из этого сложного букета сладковатый аромат душистого горошка. Никогда больше в жизни мне не доводилось общаться с таким количеством цветов. Гвоздики и георгины, левкой и львиный зев, душистый горошек и душистый табак, бессмертники с таинственным запахом, лилии, тюльпаны — эти цветы я знаю с детства, может быть, с тех летних вечеров, которые первыми вошли в мое пробудившееся детское сознание. И любимый всеми жасмин. У нас на Псковщине кусты жасмина растут выше крыш, а на Урале, где я живу сейчас, он почти незнаком.

У замка — вазоны из красного гранита на высоких, гранитных же, постаментах. Немцы собрались на скамейках

возле клумбы. Здесь же крутятся дети. Взрослые предпочитают держаться поодаль.

Среди немцев я выделяю двоих: Вилли, которого наши тут же называли Вилли Синяя Переносица, и Ганса — застенчивого парня с большими голубыми глазами за стеклами очков. Это последнее обстоятельство — главная причина, почему я всегда держусь от него неподалеку. Вилли по мирной профессии — артист цирка. Вокруг него всегда толпа. Если Вилли раскроет рот, все хохочут. Он стучит себя по голове, и изо рта у него выскакивают разноцветные шарики. Он дернул кого-то за ухо, и из уха к общему смеху и недоумению в котелок со звоном сыпятся монеты, засунул руку за пояс моих штанишек — и вытащил цветок.

И вообще Вилли запросто заходит к русским домой, отчаянно коверкая слова, беседует о жизни и всегда заканчивает визит словами: «Все путет карашо!»

Ганс повсюду сопровождает Вилли, он таскается за ним, как нитка за иголкой. Помалкивает и улыбается. Только освоившись у нас, он начал раскрывать рот, да и то для того лишь, чтобы, подражая духовому оркестру, с большим мастерством наигрывать на губах марши. Мы уверены, что до войны он был музыкантом.

Я пытаюсь вспомнить еще кого-нибудь из немцев, но не могу.

Впрочем... Но об этом впереди.

Комендант Миллер подошел однажды к толпе крестьян и начал бурно возмущаться. Как выяснилось, к нему на прием пришел директор начальной школы, здание которой располагалось в километре от села на большаке, и, робея, предложил срочно изменить форму клумбы со звезды на свастику. В изложении матери, возмущенный этим немец выразался приблизительно так:

— Я фыгнал этот свиння! Наш свастик мошет пить только на снамя. Он не мошет фаляться семля. Ферфлюктер шайзе! Он мошет предать кто укотно!

Клумба-звезда так и осталась нетронутой в этом году. А следующей весной ее сделали круглой.

Миллер был комендантом в нашем селе без малого два года. Этого человека отличали порядочность и, как ни странно это звучит применительно к оккупанту, человеколюбие. Он неоднократно предупреждал жителей о готовящихся облавах, о предстоящих поборах, о грядущем приезде эсэсовцев. Делал это он очень аккуратно, будто незначай проговаривался, оставаясь наедине с кем-нибудь из наших.

Часто таким поверенным была моя тетка, недавняя десятиклассница, которой приходилось иногда играть роль переводчицы у какого-нибудь визитера из города. К Миллеру со всей волости, минуя местные органы самоуправления, т. е. старосту, смело шли жаловаться на солдат или полицаев и находили защиту.

Вот эпизод из 1943 года.

Как сейчас помню, раннее утро. На мокрой от росы траве перед башней замка стоят навытяжку два немецких солдата. Покуривая, из окна башни, где-то на уровне второго этажа, на них смотрит Миллер и что-то говорит, а потом начинает подавать команды. Солдаты то бегут, то падают и ползут по-пластунски, то вскакивают и начинают маршировать строевым шагом. И снова пробежка, и снова падение. И так до полного изнеможения.

— Это такие-то, — мать называет немцев по именам, — вчера в Свистогузове у бабы Варушки поросенка украли.

На Ванюшкином хуторе

Ванюшкин хутор, где мы стали жить, находился совсем рядом с селом: повернешь от каретного сарая в аллею к кладбищу, пройдешь по ней метров пятьдесят и нырнешь под кроны деревьев вправо по тропке.

Тропка поднимается на холмик прямо к небольшой избе. Изба да сарай на пригорке — вот и весь хутор. Яблони вразброд спускаются с холма, а между ними грядки. Перед домом — кусты роз, а сбоку от дома — огромный куст-дерево, «заморское вишеньё», как называли его крестьяне. В округе это единственное такое дерево. Много-много лет спустя я узнал, что оно называется иргой, и рядом с домом, где я сейчас живу, оно шпалерами растёт вдоль домов. «Вишеньё» — предмет обожания воробьев и детишек из-за всегдашнего изобилия сладкой ягоды, после которой во рту и свежо и приятно.

Таковыми вот хуторами в первые годы советской власти были утыканы все пахотные земли на Псковщине: получил мужик на себя и семью в соответствии с количеством едоков земельный надел (в среднем около пяти гектаров) и перевез на него из деревни дом — теперь мы, мол, сами с усами. Мой престарелый дядя уверял меня, что на этих «отрубках»¹ урожай ржи в 50 центнеров с гектара был нормой. Но это было до коллективизации.

Таким вот манером стали хуторами и оба моих деда. А хутор отца отца был отлично виден с Ванюшкиного хутора. Дед, не пожелавший стать колхозником, перевез свой дом в Новоржев. Но и по сей день можно прийти на «пячину маво деда» и посидеть на камнях, на которых зиждились постройки вроде как фамильного гнезда.

— Выйдешь, бывало, из дома, — рассказывал отец, — глянешь: перед носом Алтун, чуть левее у озера хутор нашего однофамильца и родича, чуть правее — Ванюшкин хутор, дальше — Скамейкин, повернешься еще на 90 градусов вправо — Канашовка, еще чуть, через ручей — Свистогузово. А всей-то пашни кот наплакал: квадрат со стороны полтора-два километра, а вокруг лес.

¹ Отруба — частные крестьянские наделы, «отрубленные» от общинной земли в начале XX века в ходе реализации Столыпинской аграрной реформы. Так же назывались наделы и в советское время.

Да и земля вся в камнях. У нас на родине считается: камни растут. Сколько ни убирай, а на следующую весну их опять видимо-невидимо. Большие валуны раскаляли кострами, а потом поливали холодной водой, чтоб они рассыпались. Со стороны посмотришь — мужики, как муравьи, облепят валун с жердями и пытаются его то откатить, то расчленивать на части.

Ванюшкин хутор стоял на отшибе. От огородов хутор отделяла мощная стена особой породы елей, которыми от северных ветров отгораживается весь российский северо-запад и Финляндия тоже, елей тонконогих, но высоких, с размашистыми и густыми ветвями. Посаженные вплотную, они создают могучий, неодолимый для ветров заслон. С другой стороны хутор был отделен аллеей, обсаженной липами и сиренью. А между елями и аллеей, подступая к хутору, располагалась небольшая, но непролазная болотина, густо заросшая ольховником.

Особое очарование хутору придавал колодец, находившийся в низинке. Над колодцем торчал высокий говорливый журавель с кованым запирающимся крючком для ведра. Во мраке колодезного сруба шевелилась вода, тяжелая, как ртуть из разбитого градусника. В ведре вода теряла свою загадочность и становилась обычной — прозрачной и вкусной.

Нам говорили, что в нашем колодце жил водяной, который стягивал к себе детей, если они заглядывали в воду без взрослых. И еще в колодце жили ласточки. Стоит только загреметь ведром, цепляя его к журавлю, как из колодца вылетает стайка ласточек и, выделявая пируэты, уносится в ясное солнечное небо.

А так у колодца можно было сколько угодно играть, бегать или опускаться на коленки и нюхать незабудки. Маленькие доверчивые цветки эти делали лужок у колодца похожим на кусочек неба, аккуратно уложенный на землю. Цветки насторого запрещено было обижать — рвать или наступать на них, поэтому лужок голубел и застенчиво источал по вечерам тихий аромат.

На болоте гуляли голенастые аисты, строгие необщительные поедатели лягушек. Каких только лягушек не было на нашем болоте! Коричневые, ярко-зеленые, серые, красноватые! Вечером, когда опускались сумерки и трава обильнее, чем от дождя, намокала от росы, они пугали нас, прыгая из-под ног с тропинки в траву. Аисты неутомимо поедали их, высоко задирая клювы. При встрече друг с другом они иногда раздражались гневными тирадами, щелкая клювами и откидывая при этом головы на спину. Запальчивая перепалка порой затягивались до неприличия, пока наиболее деликатный из собеседников не выдерживал и, яростно размахивая крыльями, улетал.

ЧП с синяком под глазом

Как-то пополудни, когда спала дневная жара, в село въехала колонна велосипедистов. Немцы в обмундировании и с полной боевой выкладкой, обливаясь потом, крутили педали. Колонна передвигалась вместе с облаком пыли. «Старожилы» встречали приезжих шутками и смехом. Колонна пристроила велосипеды в тени деревьев и, оставив дозорных, толпой двинула к озеру с полотенцами, снимая на ходу обмундирование.

Несметное количество отличных велосипедов странным образом подействовало на население: велосипедов перед войной в деревнях были единицы.

— Надо же, — удрученно говорили деды, — техники сколько немец нагнал. И откуда он ее, бес, берет? Мотоциклов тьма, машин сколько хочешь, а самолетов? Наших вот только что-то не видать...

И правда, наших самолетов будто и не было. Тихо недоумевали деды и крутили головами: и как их одолеть, окаянных?

Был в селе дед Лешка. Немцы вызывали у него прямо-таки умиление:

— Не так страшен черт, как его малюют. Немцы — культурная нация, не мы, лапотники.

Или, глядя на идущих строем солдат, говорил:

— Вишь ты, идут как! А форма?! Будто голубки, не нашей рвани чета!

Эти откровения вызывали неприязненное молчание соседей. Но возразить было нечего.

Поражало моих земляков и обилие у вражеских солдат предметов, которых не было в обиходе простого советского человека: авторучек, записных книжек, зажигалок, бритв с безопасными лезвиями, фонариков и всякого прочего. Было отчего чесать в затылке колхознику. Тем более что о Красной армии — ни слуху ни духу. Редко-редко, рано поутру или поздно вечером, низко над лесом пробирался одинокий «кукурузник». Это вызывало всеобщее воодушевление: не так уж наши и далеко. Но воодушевления хватало ненадолго.

Ходили слухи, что в лесах встречаются вооруженные люди — красноармейцы и штатские. Кто они? Партизаны или окруженцы? Так как ни о каких боевых делах лесных людей не было слышно, вести о них вызывали раздражение: «Шкурники — в Красную армию не хотят и от немцев скрываются; бандиты — забирают у крестьян одежду и еду».

...Однажды утром среди немцев случился переполох. Группы солдат, скорым шагом или бегом, отправились в разные стороны от села, разошлись по постройкам и паркам. С холма было хорошо видно, как серые фигуры сновали по опушкам, мелькали в парках, шарили в кустарниках вдоль дороги.

Засуетились дед с бабкой. Дедушка вдруг принес немецкий тесак и полез под застреху, чтобы спрятать его в соломе — крыша у нас, как и на всех избах, была соломенная. Бабушка с узлом побежала за дом. Через некоторое время она вернулась и взволнованно, еле переводя дух, сказала:

— Вот, кажись, и все... Ты, внучок, иди играй и про то, что видел, молчок. А не то всем нам худо будет.

В этот момент несколько солдат появились на тропе и направились к нам. Дед слегка подтолкнул меня, и я помчался в село.

Когда мы, детвора, некоторое время спустя толпой подскакали на прутиках к Ванюшкиному хутору, у сарая валялся всякий хлам, извлеченный из него, в том числе большое количество новеньких зеленых коробок для противогазов. Немцы построились, поставили перед собой растерянного дедушку с котомкой и куда-то повели его.

— Скоро буду, — глухо сказал дедушка. Бабушка рыдала.

Мама и тетка от темна до темна пропадали в поле, где догляд за работниками был весьма строг, и потому днем до дому отлучаться не было никакой возможности. Жали рожь и возили ее на гумно.

Вечером мать и тетя побежали к коменданту.

Дедушка вернулся на другой день. У него было разбито лицо, под глазом — фонарь. Но был он бесшабашно весел, будто там, где он был, ему открылось нечто такое, что давало повод для оптимизма.

— Ничего, — победно повторял он. — Где наша не пропадала... Ужотко мы с ними рассчитаемся.

А произошло вот что. В тот вечер, когда прибыли велосипедисты, один из них куда-то запропастился. Наутро стало ясно, что он исчез. Вот тогда-то и поднялась суматоха. Повальный обыск в селе ничего не дал: немца будто и не было. Однако во время обыска в нашем сарае нашли противогазные коробки, битком набитые листовками, призывающими бить фашистов и содержащими инструкции, как вести себя в оккупации. Дед мой никакого отношения к листовкам не имел. Как он сумел убедить в этом немцев, я не помню.

А листовки в наш сарай попали, должно быть, когда районные власти готовились к подпольной работе в тылу врага. Они, видимо, облюбовали нежилой хутор неподалеку от леса и до поры до времени оставили там на хранение эти коробки, зарыв их не очень тщательно в углу сарая.

Куда пропал велосипедист

Что же произошло с немцем? Его, убитого, нашли дедушка и бабушка у нашего колодца. Немец, видимо, заинтересовался, куда ведет тропка, увидал колодец и решил напиться.

Тут-то его и убили, благо колодец находился в таком месте, что увидеть эту сцену можно было только из окон нашего дома. Оружия при немце, кроме тесака, не было.

Чтобы отвести беду, дедушка и бабушка закопали немца где-то в кустах, сняв с него предварительно обмундирование и забрав тесак и компас. Спустя какое-то время после довольно быстрого отъезда велосипедистов бабушка сшила мне галифе из перекрашенного в черный цвет обмундирования, и у меня оказался блестящий компас с крышкой, откидывающейся при нажатии кнопки. В крышку можно было смотреться, как в зеркало, стрелка не стояла на месте, и вся детвора люто мне завидовала.

Тесак в ножнах тоже стал моей собственностью. Но играть с ним мне разрешалось крайне редко, и только в избе. Много позднее его извлекли на свет божий, и мать, а потом и я, стали щепать им лучину для растопки печи и освещения избы по вечерам.

Обстоятельства убийства немца и его похорон стали мне известны после войны, но меня до сих пор поражает безрассудство родных, которые мало того, что тайком похоронили немца, но и раздели его и принесли улики домой. Конечно, сейчас невозможно поставить себя на их место, чтобы до конца понять мотивы их поступка. Неужели пресловутая крестьянская хозяйственность, которую не всегда отличишь от жадности, оказалась на этот раз сильнее здравого смысла, инстинкта самосохранения, наконец?

Наверно, после того как вещи немца перестали быть уликой, произошел мой первый и последний полувооруженный конфликт с вражеской армией. Я как с писаной

торбой повсюду носился с компасом и всем его показывал. Как-то прямо на середине улицы мы тайком разглядывали его с моим ближайшим другом Лелькой. Стрелка дергалась и крутилась, а никелированная крышка добросовестно отражала наши высунутые языки. Вдруг на нас упала густая тень. Подняв головы, мы увидели наклонившегося над нами немца. Протянув руку, он требовал компас. Я спрятал сокровище за спину. Немец разжал мои пальцы, забрал компас, а на раскрытую ладонь положил тусклую белую монету с дыркой посередине¹.

Я ревел во весь голос. Немец пошел, а я, привыкший к безусловным уступкам со стороны взрослых, бросил в него монету и начал плевать. Немец медленно положил руку на пистолет и стал расстегивать кобуру. Для меня это ровно ничего не значило. Я продолжал плевать и выкрикивать нехорошие слова, а попросту говоря, материть его изо всех своих сил. Немец засмеялся, поднял монету, погрозил пальцем и ушел.

О том, как скобари «ломаются»

Наступил Яблочный Спас, праздник, который широко отмечался и отмечается русскими крестьянами как праздник урожая. Пospели яблоки, груши, слив на деревьях было больше, чем листьев. Именно в этот день крестьянин видел результаты своего, почитай, годового труда.

И до Великой Октябрьской революции и после, несмотря на воинствующий атеизм, в наших местах, да, наверное, по всей Руси, отмечались кое-какие религиозные праздники. Не думаю, что это было следствием глубокой религиозности, ее мне наблюдать не приходилось ни в

¹ Вероятно, цинковая монета достоинством 10 пфеннигов выпуска 1940–1941 годов.

детстве, ни позднее. Скорее всего праздники знаменовали собой начало или конец сезонных деревенских работ, а потому и отмечались.

Искони было заведено в нашей местности, что каждый религиозный праздник был вроде как бы закреплен за определенной деревней. Наверно, местный священник курировал, выражаясь по-современному, проведение этих мероприятий. В Алтуне весь приход Вехнянской церкви праздновал Спас. В Троицу все шли гулять, скажем, в Батково.

Ну и так далее. Так как деревень было много меньше праздников, то на каждую деревню приходился не один праздник в году.

На моей памяти несколько таких гуляний. Справедливости ради должен сказать, что ни на одном из них я ни разу не видел священника. А вот в церковь на богослужение по случаю престольных праздников бабушка меня водила неоднократно.

Гуляние обычно проходило с большим размахом. И во время оккупации тоже. Собиралось очень много народу. Основная масса гуляющих образовывала большой круг. По кругу, настолько большому, насколько позволяло место, рядами по шесть–восемь человек, в затылок друг другу выступали отдыхающие. Это была, по сути, замкнутая колонна. Шли семьями под руки, пели песни, горланили частушки. На круг порой приходилось по несколько гармошек. Каждая играла свое, а идущие сзади надрывались, силясь перекричать остальных. Вокруг торговали плодами нового урожая, самогонкой, пивом, огурцами, всякой едой — кто во что горазд. Всюду сновала детвора, кучковались подростки, девчонки интересничали в обновках.

Когда веселье достигало апогея, назревала драка, а то и несколько. Это было неизбежно и, видимо, составляло определенную изюминку в духовной жизни деревни, русской вообще и псковской в частности. У скобарей драке предшествовало «ломание».

В круг входила толпа молодцев с колами в руках и с гармонистом посередине. Как правило, это были односельчане или жители ближайших деревень, объединенные родственными, трудовыми или дружественными связями.

Вот гордая частушка-заявление о монолитности такого объединения:

Дубово, Луханово, Литово — городец!..

Три названные деревни, конечно, не город, но и не деревни, а скорее маленький городок, не то, что вы, остальные — деревенские неумытые. Видимо, таковой была поэтическая суть заявления.

Отчаянные молодцы откровенно хотят обидеть возможных оппонентов. Помню замечательную концовку одной из таких задирок:

Вы откуда, синепупые,
мы вас не узнаем?

Проза категорически не котировалась для столь высоких полетов души. Она появлялась позже, в процессе усердного мордобития. А вот пример устрашения:

Атаманы, бейте рамы,
А я дверь буду ломать!
Нам милиция знакома,
А тюрьма — родная мать!

Или:

В мяня пузо, как в арбуза,
Голова, как в ежика!
Не пойду я на гулянку
Без большого ножика!

Круг умолкал и, замедлив движение, с интересом наблюдал за развитием событий. В середину, с дрекольем же, влетала вторая группа нетрезвых молодых — вызов был принят. Они шли навстречу заводилам и, выслушав очередную частушку, пели свою, возможно, более оскорбительную, и проходили мимо. Страсти накалялись. При очередном приближении солист, прокричав частушку, брался за плечи соседей и высоко подпрыгивал. После чего его дружки ударяли палками по земле. То же проделывали и оппоненты.

Если учесть манеру пения частушек, которая предписывает заканчивать ее выкриком-визгом, хотя бы солист обладал басом-октавой, то «ломание» доводило до иступления как участников, так и зрителей.

Наконец, самый слабонервный не выдерживал и ударял колом не по земле. Начиналась неистовая драка, в которой, бывало, как говаривал отец, участвовали все присутствующие, включая и нежный пол всех возрастов. Последние, как правило, занимались вопросами боепитания: доставкой к «горячей точке» камней, палок и прочих необходимых для «дискуссии» предметов. А во времена молодости моих родителей редко когда обходилось без поножовщины.

Я описал гуляние в мирное время, каким видел его школьником, приехавшим в родные края на каникулы в 1952 году.

«Их бин большевик»

Ну, а тогда, в 1941-м, все проходило чинно и благородно. Да и о каком буйном веселье можно было говорить. Из окрестных деревень, как водится, пришли крестьяне, играла гармошка. Люди постарше посидели под дубами около разосланных на земле платов, на которых была расставлена выпивка и закуска, посудачили, угостились и тихо разошлись.

Мы с дедушкой разоделись по случаю Спаса. Бабушка достала выходные косоворотки — белые, с вышитыми красным шелком узорами по короткому стоячему воротнику и планке, опускающейся почти до пояса. Дедушка вытащил из горбатого сундука, обитого жестяным орнаментом, два витых шелковых пояска с кистями. Себе — черный, а мне — голубой. Мой наряд дополняла обновка — черные галифе из крашеного немецкого сукна (того самого), алая бархатная испанка с кисточкой, болтание которой в процессе ношения я с удовлетворением наблюдал, и желтые сандалии с прекрасным широким рантом. Роль голенищ, либо краг, вроде бы обязательных для галифе, выполняли цветные носки. По всем деревенским эстетическим нормам одет я был щегольски, как бы являя собой живое свидетельство верности отцовского обещания, данного при моем рождении, одевать меня в бархаты и шелка.

Дед расчесал кудрявую бороду и голову кривым черепашковым гребнем, привел в порядок мои длинные, почти белые волосы, и мы пошли «ломаться» в село, под сень дубовой аллеи. Дед, конечно, пристроился к подходящей для себя компании, где по стаканам разливали «вяселье», а я начал носиться со сверстниками между деревьями икидаться желудями.

Мы побежали к озеру мимо деревянного двухэтажного дома, который занимали немцы. При виде меня они повалились со смеху. Их, должно быть, больше всего поразило наличие на малом ребенке таких коммунистических атрибутов, как «испанка» — непременно деталь одежды республиканца во время гражданской войны в Испании и большевистские галифе с обширными «бутылками» при очевидной бесвкусице всего прочего. Кстати, немецкие офицеры тоже носили галифе, но не с округлыми «бутылками», как у нас, а с небольшими, сведенными книзу на угол.

Немцы хохотали, хлопали себя по ляжкам и кричали: «Балшевыик!»

Меня схватили в охапку и потащили в дом. В сопровождении толпы я побывал, наверно, в каждом помещении, где среди двухъярусных кроватей находились солдаты. Меня ставили на пол и снова принимались хохотать.

На улицу вместе с остальными вышел и фотограф. Он крутился перед толпой с «лейкой»¹ и щелкал затвором. Со мной хотели сфотографироваться все. А домой я ушел с полным подолом подарков. Мне надавали конфет, печенья, всякой сувенирной мелочи и две или три губные гармошки. А позже нам передали снимок, на котором я был запечатлен один во всей своей большевистской красе. На обороте снимка — оранжевый штамп походной фотографии.

Очень жаль, что фото не сохранилось. Но зато у меня есть снимок того времени, где на фоне замка сняты две мои тети. Карточка испорчена, видимо, от действия какого-то химиката, пролитого на нее в более позднее время. Но и на ней отчетливо виден оранжевый штамп.

Наверно, этот эпизод многих поразит нетрадиционностью в описании гитлеровских солдат. Когда я, восьми с половиной лет от роду, приехал после оккупации на Урал, а это было почти за год до окончания войны, меня тогда поразила ненависть ко всем немцам, конечно, за исключением К. Маркса, Ф. Энгельса и других отцов нашей идеологии. «Убей немца!» — таков был приказ Родины, и это было все, что нужно было знать о немце во время войны.

Бедные немецкие дети — наши соотечественники! Сделать им гадость считалось мальчишеской доблестью. Долгое время я пытался увязать свой маленький жизненный опыт с такой вот суровой точкой зрения. Откуда мне было знать, что помимо логики жизни есть логика борьбы, борьбы не на жизнь, а на смерть, борьбы, в которой нет места неоднозначности?

¹ Немецкая фотокамера.

Но я видел разных немцев, видел власовцев, видел чехов и словаков в фашистской форме, видел даже испанцев. И уже тогда понимал, что они разные. Были просто немцы и были эсэсовцы, немцы, как и мы, были добрые и злые, веселые и унылые, общительные и замкнутые. У них были мамы и папы, жены и невесты. Они любили детей, как все взрослые на свете.

Нацистов среди немцев, расквартированных в нашем селе, возможно, не было вовсе. Что было им делать в тыловых частях? И потом, я очень хорошо помню, как паниковали сами солдаты, если в селе появлялись эсэсовцы, чаще всего карательные отряды.

Чтобы не участвовать в совместных построениях и при-ветствиях, они под любыми предложениями пытались куда-нибудь исчезнуть. Порой отсиживались в наших домах, белом и красном, подглядывая из-за занавесок на используемую под плац поляну перед особняком.

— Эсэс, гестапо — плохо, — не таясь, говорили они русским.

Пожилые немцы, отцы, разлученные с семьями, особенно тянулись к детям. Мы ели их конфеты, играли в «домиках», построенных ими для нас из маскировочных сеток. И никто не мешал им этого делать. Они общались с нами, русскими, запросто на протяжении всей оккупации, зная, что мы считаем их врагами, что мужское население, кроме старых да малых, если не в армии, то в большинстве своем в партизанах.

Похоже, они, простые люди, находили это естественным.

Так где же растут желуди?

Наступила осень. Дождь без усталости ходит по соломенным крышам. Когда сквозь лес прорывается ветер, он сердито хлещет по окнам дождевыми струями, которые

стучат в стекла, как галька. На полу время от времени то появляются, то исчезают тени оконных рам. Лохматые тучи несутся, цепляясь за соседние деревья.

Бабушка закончила утренние хлопоты: затопила печку, накормила скотину, выгнала в поле — в промозглую сырость — корову, приготовила «перяхватку», сиречь завтрак, накормила и отправила на работу деда, маму и тетку. А сама прибрала в избе: выскоблила ножом большой обеденный стол, подтерла полы, поставила в печку хлебы, щи, картошку и прилегла на часок соснуть.

Я тоже переделал уйму дел: сбегал в село, наигрался в просторном белом доме с ребятишками (им хорошо — они все живут вместе), вымок под дождем и составил бабушке компанию. Лежу в сухих штониках и рубашке на горячей печке под пестрым лоскутным одеялом. Рядом мурлыкает кот Васька. Он серый, полосатый, у него узкие зрачки и умильная морда. Я глажу его, а он довольно щурится и то сжимает, то разжимает лапы. И через рубашку я чувствую острые когти.

Васька тоже недавно заскочил с улицы, уже подсох и мурлычет прямо с остервененьем, отчетливо выговаривая:

Вилы-грабли, когти ззябли,

Вилы-грабли, когти ззябли.

Я тоже готов замурлыкать, потому что после мокрой улицы особенно остро чувствуется домашний уют, сухое тепло от огромной печки, пронизанное запахом свежего хлеба. Так как я лежу под полушубком, то немножко «затыхаюсь»¹ от аромата овчины. Кот умолк, он спит, вздрагивая то одним ухом, то другим и громко посапывая мне в ухо. На черном некрашеном потолке, отражаясь от

¹ В затхлом воздухе скобари «затыхаются», а на свежем — «затыхаются», например при быстрой ходьбе или при одышке.

пола, торопливо бегут тени. Светлое пятно то тускнеет, то пропадает совсем.

Бабушка придет с улицы и говорит: «Чуть не задохлась — в гору шла. А ты тут в избе не затхнул от духоты?»

Просыпаюсь. Изба полна детишек. Это набежали бабушкины внуки, т. е. мои двоюродные братья и сестры. В горницу (дом наш — классический псковский четверик с дощатой перегородкой, отделяющей «кухню», где расположено устье печки) входит бабушка. Она ласково говорит:

— Эй, хозяин, принимай гостей. Вон сколько жиганов набежало.

На лавках вокруг белого стола расселась ребятня — человек десять. На столе рассыпчатая картошка «в мундирах» — «картохи», желтая крупная соль. Большая глиняная чашка с белесой жидкостью стоит посередине — это разведенное толокно, горкой лежат огурцы, хрустящие и вкусные, потому что на дубовом листу. Перед каждым кружка с простоквашей и ломоть свежее выпеченного хлеба с крупными инородными включениями — рыхлыми катышками. Это картошка. Из круто замешанного толокненного теста охотники лепят «бычков» и тут же их съедают.

— А ну, обазура¹, подвинься, — шумит бабушка и засовывает меня между едоками. Какой-то братец запикивает мне за ворот мокрую холодную ладошку: специально выскакивал для этого на крыльцо, поганец. Я, еще не проснувшийся до конца, визжу к огромному удовольствию ребятни.

Это, конечно, Борька, сын тети Гани. Они пришли из соседней Канашовки со старшим братом Володей. Известно: лучшее занятие в пасмурную погоду — в гости ходить.

— Ну, пошабашили? Альта из-за стола! — у бабушки манера — облекать самые ласковые чувства в нарочито грубую форму.

¹ Хулиган, распушенный человек (псковский говор).

Сестрицы моют посуду в медном тазу, а ребята затевают возню в горнице. Образуется куча-мала. И вот уж кто-то вскрикнул от боли и заныл. Заскакивает бабушка с голиком и начинает стегать им по куча-мала. Наверху, конечно, те, кто постарше. Они со смехом разбегаются, и скоро от куча-мала ничего не остается. Ребятишки хватают одежонку и высыпают на улицу, благо, дождь кончился.

— Друзья-толоконнички, — смеется бабушка, выглядывая в окошко. — Съели толокно и с кием под окно.

Толя дяди Антона и канашовский Володя остались. Они степенны, как маленькие мужички. По деревенским понятиям, это уже работники. Бабушка дает им по шелгунку и наказывает:

— Много желудей не берите, не виряжайтесь. Но и мало тоже ни к чему. Чтоб в самый раз. Погодите, уж я Борьку (меня, значит) соберу. Чего ему дома сидеть?

Ребята помогают мне одеться и с отеческим вниманием следят за мной, когда мы, скользя по размытой тропе, спускаемся к дороге, и потом, когда собираем в парке грузные золотистые желуди.

Жители села заботливо собирают урожай желудей: их с удовольствием поедают свиньи, а из молотых получается напиток, наподобие кофе. С молоком и сахаром он весьма приятен на вкус.

...Володя полез на дуб сшибать желуди, а мы с Толей собирали их на земле и складывали в шелгунки.

С этим нехитрым промыслом связан один из эпизодов моей жизни. Было это вскоре после войны. Я учился в начальной школе на Южном Урале. Однажды на уроке учительница, молоденькая девушка из местных, прочитала нам басню И. Крылова «Свинья под дубом». А потом стала задавать вопросы.

— Дети, где растут желуди? — спросила она.

В числе прочих поднял руку и я. Не знаю, что сказали бы дети, но спросили меня, и я, естественно, ответил, что на дубе.

— Ты что, Боря? — удивилась учительница. — Ведь здесь же ясно сказано: «Свинья ПОД дубом вековым наелась желудей досыта, до отвала...».

Класс начал смеяться... надо мной, вместе с учительницей. Я не знал тогда, что в горнозаводском районе Челябинской области дубы не растут и что я, по сути дела, единственный из присутствующих, кто их видел. Поэтому, сильно сконфузясь, замолчал и сел. А класс от души хохотал. Больше того: об этой моей якобы промашке одноклассники помнили все время, пока я учился с ними. Время от времени какой-нибудь «гриб ядовитый» подходил ко мне при скоплении народа и спрашивал, где растут желуди. Я был непреклонен, а народ, услышав мой однозначный ответ, так и валился со смеху.

Снежная баба, куран и охотники

...Выпал снег, которого так ждали дети. Мы лепили снежную бабу под яблонями. Толя показывал, какое чудо можно сотворить из снега. Он сбил голыми руками валик из сырого снега и покатил его по земле. Снежное покрывало прилипало к валику, обнажая пожухлую зеленоватую траву. Валик становился все толще и толще.

— Во, мальцы, а чаво вы стоите? Мне ж анному ня в силу!

Мы накинулись на снег, и вскоре в конце зеленой поженки лежало несколько грязноватых, в глянцеvitых листьях снежных скаток. Когда они были поставлены одна на другую, Толя принялся работать толстой щепкой. Нехитрая геометрическая фигура стала походить на человека.

Мы притащили уголей, морковку, хворостинку и палку с голиком. И скоро черными угольными глазами на нас глянула Баба Яга с морковным носом, зубастая, с патлатой из веток головой, с метлой в руках. А рядом пристрои-

лась другая мифическая личность — Куран, существо с торчащей из приплюснутой головы кочергой.

В детстве меня часто пугали Кураном, как, впрочем, и других маленьких детей, которые капризничали или бывали непослушны. Зримый облик этого страшилища создала другая моя бабка — мать отца, всю оккупацию прожившая со своими детьми Женей и Зиной в соседнем, красном доме.

После угроз она ненадолго исчезала из комнаты, а потом являлась в вывернутой наничку, мехом вверх, шубе. Рукав имитировал шею, из которой торчала кочерга, а из недр этого чудовищного организма несло невнятное бормотанье, из которого отчетливым было лишь заявление: «Я — Куран, я — Куран».

А между тем диалектное слово «куран» означало всего-то навсего индейского петуха, т. е. индюка, который своим странным видом и сердитым бормотанием детишек пугал, а подростков сильно конфузил. Конечно, загадочность эта проистекала и оттого тоже, что индюки в то время на крестьянском подворье были редкостью. Лично я увидел их значительно позднее, чем познакомился с мифом.

...Однажды, вскоре после снегопада, к нам в избу ввалились немцы-охотники. Румяные от мороза и возбуждения, они бросили несколько зайцев в сенцах и, топоча мерзлыми сапогами, вошли в избу.

Это были не «наши» немцы. Они, наверно, приехали из города, чтобы по первопутку погонять русаков. А после охоты зашли обогреться в первый крестьянский дом. Немцы достали фляжку со шнапсом, крохотные рюмочки белого металла, наверно, серебряные, какие-то консервы и, успокаивая хозяев, все говорили «гут» да «гут».

Деду тоже поднесли наперсток, чем сильно развеселили и деда, и бабку. Я уверен, что бабушка при этом пошутила, что тебе, дескать, Мить, давно бы перейти на такую посуду. Потому что дед был питок «сурьезный» и при-

нимал «стаканьями». Потом мы с дедом рассматривали деревянные булавы с толстыми «закиюрками» на конце. «Наверно, чтобы зайцев добывать», — заметил дедушка.

Охотники долго не задержались. Они поели, согрелись и ушли.

— Да, брат, дожили, — сетовала бабушка. — Ерманец как у себя дома.

Ушли немцы, но надолго оставили в доме тягостное впечатление от визита. Моим родичам, как говорят псковитяне, «даже вредно стало» от того, что немцы вот так безбоязненно и безнаказанно могут шастать по нашим полям, лесам и опушкам.

С удовлетворением отмечаю, что немцы вскоре разлюбили охотиться в наших краях, как, видимо, и на остальной оккупированной территории. Они стали бояться не только леса, но и парков, и садов, предпочитая передвигаться по шоссе, тщательно охраняемому.

Партизаны!!!

Ночью в селе вдруг поднялась бешеная стрельба. Она прекратилась так же быстро, как и началась. До утра никто из нас не уснул: не терпелось узнать, что же произошло. Терялись в догадках, хотя ответ приходил сам собой: партизаны, больше некому.

— Уж ли наши?! — не мог нарадоваться дедушка.

— Во, а кому ж яцо быть? — радовалась бабушка. — Задали немцам отяребку.

Днем к месту происшествия прибежали и дети. Оказалось, группа партизан через сад подобралась почти вплотную к деревянному дому, где квартировали немцы, забросала его гранатами и обстреляла впавших в панику немцев из пулемета. Стекла в доме были выбиты, стена во многих местах шершавилась щепками, под которыми видны были дыры от пуль.

Немцы уныло заделывали окна какими-то фанерками и досками.

Помню, говорили, будто бы партизаны, чтоб сбить немцев с толку, пришли в село на коровьих копытах, приделанных к обуви задом наперед. И это стало предметом тщательного расследования, которое провела детвора. В саду коровьи следы были. Они четко отпечатались на грязи, перемешанной с квелым снегом. Но выразительные зеленые лепехи с головой выдавали «партизана».

Было натоптано и людьми. Из грязно-белой каши мальчишки натаскали уйму блестящих латунных гильз разной величины. Невиданное богатство.

В перестрелке был убит один немец, несколько ранено. Убитым оказался Вилли Синяя Переносица. Он лежал на носилках с непривычно спокойным лицом, только полоска засохшей в углу рта крови говорила о том, что это спокойствие неестественно. И тут я услышал диалог, смысл которого можно изложить приблизительно вот так:

— Собаке собачья смерть, — сурово изрекла одна из женщин.

— Не надо б так, Феня, — возразила ей другая. — Мужик хороший был. Думаешь, евонная воля, стал бы он воевать?

Честно говоря, мне тоже было очень жаль веселого доброго Вилли, хотя и я понимал, что жалеть немца вроде нехорошо.

Много лет спустя в одной из центральных газет публиковалась корреспонденция из ФРГ о марше в защиту мира членов организации бывших военнопленных в СССР. Приводились выдержки из их писем в немецкую печать. Один из немцев писал (текст письма привожу по памяти): «Наша колонна двигалась в советский тыл по выжженной, разрушенной нами земле. Когда мы проходили через то, что раньше было деревнями, из землянок, откуда-то из-за печных труб к нам выходили обездоленные, ограбленные нами люди — и женщины, и

дети, и старики. Они передавали нам, виновникам их несчастий, картошку и хлеб, делясь последними крохами. Мы были потрясены величием души русского человека. Какой еще народ способен на это?»

Катушки в решете

...Пришла настоящая зима. С морозами, метелями, обильным снегом. Рядом с тропкой, сбегаящей от избы к дороге, мы с дедушкой устроили ледяную катушку, которая ныряла к самому болотцу чуть ли не от крыльца. Я садился в большую бельевую корзину, сплетенную из ивового прутья, и с поросычьим визгом скатывался вниз. В самом низу живота становилось и холодно и щекотно. Да и страшновато. Братки мои и сестрицы катались кто на чем. А вскоре рядом с дорожкой на всю зиму прописался стационарный, так сказать, снаряд для катания с горки — старое решето, обмазанное по сетчатому дну коровяком и политое на морозе водой. Скорость решета можно было регулировать, утяжеляя его днище.

Малышей сажали в решето и, придав ему вращательное движение, запускали под горку. Эффект, сами понимаете, был потрясающий.

Частенько мы делали «выходы в свет» — отправлялись в село на большую катушку, устроенную на контрфорсе конюшни. Высота тогда казалась мне невероятной, а спуск героическим.

Однажды на этой горке произошла маленькая история. О ней я охотно поведаю, потому что это одна из тех историй детства, которые есть у каждого из нас и которыми до известного возраста мы дорожим и любим рассказывать их при каждом удобном случае.

Читатель, наверно, уже понял, что нашего замечательного коня Кольку, так сказать, обобществили немцы. Конь при встрече с дедушкой чуть не с объятьями к нему бро-

сался, а при виде меня вздергивал голову, прядал ушами и тихонько ржал. Тут уж обниматься лез я.

Во время бесшабашных катушек с чердака у подошвы этой рукотворной горки нет-нет да и проезжали подводы: взрослые работали в созданном немцами земском дворе. И как-то меня на решетке занесло прямо под ноги лошади. На мое счастье, это оказался Колька. Он заржал и в оглоблях, в хомуте, встал на дыбы. Меня беспрепятственно вынесло далеко за дорогу.

Событие взбудоражило сельскую общественность. О Кольке и обо мне только и говорили в этот вечер. А когда я пришел домой, мама в порядке товарищеской критики всыпала мне задним числом по заднему месту. Зато Колька сильно возвысился над своими собратьями в глазах селян.

В Белоруссию

...Темнеть стало рано. Не успеет солнце скрыться за лесом, а уже полная луна, как физиономия веселого мордастого человека, начинает нырять в облаках среди ближайших деревьев, испуская сильное, но мягкое голубое сияние. Луна бежит, а тени от деревьев, такие непостоянно призрачные, будто зацепились за кустарник в саду. Через поле по морозному воздуху доносятся гулкие собачьи бескомпромиссные споры. Изредка донесется обрывок человеческой речи.

Деревень не видно, там, где они, — темень. И, только напрягая зрение, можно заметить какое-то тусклое свечение: люди в избах жгут лучину за неимением других источников света. Прочие же звуки вязнут в парках, и потому до слуха доходит лишь неясное шевеление чего-то большого.

Мы с дедушкой стоим на крыльце и слушаем ночь. Вот со стороны Канашовки все явственнее звучит хрупанье

снега, потом от темной полосы за полем отделяется едва различимое пятно и движется в нашу сторону.

— Пошли, внучек, домой, не простудиться б, — говорит дедушка. — К нам гости. Сейчас будут.

В диковинном канделябре (тонкий металлический прут со спиралью-держателем на конце, закрепленный в чурке) торчит горящая лучина. Под ней — глиняная миска с водой. Чтобы лучина горела ровно и хорошо, мне вменено в обязанность обламывать отгоревшую часть лучины — уголь, прихотливо изгибающийся в процессе сгорания. За ним интересно наблюдать, а обломить уголь без ущерба для огня — дело совсем непростое, с которым лучше меня никто, конечно, не справляется. Об этом говорят все домашние.

Кто-то ступил на звонкое крыльцо и зашаркал веником, обметая валенки. Хлопнула наружная дверь, и в сенях зашарили в поисках двери. И вот уже в клубах пара на пороге стоит высокий дядька — дядя Матвей из Канашовки, муж тети Гани.

— Здравствуйте, — говорит он. — Пришел попрощаться — завтра утром поеду...

Все уселись за стол. Гостю поставили крынку с молоком, а рядом положили большую черную лепешку, еще теплую, с пузырьчатой, легко отстающей коркой. Дядя Матвей говорит, а сам все отламывает одной рукой кусочки от лепешки и, сунув их в солонку, ловко забрасывает в рот, шумно припивая из кружки. Ему предстоит ехать далеко-далеко за сыном-красноармейцем Колей, который по дороге домой из окружения приболел и застрял в какой-то белорусской деревеньке. Весть эту принес на неделе парнишка из местных, служивший вместе с Колей и вместе же добиравшийся на родину.

Вот в Белоруссию-то и предстояло совершить путешествие дяде Матвею. По местам, занятым немцем, да еще в такое смутное время! Я не представляю, как решился дядя Матвей на такую поездку в санной повозке. Но он

слыл на деревне человеком удалым и никогда не давал повода усомниться в этом.

Много лет спустя от дяди же Матвея я узнал, что он был командиром кавалерийского эскадрона в Первой конной, прошел путь от Сальских степей до Варшавы, а по дороге в Крым был тяжело ранен в ногу и комиссован вчистую. Был награжден личным оружием за храбрость. А в Первую мировую заслужил два Георгиевских креста и две Георгиевские же медали.

О веселой бесшабашности его отца и деда в деревне ходили легенды.

Браткина история

Не знаю уж, сколько дней и ночей минуло после этого прихода дяди Матвея, но однажды, прибежав домой после сладких уличных забав, мы увидели за столом чернявого парня с яркими глазами, перед которым стояли угощенья. Это и был наш «братка» (двоюродный брат) Коля. Он что-то степенно рассказывал, а бабушка аккомпанировала ему бесконечными качаниями головы и распевом «Ай-яй-яй-яй-яй-яй», выражая этим и свое недоумение, и удивление, и крайнюю степень понимания и сочувствия. И, конечно, радость: был Коля на войне и вот он дома, живой и невредимый, только очень худой. «Как куриная нога», — говорила потом бабушка.

Дядя Матвей не зря гонял рыжую кобылу не за одну сотню верст: он привез из Белоруссии и Колю, и своего же деревенского Павлю, сверстника и однополчанина Коли, двоюродного брата моего отца.

Много лет спустя Коля рассказал мне, как он провел первые месяцы войны. Призвали его в танковые войска. Накануне войны оказался он на службе неподалеку от Брестской крепости. Как шустрого парнишку, его посадили на мотоцикл, и он носился на нем, развозя пакеты с

ценными приказами и еще более ценными указаниями начальства. Поздним вечером 21 июня он приехал с очередного задания, оставил мотоцикл у казармы и лег спать. Солдаты проснулись от грохота канонады и сразу поняли: это война! Ее ждали с минуты на минуту. И все-таки началась паника.

«Когда я, — рассказывал Коля, — понял, что дело не бело, то вскочил на мотоцикл и помчался подальше от границы, обгоняя толпы людей и на транспорте от лошади до танка, и пешком ходом. Через тридцать километров двигатель заглох — кончился бензин, и я примкнул к толпе военнослужащих. Так и оказался в белорусских лесах, среди болотных топей, где народу скопилось видимо-невидимо».

Отцы-командиры все силы положили на то, чтобы из толпы деморализованных парнишек в военной форме сформировать действующие боевые подразделения. По причине потери всякой связи с «большой землей», отсутствия тылов и достойного вооружения пришлось ограничиться созданием партизанских отрядов, которые первое время расходовали свой боевой потенциал на добычу пропитания, а ввиду наступления холодов — и одежды. Такие партизанские отряды возникали на всей внезапно оккупированной территории. Их недолюбливали мирные жители, возлагая на них ответственность за поражения, а еще потому, что боевых дел за ними не числилось, зато крестьян они обирали. Выдавали себя за партизан и откровенно бандитские шайки, даже из числа местных жителей — любителей половить рыбку в мутной воде.

Колин отряд, по его словам, рвался в бой. Но боевой эпизод на его памяти был один. Коля с кем-то из бойцов, тоже танкистом, набрел в болоте неподалеку от дороги на брошенный танк Т-34, застрявший в коричневой хляби. Танк был новенький и с почти неизрасходованным боекомплектом. Когда танкисты убедились в невозможности вызволить машину без мощной техники, они услышали,

что по недалней дороге гремит грузовик. Ничьим другим, кроме немецкого, он быть не мог. Ребята нырнули в люк и повели стволом в сторону грузовика. Решили выстрелить наобум, по звуку, благо ничего они не теряли, а соблазн был велик. Как и бывает в таких случаях, попадание было прямым. Стрелки смылись, не подозревая о последствиях. А они, эти последствия, грянули на другой день в виде карательного отряда, который начал прочесывать лес. В коротком бою ранили в ногу Павлю. Его в этот же отряд почти вслед за Колей занесла очередная волна окружения.

А потом Коля жестоко простудился. Его пристроили в деревне, у добрых крестьян, где он приходил в себя под видом родственника. В этот же дом занесло скобаря чуть не из соседней деревни, который и принес в Канашовку радостную весть.

На зайцев с табаком и луком

Самым большим затейником среди алтунских ребят был мой братка Толя, сын дяди Антона. Он был на целых восемь лет старше, и ему, видимо, доставляло большую радость возиться с малышами. Он вечно что-то мастерил, что-то придумывал, удивляя и радуя нас своими поделками. Так, он сделал из лучины каждому по гимнасту на турнике. Гимнасты при нажатии на стойки турника кувыркались и выделявали прочие замысловатые трюки. С ними можно было играть часами.

Потом он принялся мастерить лыжи. Помню чан с кипятком у русской печки, озабоченное Толино лицо. А сам он загибает распаренные в кипятке лыжные носы и с помощью каких-то приспособ и веревок фиксирует их. Лыжи в общем получались. Толя даже наострился прожигать раскаленным гвоздем отверстия для креплений. Но что вызывало у него жгучее огорчение, так это неу-

дачные попытки сделать на скользящей поверхности лыжи продольный желоб.

— Эх, мать честная, — говорил он, — сделать бы, так в мяня лыжи были б ня хуже торговых. Да и скользили б как настоящие — совсем другое дело...

— А может, и хорошо, что желоба-то не получают, — рассуждал он дальше, поскребывая затылок. — А то немцам вздумается яще, что партизаны были — хлопот не обярься.

Мы с неразлучным другом Лелькой, двоюродным братом Толи со стороны матери, бойко «шмуругали» самоделками по заснеженному парку.

В зимнем парке кипела жизнь: стучал по сухому дереву дятел, звонко выводили свою незатейливую мелодию синицы, попискивая, по стволу вверх и вниз головами шныряли маленькие серенькие и голубоватые птички. Снег весь испещрен следами. Но самые привлекательные из них, конечно же, крупные сдвоенные следы зайцев-русаков. Толя утверждал, что их можно ловить запросто сколько хочешь. Для этого всего-то и надо, что луковицу или немного нюхательного табаку.

Хочешь «впоймать» зайца живого — клади на пенек очищенную и порезанную луковицу. Припрыгает заяц и из любопытства станет нюхать приманку. От лука, известно, потекут у него обильные слезы. Расплачется заяц — и ни с места: из-за слез дороги не видно. Вот тут и надо подойти к зайцу, взять его покрепче за уши — и в шалгун, в торбу, значит. Конечно, важно не упустить момент, не замешкаться. А то либо ветер слезный газ отнесет, либо лук выдохнется.

Много надежней — нюхательный табак. Понюхает заяц его, да как чихнет — и носом об пень. И насмерть. Правда, и при таком способе далеко уходить нельзя, а то Лиса Патрикевна мигом зайца уходит.

Не раз и не два ходили мы с Лелькой на нелегкий промысел, но, увы, безрезультатно. Не сразу стали замечать слишком уж настойчивые и беспричинно весе-

лые, с перемигиваниями, советы мальчишек постарше и взрослых.

— Мам, ма, ведь няправда что зайцы на лук и на табак ловятся, а?

— Ды смяются яны над вам, нявожь ня винно? — улыбается мать.

А мальчишки со смеху помирают: обманули дурака на четыре кулака.

Рассуждения автора о языке как среде обитания

Тут мне хотелось бы сделать некоторые пояснения по поводу того, почему я привожу прямую речь моих героев так, как они говорят в жизни.

Потому что без такой речи они для меня просто не существуют. Диалект — это для них такая же среда обитания, как псковская природа, псковская деревня, псковский быт. У них псковская внешность, псковский нрав. Это совсем не значит, что все названное лучше, скажем, новгородского, вологодского, вятского или тульского. Отнюдь. Это значит, что псковское есть псковское, и ничье больше. И оно, поверьте, отсутствует у всех остальных.

К сожалению, сегодня увлечение иностранными словами стало неоправданно модным. Читаешь газету и диву даешься обилию «саммитов», «джакузи», «крейзи», «экслюзивов» и прочего и прочего. Возьмите словарь В. И. Даля. Против каждого слова указана губерния, откуда оно происходит. Большинство из них — диалектизмы. Говоры, к счастью, еще живы. И их животворная сила так велика, их колорит и аромат настолько привлекательны, что где-нибудь в глубинке интеллигенты, причем самой высокой пробы, двуязыки: они так же прекрасно изъясняются на родном диалекте, как и на современном литературном языке.

Однажды, в начале 80-х, приехав в Пушкинские Горы, прямо на территории монастыря я купил замечательные книжки — три тома «Псковского областного словаря»: 3-й, 4-й и 5-й. Последний том заканчивается словом «выкушать». Значит, всех томов будет больше тридцати. Это ли не богатство! Спасибо ученым Ленинградского университета за издание!

Из словаря «с историческими данными» следовало, что мои земляки говорят чуть ли не на древнерусском языке. Выдающийся популизатор языка Лев Успенский, природный псковитянин, писал как-то, что скобари, оказавшиеся в Болгарии вместе с Советской армией, почти сразу же начинали свободно общаться с болгарями, потому что, по его мнению, в псковском диалекте много общеславянских слов.

Даже начинающему филологу известно, что любой диалект — это свидетельство особой судьбы региона в судьбе российского государства. И, по сути дела, это местная разновидность русского языка, порою даже со своими законами.

Я беру в руки «Повести Белкина» А. Пушкина, чье имение Михайловское находится в каких-то десяти километрах от Алтуна, и вижу множество псковских слов и оборотов. Даже интонация повествования наша, псковская. Интересно, исследовал ли кто-нибудь этот феномен? Неужели он живет только в моем воображении?

Рождество встречаем с немцами

Наступил канун нового, 1942 года. Как известно, Рождество католиками празднуется незадолго до Нового года. Русским обитателям Алтуна немцы преподнесли сюрприз: все дети и их родители были приглашены в барский особняк на рождественскую елку. Помнится, взрослые сильно сомневались, идти или нет к врагам на празд-

ник. Но дети так напирали, что в назначенный день и час мы отправились в княжеский дом.

Все почему-то были уверены, что елку установят в большом зале, который занимал существенную часть солидного по размеру особняка. Там создавали праздничное настроение чудные паркетные полы, мраморная лестница в два пролета, выход на каменное крыльцо в сторону озера прямо к живописному пруду, выполненному в виде двух континентов Америки и окаймленному плакучими ивами. Из зала через изящные балясины перил видны были двери комнат второго этажа, а на одной из боковых стен располагался балкончик для оркестра.

Но елку поставили в большой комнате на втором этаже, где до революции тороватый Львов, прикипевший душой к хозяйству, устраивал выставку достижений и своего подворья, и подворий крестьян из окрестных деревень.

Нас, сельских ребятишек, елка восхитила великолепием. Лично меня она поразила еще, видимо, и потому, что это была первая в моей жизни елка, которую я воспринимал уже не только эмоционально, но и осознанно.

В послевоенные годы радостному ожиданию новогодней елки предшествовало изготовление игрушек руками самих детей. Мы всем классом клеили бумажные гирлянды и раскрашивали их, рисовали картинки и прилаживали к ним нитяные петли, девочки шили игрушки из разноцветных лоскутков... Стеклянные игрушки были редкостью. И хоть это уже происходило на Урале, которого не коснулись ни разруха, ни пожарища, но нищета и убожество и здесь правили бал.

А эта елка сверкала огнями, которые множились отражениями в стеклянных игрушках всех форм и цветов, была увешана сияющими гирляндами и нитями. И вся комната была ярко освещена карбидными лампами. Великолепие дополнял шикарный немецкий Дед Мороз и наша родная Снегурочка — моя тетя Нина.

Играл аккордеон, сочные и нарядные звуки которого создавали праздник в душе. Дед Мороз вытаскивал

заробевших детишек в круг, и мы топали «валенцами» вокруг красавицы-елки и пели песни. Тут уж инициативу у немецкоговорящего Деда перехватили Снегурочка и мамы.

А потом Дед Мороз раздавал подарки. Это были конфеты, печенье и какие-то маленькие вещицы вроде брошек и значков. Конфеты — карамель в виде желтых, красных и голубых таблеток, похожие на современные аскорбинки в наших аптеках и в такой же бумажной цилиндрической упаковке. Если учесть, что роль конфет для нас в это время уверенно исполняли высушенные в русской печи ломтики сахарной свеклы, то радости не было предела.

Так под патронажем вермахта мы непатриотично, даже постыдно встретили новый, 1942 год. Естественно, этот гнусный проступок я тщательно скрывал всю сознательную жизнь в СССР.

Это ли не свидетельство правоты компетентных органов, которые десятилетиями и близко не подпускали к закрытым организациям даже тех, кто был в оккупации в грудничковом возрасте?

Кто в Ленинград пробирался болотами?

В ворохе детских воспоминаний сохранилось, как какие-то люди на дровнях разъезжали по деревням и собирали продукты для блокадного Ленинграда. Горячая участливость односельчан и родичей в добром деле четко запечатлелись в памяти. Ленинград был родным и близким словом для каждого из нас с самого детства. Наверно, потому, что на Псковщине едва ли найдется дом, который не был бы связан с Ленинградом живыми и трепетными нитями: там жили дети, внуки, братья и сестры псковитян. Эта традиция зародилась одновременно с началом строительства великого города на болотных топях.

Оказывается, в те памятные для меня дни псковские и новгородские крестьяне снарядили в глубоком тылу врага обоз из 223 (!) продуктовых подвод и, с боями преодолев оккупированную территорию и линию фронта, доставили его в Ленинград. На это ушел целый месяц — невероятно холодный для наших мест, как пишет историк, март 1942 года.

В дни празднования Победы, сидючи «на тризне плачевной», мои сверстники и люди много старше любят петь строки:

Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто замерзал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло ломая врагу...

А я, гордый, каждый раз спрашиваю их: «И кто же это в Ленинград пробирался болотами?» На Урале, где я живу, на этот вопрос ответить затрудняются.

А в блокадном Ленинграде остались две мои тети, их дети и даже внуки. Беспокойство за них было незаживающей раной нашей семьи всю войну. Увы, беспокойство оказалось не напрасным. Погибли от холода и голода обе тети, два малыша, на долгие годы потерялись старшие ребята.

Ну, а мы, детишки, жадно рвались к радостям жизни. И они составляли смысл нашего существования.

А на печи — все красное лето!

Что может быть прекраснее улицы, даже если там собачий холод, дует ветер? Чего стоят эти мелкие неприятности, если ты сквозь пургу, как и куча таких же сорванцов, тащишь на горку несколько килограммов смерзшегося коровьего дерьма, из которого восхитительно торчат фа-

нерные борта старого решета, чтобы там, наверху, сесть в центр решета и понестись вниз, ловя взглядом дома, деревья, друзей, которые стремительно крутятся вокруг тебя, как на карусели.

И вот ты вваливаешься, наконец, в избу, где огромная печка источает тепло и сытные запахи. У тебя зашлись от холода руки, и заботливая бабушка, сурово приговаривая что-нибудь вроде «Ах ты, поганец этакий, замерз, как цуцик, а домой цельный день носу не кажешь...», сует онемевшие пальцы в ледяную, из сеней, воду. И те вдруг оживают, начинают гореть, и это опровождается такой пронзительной болью, что слезы градом бегут из глаз, а ноги пытаются пуститься в пляс. А когда руки отойдут, они опухнут, покраснеют и станут, как деревянные. Тут бабушка заставляет засовывать их в волосы и шевелить там пальцами до тех пор, пока они не обретут чувствительность.

Прожив половину жизни в многоэтажках, в холодное время года я всегда думал о поразительной незащищенности обитателя хрущоб от простудных заболеваний. Май и октябрь — самые суровые месяцы для проживающих в них: на улице чаще всего холодно, а отопление либо уже отключено, либо еще не включено. И дома, и на работе все сидят в шапках и в верхней одежде, потому что в помещениях температура от плюс пяти до плюс пятнадцати градусов по Цельсию. Это продолжается неделями, и спрятаться от холода совершенно негде. Разве что на улице, где в нормальной сезонной одежде чувствуешь себя вполне комфортно.

В суровое зимнее время в моем крупнощелевом девятиэтажнике по месяцу жара в квартире плюс пять градусов. Самое теплое место — туалет. По причине прохождения труб горячего водоснабжения и малого объема.

Не дай Бог простудиться — кроме прописанных врачом таблеток, греть больше нечему.

И вот в такие неласковые будни я нежно вспоминаю о маленьком деревянном домике из детства, где хозяевами

тепла были бабушка и дедушка, где, если ты замерз, тебя укладывали на горячие кирпичи и закрывали полушубком. А если промерз не на шутку, тут же топили баньку и — на полок, под обжигающие шлепки дубового или березового веника. Опосля такой экзекуции взрослому — стакан самогонки, чай с сушеной малиной, а пацану — того же чаю с ложечкой самогону и — опять же на печку под овчину. А наутро, как говаривала бабушка Евдокия Ивановна, будешь, как с молоточка. Вот вам и бесплатное медицинское обслуживание!

Как курьез вспоминаю такой случай из юности. В декабре забросила меня судьба в небольшой уральский городок. Термометры показывали под минус тридцать градусов. Я в своем осеннем пальтишке, которое было надежным укрытием от непогоды на родном северо-западе, выстукивал зубами чечетку, пока разыскивал дом, где жили мои родственники. В доме была жара, как, наверно, в пустыне Сахаре в полдень. Потому что дом и два его близнеца, расположенные один подле другого, были построены в героические тридцатые годы и каждый имел собственную котельную. Истопник дядя Вася угля не жалел, жильцы стимула для него — тоже, и в квартирах было не продохнуть. А чтобы продохнуть, окна на улицу распахивали настезь. Так мы и спали с открытыми окнами, как где-нибудь на юге в знойную летнюю ночь.

Но не только игры...

Но не только играми занимались деревенские дети в таком нежном возрасте, в каком пребывал я. Сестрицы, которые жили по соседству, равно как и братьвья, целыми днями околачивались у дедушки с бабушкой, мыли пол, посуду, скребли ножом добела столешницу. Братья постарше пилили, кололи и складывали дрова. У меня тоже были обязанности. Например, держать на

руках мотки пряжи, пока бабушка сматывает их в большой клубок.

Бабушка в любую свободную от текущих дел минуту усаживалась за прялку, а точнее, наверно, за пряслице, которое представляло собой две соединенные под прямым углом тонкие доски, которым мастер в соответствии с их назначением и своими эстетическими воззрениями придавал особую форму. На одну доску бабушка садилась, а на другую крепилась либо кудель (пучок вычесанного льна или пеньки), либо шерсть. Бабушка, поплеывая на пальцы, делала из кудели или из шерсти нитку, крепила ее к веретену, и вот уже веретено, как юла, стрекочет по полу, удерживаемая ниткой, а бабушка левой рукой шустро выдаивает из кудели прядь нужной толщины, а правой все запускает и запускает веретено, которое скручивает означенную прядь в бесконечную нитку. Когда нитка становится длинной, а веретено, естественно, малопослушным, пряха быстро наматывает нить на веретено и, сделав на конце петлю, снова запускает юлу.

Не успеешь оглянуться, как веретено превращается в толстый клубок ниток, а бабушка на опустевшее донце снова крепит кудель.

Нитки с веретена перематываются на клубок, и тут на сцене появляюсь я, лучший держатель веретена при перематке ниток. Занятие это интересное, но нудное: держишь обеими руками тонкие концы веретена, а оно крутится, неохотно расставаясь с нитками и потому нагревает и даже обжигает пальцы.

А потом из двух клубков свивается двойная нить, которая становится исходным материалом для вязки — пряжей. Чтобы получить ее, тоже используется малая механизация. Бабушка крутит с помощью педали большое деревянное колесо со спицами, два клубка прыгают и вращаются в решетке, уменьшаясь в размерах. И вот она, пряжа. В этом случае моток, представляющий собой множество ниток, свернутых в большое мягкое кольцо, надевается мне на обе руки. И бабушка снова сматывает его в

клубок. Тут уж я произвожу руками широкие махания для облегчения ее трудовой операции.

— Молодец!!! — вскрикивает время от времени одобрительно бабушка. — Кошка сняется — тебе горячее яйцо!

Следующий этап — вязка. Теперь в работу вступают сияющие спицы. А через несколько дён бабушка подает новые варежки, обшитые материей: «Ев тебе, внучек, новые дьянички, а то твои совсем растрепалши». Или шерстяные носки. Или свитер.

Ах, бабушки, бабушки! И почему вы так рано уходите, оставляя внуков на всю оставшуюся жизнь без ваших варежек, носков и свитеров?

Кроме мотания ниток на меня была возложена еще одна чрезвычайно важная миссия — подметать веником пол, «шум в тюшку запахивать», как шутил великий скобарь Лев Успенский. В переводе с псковского на русский это означает «заметать сор в щель между половицами».

Конечно, делать это не разрешалось, но нами потихоньку практиковалось по причине известного удобства.

Иногда дедушка приносил домой конскую сбрую для ремонта или шорничал, к чему имел и пристрастие, и способности. (Кстати, деревенская его кликуха, как принято говорить в наши дни, была Шора.) Тогда в избе густо пахло кожей, дегтем и лошадиным потом.

Буквально на днях повстречал весьма редкую на наших улицах упряжку и передернулся от резкого запаха лошадиного пота. А помнится, каким сладким казался мне этот запах в детстве. Лошадь — любимая игрушка для деревенских ребятишек. Как сейчас трепетно любим моим внуком и его сверстниками мотоцикл, или мопед, или мотороллер. Но мотоцикл — железо. Разве может он сдержанно-радостным ржанием приветствовать, как мой Колька? Или фыркать от удовольствия, забирая мягкими губами кусочек посоленного хлеба? Или, осторожно перебирая по деревянному полу копы-

тами, прижиматься к тебе, кося большим фиолетовым глазом?

Дедушка сшивал кожу двумя цыганскими иглами, продырявив ее предварительно шилом. Всегда усаживал меня рядом и поручал зашивать самые доступные и удобные для шитья места. Шил он и щетиной. И тоже к работе привлекался я.

Дед вязал сети, плел корзины из ивовых прутьев, как, впрочем, и остальные члены нашей крестьянской общины. Когда он сотворял сети, рядом беспрерывно сидел я и вытворял сеть поменьше. Весь инструментарий — и липовый фигуристый челнок, и планку под ячейку определенной величины — дедушка делал в двух экземплярах. Мой экземпляр был размером поменьше.

С дедушкой мы ходили в лес к озеру и драли с молодых липок лыко для лаптей, а с берез он аккуратно снимал бересту. А потом плел лапти и берестяники, орудуя кочедыком¹. Лаптей мы, дедовы внуки, не носили, но зато у всех нас были берестяники — род полусапожек из бересты. В наших сырых местах с непроходимым подлеском лучшей обуви для походов за грибами и ягодами не придумаешь. Выложишь дно свежесорванной травой, засунешь ногу в носке — и вперед! Ни тебе онучей, ни тебе оборов².

К ковырянию лаптей и берестяников по причине малолетства я был не пригоден: для этого нужны были сильные руки. Кочедык по виду сбоку был схож с кельмой, только много миниатюрнее, зато сверху был узким, чтобы с его помощью способнее было переплестать между собой лыко. Мать моя все смеялась, бывало, что кочедык на деревне в былые времена — лучшее средство от запоров. «Ей-богу», — добавляла она, увидав недоверчивую улыбку соседки.

¹ Инструмент для плетения лаптей.

² Онучи — портянки; оборы (псковский говор) — бечевки или шнурки, прикрепляемые к лаптям и предназначенные для «оборачивания» поверх портянок.

А в это время в партизанском крае

Совсем недалеко от нас находился Партизанский край — целое государство, раскинувшееся на несколько десятков километров. С охраняемыми границами. И это в глубоком тылу неприятеля. Двадцать районов Псковской и Новгородской областей жили по законам советского государства. И немцы почти год ничего не могли с этим поделать. С обеих сторон были задействованы немалые силы и средства. А так как сражения носили локальный характер, то практически в течение всего 1942 года до нас доходили только отзвуки этой войны, но разговоров о партизанах было много.

Наверно, здесь сыграло роль и еще одно обстоятельство. Дело в том, что Псковской области как таковой не существовало с 1927 по 1943 год включительно. Она была поделена между Ленинградской и Калининской областями¹. Причем наш Новоржевский район по 1935 год входил в состав Ленинградской области, а в 1936 году стал частью Калининской. Я случайно обнаружил это, заглянув однажды в свидетельство о браке моих родителей и в свидетельство своего рождения.

Известно, что уже в первые дни войны действовали два могучих штаба партизанского движения — Ленинградский и Калининский. Созданные ими бригады носили, соответственно, названия Ленинградской и Калининской. У меня сложилось впечатление (если я неправ — поправьте), что до падения Партизанской республики в сентябре 1942 года и те и другие партизаны воевали главным образом в районе линии фронта, выполняя тактические задачи командования, и не так уж активно курировали «свои» территории. Наш регион, расположенный на самой их границе, своим вниманием они явно не баловали.

¹ См.: Атлас Псковской области. М., 1969. С. 40 (раздел «Формирование границ Псковской области»).

Подпольный райком, конечно, действовал, но даже историк датирует его первую акцию началом 1943 года¹. Другими сведениями, как принято говорить в таких случаях, я не располагаю.

Подразделения 16-й тыловой армии вермахта, расквартированные в наших краях, должны были обеспечить бесперебойное снабжение воюющих частей сельскохозяйственной продукцией. Поэтому на базе совхозов и колхозов в нашем районе были созданы земские дворы, в том числе и в Алтуне. Как пишет историк, «в Алтуне 350 гектаров земли обрабатывали 150 мобилизованных крестьян и беженцев»².

Земский двор

Хозяйственные немцы резво взялись за дело. В-первых, прибыли немецкие специалисты: агроном, зоотехник и механик. Все в офицерских чинах. Во-вторых, они привели в отличное состояние всю имеющуюся технику, а также привезли свою. Мать говорила, что очень хороши были плуги на колесах с регулируемой прямо во время работы глубиной вспашки. А брат Володя, сын дяди Матвея, которому доводилось пахать на них и дома и в Германии, где он батрачил последние месяцы войны, рассказывал:

– Дивьета! Я, бывало, лягу сверху на раму, отрегулирую глубину вспашки по своему весу и... пошел. Только вожжами пошевеливаю. А немец смеется: ни разу, говорит, не видал, чтобы в Германии так пахали. И не ругался, потому что пахота получалась что надо.

Немцы привезли свои семена и скотину. В селе появились битюги.

¹ Попов А. А. Новоржев. Л., 1977. С. 112.

² Там же. С. 110.

В оранжерее, где под стеклянной кровлей и при одной стеклянной же стене произрастал виноград, стали выращивать парниковые огурцы, такие длинные, что под каждый из них подкладывали дощечку. Я это знаю точно: в оранжерее работала мама, и я проводил там немало времени. Такие огурцы стали обычными у нас только в 60-е годы.

Хотелось бы оговориться, что описанное выше — не результат научных изысканий, а личные воспоминания детства, дополненные и подправленные в последующие годы матерью, родней и земляками.

Очень много при немцах выращивали гороху. Это я помню, потому что много раз вползал со сверстниками на поле на животе в пору его созревания. А вползали мы потому, что горох тщательно охранялся как немецкими солдатами, так и нашими родными сторожами.

Почему-то я почти уверен, что в ту пору на земском дворе выращивали даже артишоки. Ну помнятся мне прохладные розоватые шары с толстыми мясистыми листьями, и все. Их еще обвязывали нитками перед тем, как опустить в кипяток.

Одним словом, немцы быстро привели хозяйство в отличное состояние. И это, как говорится, факт, против которого не попрешь.

Естественно, оккупанты организовали управы с полицаями, волостные управления во главе со старшинами, в деревнях были назначены старосты.

Полицаев что-то у нас не водилось, они обретались в Вехно и к нам почти не заглядывали. А староста у нас скоро появился. Это был Васька Пупышок. В недавнем прошлом известный на деревне советский работник. В Алтуне он долго состоял секретарем сельсовета, а перед войной как перспективный работник был переведен районными властями председателем какого-то недалекого сельсовета. Так что ему сам Бог велел стать нашим старостой. Немцы, конечно, знали, что он член ВКП(б), но, по-видимому, их это нисколько не смущало.

Деревенское прозвище он получил смолоду, и не только за малый рост. Так говорил мой отец, участник детских забав великого Пупышка, потому что они были одногодками и произрастали в одной деревне.

После Пупышка, безвременно от нас ушедшего, был еще один староста. И с тем и с другим связаны яркие эпизоды моей начинавшейся биографии. Только относятся они к 1943 году.

...Где-то в конце 80-х годов Василий Михайлович Песков¹ побывал в наших местах. Он прошел на лодке по Сороти от Пушкинского заповедника до верховьев реки. И написал об этом серию очерков. У него есть замечательная фраза, которую я привожу по памяти. Везде, где я был, писал он, все жалуются, что рыбы в водоемах становится все меньше и меньше. А вот на Псковщине всегда было много всякой рыбы, и меньше ее не стало.

Об этом многократно рассказывал отец, большой охотник и до рыбы, и до рыбалки. Я не унаследовал его страсти рыбачить, но охотно отказался бы от мяса ради рыбы. Юность отца прошла на хуторе рядом с озером и на берегу двух канав, сиречь каналов, соединяющих наше озеро с двумя другими.

— Бывало, — вспоминал он, — мама говорит нам — мне и брату: мальцы, что-то рыбки захотелось. Мы хватя за сак и ботало — и на канаву. Мигом ведро притащим.

Естественно, немцы не могли пройти мимо такого богатства и создали бригаду рыбаков, которая приступила к работе уже в первую же зиму. Рыбаки облавливали наше и окрестные озера, которых было несколько.

Во льду Алтунского озера рыбаки сделали две большие квадратные проруби. В одну запускалась большая сеть, а из другой она вытаскивалась. Как они это делали,

¹ Песков В. Тихоструйная Сороть // Комсомольская правда. 1982. 31 июля.

я не знаю. Тащили сеть лошади. Помню, что сеть наматывалась на бочку.

Рыбы вылавливали много. Целые горы красноперки, плотвы, линей и лещей судорожно дергались на снегу. С каждой минутой трепыхания становились все более вялыми, пока рыбины не превращались в ледышки.

Очень много было снетка. Его вылавливали специальной мелкочаеистой сетью. Снеток водился во всех наших озерах. Не знаю, ловится ли сейчас. Его солили и вялили. И только в таком виде употребляли. Хотя и уха из этого самого мелкого сига была, наверно, отменной. Сушили впрок много и всякой другой рыбы.

Самой любимой скобарями рыбой был и остается, конечно, снеток. Надо сказать, в любой избе водился и снеток, и сущик, как называли сушеную рыбу. Холодный суп из сущика со сметаной — объедение, «в каво рот большой», как говаривала бабушка.

А снеток совали всюду. Запекали в картофельное пюре, в тесто, клали в щи, ели так. А самым ходовым блюдом в нашей семье было вот что. В большую чашку — на всех — клали квашеную капусту, заливали ее холодной водой, добавляли репчатый лук, снеток и постное масло, а потом, подсолив, размешивали. Ели все это ложками, прикусывая горячей рассыпчатой картошкой и хлебом.

Был еще один способ добычи рыбы, а точнее щуки, широко применявшийся. Ее лучили и били острой вскоре после таяния льда, когда у нее начинается нерест.

Ванюшкин хутор располагался рядом с канавой, и дедушка, когда смеркалось, исчезал, аки тать в ночи, с острой на плече. А бывало это где-то в марте. Однажды он принес три огромные щуки и взволнованно-радостно рассказывал:

— Веришь, Дунь, зажигаю смольё, а на самом мелком месте стоят три щуки. Тут я их и взял! Эх, мать честная!

Печной сиделец

...Как-то вечерком, когда мы отужинали и при свете лучины вели тихие семейные беседы, в окно постучали.

— Кого-то Бог несет? А может, черт? — спросила бабушка.

Мать пошла в сени и загремела засовом. Из-за двери раздался удивленный возглас, молодой мужской голос, поцелуи. Все удивились, но тут дверь распахнулась, и на пороге показался неизвестный дядя — с черной из-за бороды физиономией, в каком-то рванье и с драной шапкой на голове, которую он поспешно снял. Видно, хотел выглядеть жалким и неприметным.

— Мить, ты? — в один голос спросили дед и баба.

Незнакомец оказался мужем тети Оли, жившей в Ленинграде. Это у них перед замужеством жила моя мама, но, не пожелав стать, как тетя, прачкой, вернулась в родную деревню.

Дядя Митя имел чрезвычайно необычную для наших мест внешность: у него были черные, как смоль, кудрявые волосы, яркие черные глаза, очень смуглый цвет лица. Он был красив какой-то незнакомой красотой. «Ну, вылитый яврей», — заявляли впервые увидавшие его скобари. Но дядя Митя был чистокровный украинец, сызмальства живший в Ленинграде. Он попал в плен, а потом в концлагерь где-то неподалеку. Какая-то женщина выкупила его у охраны за хлеб, самогонку и сало, что не было чем-то необычным. Пожив какое-то время у нее, он подался к теще с тестем, т. е. к нам. Наверно, не подумал, что любой встречный с первого взгляда узнает в нем чужака да и в большом селе, где он бывал до войны, не могло не быть немцев.

И вот он сидит за большим столом и энергично поедает горячие щи и закусывает холодным салом и рассказывает притихшей компании о своих злоключениях. С уст у всех не сходят имена тети Оли и маленького Славки. Но информации — никакой, кроме того, что они остались в

блокадном Ленинграде. Надо отметить, что многие землячки с детьми успели покинуть Ленинград до блокады и приехать в родные деревни. Уже взрослым я навещал в Ленинграде дальнюю родню по отцовской линии — его многочисленных двоюродных сестер с многочисленным же потомством и с удивлением узнал, что все они в начале войны дружно рванули на родину и всю оккупацию прожили по соседству со мной.

...Дядя Митя обосновался за глухой занавеской на печке. Молодой здоровый мужик целыми днями лежал на печке и на улицу выходил только ночью. О его присутствии на хуторе никто не должен был знать. Во избежание утечки информации число посетителей хутора было сведено к минимуму, т. е. к нам. На беспрепятственные и нелимитированные набеги внуков к деду и бабке был наложен запрет. Мы все превратились в недремлющий караул. При приближении к хутору случайных лиц Митрий, как уж, ускользал в подпол.

Это продолжалось несколько месяцев.

Конечно, положение блок-поста с постоянным страхом провала с непредсказуемыми последствиями для всей семьи отравляло наше существование. Да и деревня — не город. Пукнешь на одном конце, а на другом уже знают, что у тебя было на ужин.

Невероятная стойкость сидельца на печке раздражала еще и потому, что в каждой семье были воюющие солдаты, те же, кого не успели отмотилизовать, уходили в партизаны или собирались сделать это при случае. Нашему герою такие настроения были, видно, чужды, поэтому слово «шкура» быстро прилипло к нему. Очень скоро я стал люто его ненавидеть. Мне почему-то все рисовался мой очкастый отец, такой всегда веселый и родной, а теперь тяжело раненный, в холодном заснеженном окопе, тогда как эта «шкура»...

Я начал обзывать дядю Митю грязными словами. При чем унять меня не могли, а скорее всего, не хотели. Я придумал гнусный стишок о двух строках, где слово

«еврей» рифмовался со словом «погрей», и без конца, идиотничая, на все лады повторял его. Когда он, пугливо озираясь, в потемках выходил в огород, я кидался в него всем, что попадалось под руку, грозился, что всем про него расскажу. А он трусливо передо мной, сопляком, заискивал, прибавляя к моему имени сразу по несколько ласкательно-уменьшительных суффиксов, и, наверно, прилипал со страху к кирпичам у себя за занавеской.

Наконец, однажды он исчез. И опять на чью-то печь в недалёкую деревню, куда взяла его в приймаки какая-то одинокая баба. Что было с ним дальше, не знаю. Но где-то в конце 80-х годов, когда я гостил на родине, мне стало известно, что наш постоялец жив и здоров и безбедно проживает в Ленинграде. Тетя Оля и Слава погибли во время блокады.

«Давайте говорить, чаво будем варить...»

Каждое утро, когда только старые да малые оставались дома, бабушка неизменно обращалась к нам со словами:

– Давайте говорить, чаво будем варить...

Малых в нашем доме в это время было двое: я и Светка — дочка тети Клавы. Они жили в Ругодево, километрах в двадцати от нас, и тетя привезла ее погостить к нам, потому что Светку, которая была младше меня на полтора года, не с кем было оставить: дядя Вася, Светкин отец, был в армии.

Нам со Светкой всегда надо было «яешенку». Это были тщательно размешанные в молоке с помощью вересовой (можжевеловой) мутовки яйца. Взбитая масса наливалась до верху в высокую чашку и ставилась в печку. Вытащенная из печки «яешня» чудна на вкус, а на вид еще замечательней: подернутая нежной пленкой самых теплых тонов — от желтого до коричневого. Пленка легко

снималась, обнажая нежную желтую массу, и делилась между участниками трапезы.

Делилась она на троих, потому что к нам приходила, как в детский сад, другая моя кузина — Галя, дочь дяди Вани, который тоже воевал. Мы с ней были одногодками. Так мы троицей и сотрудничали: ссорились, мирились, играли под неусыпным бдением бабушки, которая, кстати, была скорой на руку и чуть что — мигом отделявала виновника, если у того не срабатывала вторая сигнальная система.

Как сейчас слышу доносительный девчачий визг:

— Баушка, а чаво Борька фильки вставляя?!

Так болезненно сестрицы реагируют на мои безмолвные, но энергичные фиги.

У бабушки был богатейший опыт воспитания, ведь она родила и вырастила одиннадцать детей: троих сыновей и восьмерых дочек. А внуков у нее было двадцать восемь! Причем два старших внука были одногодками с тетей Ниной. Но любовь к внукам настолько превосходила ее строгость, что ее шлепки, порой весьма тяжеловесные, воспринимались нами без всякой обиды. А если обида все-таки была, то, выдержав паузу, бабушка подходила к обиженному и говорила: «"Федул, чего губы надул?" — "Кафтан прожег". — "А велика ли дыра-то?" — "Один воротник остался"». Ну разве можно было сердиться на бабушку?

Написал эти строчки и вспомнил вторую свою бабушку, отцову мать. Меня она не любила, как не любила мою мать и всю материну родню — Шоринскую породу. Баба Настя была очень маленькой и худенькой. Она всегда была крайне серьезной и крикливой. Однако в моей памяти осталась доброй, но вздорной чудачкой. Так вот она, осердясь на внуков, резко форсировала звук: «Как дам по сусалам, так в стенку вязнешь!» Но было не страшно, и мы спрашивали ее: «Бабушка, а что такое сусалы?» — «А это губы значит, внучек», — мгновенно успокоившись, объясняла она.

...Было у нас с Веткой и Галькой одно любимое занятие. Идя навстречу нашим пожеланиям, бабушка брала три бутылки, наливала в них сливки, плотно закупоривала и вручала каждому по бутылке. И вот мы ходили по избе, делали круги, трясясь вместе с бутылками. Продолжалось это довольно долго. Наконец, в бутылке появлялся комок масла. Но мы продолжали трястись. До тех пор, пока бабушка, глянув строгим взглядом эксперта сквозь мутное стекло, не произносила: «Шабаш!» Мы прекращали изрядно надоевшую тряску и вытряхивали в чашки заветные призы.

— Что, потешили красуху? — посмеивалась бабушка, довольная тем, что мы и дело сделали, и подустали основательно.

И начиналась «перехватка». Мы намазывали масло на хлеб, присыпали его сверху солью и с удовольствием уминали бутерброды, запивая вкусным кисловатым подызматьем, пахтой¹.

С удовольствием вспоминаю другие «детские» блюда, с которыми навсегда расстался, уехав после оккупации из родного села. Например, цветную капусту, отваренную в молоке, молочный суп с клецками из тертой сырой картошки, тыквенную кашу, тыквенные же оладьи, оладьи из сырой картошки, пареную репу, которую я не любил не только за вкус, но и за то, что зубы сразу же проваливались в ее податливую мякоть. Очень любили мы, дети, сахарную свеклу. Наверно, потому, что это была, по сути, единственная доступная нам сладость. Вареную свеклу мы с удовольствием ели с хлебом, а нарезанную соломкой и высушенную в русской печи постоянно таскали в карманах как леденцы. Иногда в доме появлялся сахарин. Но маленькие синевато-белые таблетки, которые при встрече с водой краснели, воспринимались всеми не

¹ Один из двух конечных продуктов сбивания (пахтания, как пишет С. Ожегов) масла из сливок или сметаны (по-псковски — подызматье).

очень дружелюбно, да и сладость от них была какой-то странной, агрессивной.

Если бабушка затевала выпечку хлеба, тесто она замешивала с вечера в небольшой кадучке. А поутру, когда опара норовила покинуть дежу, хозяйка заступала на хлебопекарную вахту. К этому времени печь «прогорала», пицца была готова, чугуны со щами и картошкой были выдвинуты из печки на шесток. Сам под, т. е. пол замкнутого объема печи, чистился, угли, красные от перенасыщающей их тепловой энергии, сдвигались к краям. Бабушка делала из теста круглые караваи, укладывала их на сырые капустные листья и на деревянной лопате засовывала в печь. После чего устье печки закрывалось жестяной заслонкой с ручкой посередке. Потом она приступала к ваянию из того же теста больших лепешек, клала их на противень и, отодвинув заслонку, ставила на под.

Лепешки доходили быстро. Она выдергивала противень, ножом прорубала вспучившуюся корку, которая, выпустив пар, оседала, и бросала лепешки на стол. За столом амфитеатром сидели внуки и с вожделием голодных котов наблюдали за бабушкиными манипуляциями. Перед нами стояли кружки с молоком, и бабушка, помазав верх лепешек кусочком сливочного масла, с ловкостью фокусника метала их к каждой кружке. Кружек, как и внуков, могло быть много больше обычной тройки.

От кислого теста сводило скулы, лепешки были раскаленные, в тесте конфузливо торчали крупные включения картошки, но ничто не могло помешать энтузиазму, с которым мы их поедали.

А вытащенные хлеба плотно закрывались полотенцем и долго млели, доходя до кондиции (по-псковски, модели).

Наконец, на обед с морозу приходили работники. Запах горячего хлеба приятно возбуждал и радовал их. В доме воцарялась атмосфера праздника.

— Щи — хоть портянки полощи, — самокритично, но не без довольства произносила бабушка, провоцируя похва-

лу и одновременно наливая похлебку в большую общую глиняную миску.

— А горячие — ня нять! — довольно говорил дедушка.

Каждый подхватывал деревянной ложкой хлебово и, подставив под нее хлеб, бережно нес ко рту. Мясо в миске плавало безбоязненно, всяк деликатно отталкивал его от себя ложкой: оно делилось и поедалось последним.

Помню, как мне было смешно, когда один гость, энергично вихря щи, подгонял мясо к себе и выхватывал его из миски, опережая события. За такие противоправные действия наш добрейший дедушка Дмитрий Васильевич, ревностно блюдя традиции, крепко бил внуков ложкой по лбу.

После щей дед, согласно этикету тщательно шлифуя языком ложку, неизменно с удовлетворением произносил:

— За такие щи в Москве в базарный день дают кобылу с жеребенком.

Если его посещала сытая отрыжка, добавлял:

— Серость выходит, скоро барином буду!

А вообще дедушка обожал и щи, и суп, прокисшие до гнилостных пузырей. Я в то время разделял его вкусы. Для меня до сих пор остается загадкой, почему поедание такой пищи не оказывало пагубного воздействия на все последующие в кишечно-желудочном тракте процессы.

В большом почете в нашем доме был горох. Постоянно варили из нелущеного гороха суп, горошницу — густую кашу. Ее резали на порции, приправляли луком и поливали постным маслом. Дежурным блюдом были гороховые блины, зеленого цвета и ломкие. Но вкусные.

Естественно, основным продуктом питания была картошка. Все остальное было вокруг нее или для нее. То же толокно, похлебка из капусты с водой и сметком, шкварки на сковородке. Картошку разминали, смешивали с капустой и луком, а потом добавляли постное масло. Картошку заливали настоящим солодовым квасом и употребляли с луком и сметаной. Было еще первое блюдо с двусмыс-

ленным наименованием — «синемудка». Это когда в картошку с водой, в которой она варилась, добавляли опять же лук и сметану. Или тюрю — в ошпаренные кипятком сухари (для размягчения, надо полагать) добавлялись, сами понимаете, те же лук и постное масло или сметана. Ели тюрю и с молоком — обычный хлеб заливали молоком и хлебали ложкой.

До недавних еще пор на каждом приусадебном участке в наших краях выращивалась полоска жита, то бишь ячменя. Цельное зерно шло на ячневую кашу. Этой каши во время войны мы ели много. А овсяной кисель, который тоже был дежурным блюдом? Можно сказать, друг детства. Он был густ, как холодец, и так же дрожал от прикосновения. Эту богатырскую еду хлебали ложкой и запивали молоком. И эту богатырскую еду я никогда больше не едал. А жаль! Думаю, если бы англичанам был известен рецепт приготовления овсяного киселя, они давно отказались бы от своего порриджа в его пользу.

Мяса было мало: мы жили в отдельном доме, при котором были хлев и грядки, временно. Да и деревенские жили не густо: существовал план поставок сельхозпродуктов рейху для нужд немецкой армии, и он, надо думать, худо-бедно выполнялся, опустошая крестьянские закрома и кладовки. Да и могучее партизанское движение, охватившее оккупированный Северо-Запад, не могло существовать без крестьянской поддержки: партизаны не сеяли, не пахали и скот не разводили. Так что если описанное мною состояние дел по пищевому довольствию скорректировать по качеству и количеству, получится не так уж густо. Хотя при корове да при грядке, знамо дело, любые невзгоды преодолеть легче.

У меня под рукой есть цифры и факты, но я не хочу писать о том, чего не знаю, а к книгам, вышедшим в свет ранее 1991 года, доверия никакого.

А знаю я со слов тети, что каждый работник земского двора получал на себя и на каждого члена своей семьи по одной мерке ржи (18,9 кг) в месяц и по одному ли-

тру молока ежедневно, не считая остальных продуктов. Даже если тетя что-то напутала, то вот эмоционально-неколичественная информация от моей матери:

– При земском дворе, пока его не разогнали партизаны, жили хорошо. Немцы так платили за работу, как при колхозе не снилось.

Особенно после войны, когда за каждый трудодень давали по палочке в тетрадке бригадира.

Наверно, немцам, не знакомым с нормами жизни в социалистическом государстве, было невдомек, что за работу с утра до вечера круглый год можно расплачиваться почетными грамотами и публичным оглашением трудовых свершений в виде количества трудодней с неясной перспективой их оплаты.

Впервые после войны я приехал на родину в 1952 году и остановился у тети в Канашовке. Однажды к нам зашел бригадир. И сразу же после его ухода тетя вдруг страшно засуетилась и, подхватив котомку, куда-то умчалась.

– Куда это она, дядя Матвей? — удивился я.

– Да машина сейчас в Новоржев пойдет, так она на базар. Надо яиц купить: завтра за налогом придут.

А когда меня просветили, что налог в деревне берут даже за каждую яблоню, я сначала не поверил: до такой степени это отличалось от моего книжного представления о счастливой стране, а потом испытал настоящее потрясение. Мне кажется, именно с этого события начинается отсчет моего недоверчивого отношения к лапше, которую вешали на уши каждому «юноше, обдумывающему житье».

Долгожданная весна

Весна, напуганная мартовскими холодами, робко давала о себе знать. Ясное небо было холодным и чужим. Но солнце слепило глаза.

На склонах, обращенных к югу, снег стремительно таял, превращаясь по вечерам в острые, как бритва, щетки. У южной стенки сарая образовалась большая дымящаяся в полдень прогалина. Здесь, на весеннем солнышке, греются наши домашние животные. Удовлетворенно вздыхая, лежит, прислонясь к стенке, корова. Она манерно жует свою жвачку. К ее животу прижался Дружок и щурит добрые желтые глаза. На коровьей спине блаженствует кот. А рядом, под стеной, где земля подсохла, в малой толике песочка трепыхаются, освобождаясь от паразитов, куры. Бабушка выходит к скотине и, сунув руку под фартук, что-то рассыпает на куриц.

— А вот я вам пясточку известки подсыплю, — приговаривает она и шевелит пальцами, освобождаясь от угощения. — А то шкарлупы в яйцах пачки-што ня стало. Иншие и вовсе без шкарлупки.

Курицы бросаются было на известку, но быстро теряют к ней интерес и снова самозабвенно ныряют в пыль. Однако время от времени они, будто нечаянно, склевывают и галечку, и известку и, должно быть, очень довольны. Иногда какая-нибудь из кур норовит взобраться на корову, но пес ревнив, как Отелло. Он начинает лаять и даже привстает, делая вид, что сейчас бросится на нахалку. Это действует... Тут же крутятся шумливые воробьи. В надежде, что им чего-нибудь перепадет. Они тоже с удовольствием купаются в пыли.

На солнцепеке даже жарко. Но стоит зайти за угол, как мороз сурово хватает за уши. Вот вам и весна!

Пришел апрель. Ах, какой славный это месяц! И не только потому, что я в нем родился. Снег сошел. Земля стремительно сохнет, а на припеке начинает зеленеть трава, пузырятся скомканными листьями будущие лопухи. Нежно зеленеют первые побеги стрякивы, т. е. крапивы. А меж ними суетятся пробудившиеся сикляхи — муравьи. Гудят шмели. И всюду можно увидеть красновато-черных популяшек — бабочек-репейниц, выписывающих в воздухе замысловатые кренделя.

Прилетели пестрые скворцы, грачи с солидными желтыми носами. С каждым днем все громче звенят птичьими голосами лес и парки. Самые громкоголосые — зяблик и малиновка, особенно зяблик, неустанно повторяющий свою хоть и замысловатую, но короткую партию. На все село ссорятся дрозды. Гости ухитряются перекричать даже непрерывно галдящих галок.

Над полем, опираясь на мощные звуки весенней песни, трепещет жаворонок. Его непросто разглядеть в сверкающем небе, но прикроешь глаза ладошкой, покрутишь головой — и вот он, маленькая живая точка на небе.

В селе непрерывное движение. Мужики что-то озабоченно возят на телегах: туда-сюда, туда-сюда. Снуют хлопотливые бабы, по-рабочему обвязавшие лица светлыми платками. Энергичнее обычного маршируют серые шеренги солдат. Они то занимаются боевой подготовкой, то, вооруженные лопатами и граблями, отправляются на хозяйственные работы.

Идет Великий пост. Но в нашей семье никто не постится. Думаю, и в остальных тоже. Зато бабушка каждый раз перед тем, как приступить к скоромному, не устает, крестясь, повторять: «Ох, грех-то какой! Прости нас, Пресвятая Богородица!»

Чем ближе Пасха, тем больше бабушка чудит. Лампадка перед иконой чадит непрерывно. Перед сном, когда мы уже затаились на своих ложах, она падает на колени и истово крестится, чуть не колотя лбом об пол от тщания. Молитв бабушка категорически не знает, потому что, поднапрягши уши, можно услышать без конца повторяющееся: «Прости наши прегрешения, Христе Боже наш! Аминь!»

И это без конца. Поминает она и воинов, прося защиты у Заступницы. Но рефрен не меняется и составляет львиную долю ее молитв.

С начала войны народ, с молчаливого согласия или даже при активном участии которого большевики яростно крушили православие, кинулся за помощью к Богу. Люди

надели кресты, вспомнили «Отче наш», отыскиали иконы и по воскресеньям Христовым стали набиваться в заброшенные еще недавно Божьи храмы. Благо все это отступничество стало недостижимым для сурового коммунистического надзора.

Новообращенные граждане Третьего рейха, а особенно гражданки, обратили свои взоры не только к Христу. Они кинулись к гадалкам, которых сразу объявился легион. Они схватились за карты, стали заглядывать в будущее и в недоступное настоящее всеми возможными способами. Всем хотелось узнать, что нас ждет, как они, наши, там, на фронте. Живы ли, здоровы ли?

Появились ясновидящие, известные на всю округу. Помню, как целая толпа алтунских женщин ездила на дровнях к какой-то Марье верст за двадцать. И после возвращения, когда было обговорено в подробностях все, изреченное прорицательницей, помню, было сделано такое вот добродушно-ироническое резюме:

— Марья — баба хорошая: ничего худого не скажет. Для такой и шмата сала не жалко.

Христос воскрес!

Мы, дети, толпой отправляемся к озеру ломать вербу — Вербная суббота. Ломаем краснотал и чернотал. Их веточки блестят, будто покрытые красным и черным лаком. На них особенно красиво смотрятся пушистые белоснежные почки. Дома ветки ставят в воду и украшают ими икону, и они долго освещают мрачноватую избу ласковым сияньем.

По дороге домой мы небожно хлещем друг друга вербой и приговариваем: «Верба хлест — бьет до слез». Считалось, что это хорошо для здоровья, и что дети после такой щадящей экзекуции растут быстрее и становятся сильнее.

Вспоминаются трепетно ожидаемые жаворонки — выпеченные бабушкой из теста подобия птиц. И, конечно, крашенные яйца. Были они, как правило, трех цветов: золотисто-желтого, синего с красноватым отливом (лилового) и красного. Красителями были соответственно луковая шелуха, «фимический» карандаш и красная свекла, кажется. Так как «фимические» сильно пачкали, я предпочитал с ними не связываться.

Кажется, именно тогда бабушка водила меня в Вехнянскую церковь на службу. Издали церковь была частью привычного пейзажа, и не было в ней ничего ни необычного, ни загадочного. Но, войдя внутрь, я перепугался. Теплая духота была пронизана запахом то ли сосны, то ли можжевельника. Из-за тесноты было не протолкаться. Устремленный вверх свод и все кругом сверкало и переливалось. Отовсюду смотрели строгие лики. Поп в золоченой, стоявшей колом одежде не походил на человека. Он пел и ожесточенно махал кадилом. Люди, казалось, тоже были перепуганы и торопливо крестились. Многие стояли на коленях. Все вразнобой подпевали попу, но разобратить можно было лишь «аллилуйя» и «аминь».

Станным образом мы медленно, но верно приближались к попу. Он совал к лицам большой серебряный крест, его целовали, а потом поп причащал и благословлял, осеняя крестом.

Я отлично видел, что крест целовали беззубые со сморщенными синими губами старухи и старики, и очень не хотел повторять ритуал. Но бабушка, угадав мое намерение, сердито ткнула сзади, и я, с трудом преодолевая отвращение, поцеловал крест. А причастие мне понравилось — ложечка темно-красной жидкости с ягодкой посередине.

Бабушка сунула попу — что и было, собственно, основной причиной похода в церковь — две бумажки: «За упокой» и «За здравие» с длинными списками имен родственников.

Как было хорошо и уютно на улице!

Идем по залитому солнцем и наполненному птичьим щебетом лесу. В руке кондитерское изделие из темного теста, очень плотное.

Просвирка, как объяснила бабушка. Я все хочу ее выкинуть, но боюсь. Есть все равно не буду — это же тело, хоть и Христово.

В церковь бабушка водила нас еще не один раз. Но первое впечатление определило мое отношение к церкви как к странному помещению, где человеку не может быть хорошо среди необъяснимой роскоши, раззолоченных святых с чуждыми отрешенными ликами и в обществе священника, зачем-то разодетого в странные одежды.

Я отнюдь не противник религии вообще и православия в частности.

Скорее наоборот. Но все мои попытки понять величие вечных книг не увенчались успехом. Я, должно быть, до них не дорос. А искренняя вера великих людей — и прошлого, и настоящего — вызывает у меня завистливое недоумение.

Зримой и осязаемой памятью о моих контактах с церковью в годы оккупации стала убого изданная брошюра, которая в данный момент лежит на моем столе. Это «Молитвенник» с обтрепанной обложкой из той же бумаги, что и остальное издание. Тексты набраны корпусом, но шрифты будто из дореволюционной типографии — с ерами и ятями. На обложке внизу — аккуратное чернильное пятно в виде прямоугольника. Чернила выцвели от времени и под ними легко читается: «Издатель: Управление Православной Миссии в освобожденных областях России. 1942 г.».

...Просыпаюсь от грохота ведра в сенцах. Истошно кричит курица, возвещая мир о снесенном яйце. После невразумительного мычания корова внятно, с придыханием, трижды трубит бабушке: «Хочу есть!!!» «Сейчас, Зоренька, сейчас, хорошая моя», — ласково приговаривает бабушка и заходит в избу взять теплое пойло. Комната, как шкатулка, набита солнечным светом.

Сегодня светлое Христово Воскресение! На улице — настоящее лето. Меня обряжают по-праздничному, как в Спас, и мы всем семейством отправляемся в гости. Дорога еще покрыта жидким слоем грязи, но там, где уже прошло много ног, образовалась пунктирная тропка.

Идти по ней можно, время от времени останавливаясь и, выбрав, где посуше, либо широко шагнуть, либо прыгнуть. Мне очень дороги сандалии с широкими рантами, в которых ноги прекрасны, как гусиные лапы, и я совершаю, на мой взгляд, удалые прыжки. На руке — часы с нарисованным циферблатом, а в карманах — крашенные яйца. Я очень нравлюсь себе сегодня, и я горд.

В обоих коммуналках — белом и красном домах — дым стоит коромыслом. Наш приход в белый дом вызывает заметное оживление: «Ага, помещики пришли!» Все шутят, смеются и, конечно, христосуются. В комнате, где живет дядя Антон с семьей, накрыт стол. Здесь и будет праздник. Дядя Антон дарит мне «яечко», и оно не простое, а с секретом.

— Бяри, сынок, это твой дядюшка сам снесся, — говорит тетя Нюша, и все смеются.

Я чувствую подвох, и мне это не нравится. В чем дело? А секрет, оказывается, в том, что яйцо деревянное, но дядя Антон так расстарался, что его не отличишь от настоящего. Смысл такой самодеятельности прост. В наших деревнях заведено, что в Пасху крашеными яйцами бьются. Кокнулись мы, к примеру, с Лелькой, а у него яйцо возьми и разбейся. Значит оно мое. И пошло: я деревянным яйцом крушу любые другие, и моя торба заполняется разноцветными яйцами односельчан.

Но такой обман, пусть даже понарошку, мне не нравится. Я не хочу обманывать никого. Это нехорошо.

— Так ты разбей, — говорит дедушка, — а яйцо не бери. Скажи, пусть едят сами.

Я устремляюсь на улицу, откуда доносится детский гомон. Успех полный! Но почему-то все быстро догадыва-

ются, что дело — не бело, и начинают обследовать мое яйцо со всех сторон. Обман обнаруживается к великой радости ребятишек.

Что посеешь, то и пожнешь

Вспоминается такая картинка. Мы с дедушкой присели под дубом у дороги, ведущей в село. Слева виден большак, а подальше на нем, как на ниточке, — деревня Литово. По большаку нет-нет да и промчится, поспешая, машина, медленно ползут конные повозки, в основном это телеги. Но бывают и шарабаны — устаревший аналог персональной легковой машины. В шарабанах перемещают свои зады какое-то мелкое начальство либо полицаи. Шарабаны не для крестьян.

Прямо перед нами пашня. Она занимает большую ложбину. Дальше — кустарник. А на горизонте — гора Поклонная. На пашне колышками обозначен наш участок. Нам предстоит засеять его рожью. Дедушка достает из котомки решето, две бутылки с молоком по числу работников, краюху хлеба. Из мешка в решето пересыпает зерна. На ногах у дедушки — лапти, хоть в обиходе они и не в ходу. «В лаптях способнее», — говорит дедушка.

Рожь, которая вырастет здесь, будет нашей.

Дедушка надевает на шею петлю, привязанную к решету, и, проваливаясь в мягкую землю, выходит на поле. Он захватывает пястью зерно и широким веером разбрасывает его по земле. «Хе-хе-хе, — норовя обрести ритм в работе, кричит он. — Давненько таким-то манером мы не сеяли».

Когда решето пустеет, он возвращается ко мне, под сень дуба, и снова наполняет его серыми матовыми зернами. Потом мы попиваем с ним молоко («Лиха беда начало»). А над нами голубеет небо, и во все горло гремит жаворонок. А по пахоте гуляют грачи.

А происходило это действие скорее всего на Георгия Хлебопашца, т. е. в первых числах мая. Если верить «Народному месяцеслову».

Летние забавы

...Наступило лето. И опять у колодца нежно заголубели незабудки. Пышно отцвела душистая сирень, расросшаяся вдоль дороги на кладбище под липами и тополями. У нашего дома распустились розы, несколько больших темно-зеленых кустов покрылись цветами. Особенно хороши были полураспустившиеся бутоны, будто сделанные из воска. Их едва уловимый аромат всегда со мной: стоит лишь прикрыть глаза.

В деревнях зацвел любимейший скобарями жасмин, источая энергичный сладкий запах. Как тут не припомнить, кстати, еще два цветка, правда комнатных, без которых испокон веку на святой Руси не обходилась ни одна изба: ваньку мокрого и герань¹. Герань служила мощным заслоном против всякой микрозаразы, а ванька мокрый — бюро прогнозов погоды.

Одним из всегдашних развлечений была у нас ловля голубей. Их великое множество обитало на просторном чердаке огромного сарая из камня-валуна. Сарай расположен рядом с озером, но с нашего хутора отлично видна его черепичная крыша, возвышающаяся над купами деревьев. У сарая уникальный потолок. Он выложен из кирпича, а потому состоит из нескольких куполов, над которыми положены мощные балки. Балки — основа для целого леса стропил, скрепленных скобами и болтами.

¹ Ванька мокрый — бальзамин (*греч.* balsamine). Такое имя цветок получил за капельки сахаристой жидкости по краю листа. Герань (*лат.* pelargonium) — самое популярное растение среди комнатных, садовых и парковых культур.

Над сводчатым потолком передвигаться по балкам затруднительно. Оттого-то чердак заполнен гулким воркованием, хлопанием крыльев и основательно оштукатурен голубиным пометом.

Голубей — сотни. Они достают корм по всей округе. И, конечно, целые дни безбоязненно прогуливаются перед нашими окнами, разделяя трапезу «с курями», приобщаясь к коровьему и пороссячьему рациону, а также не без оснований уповая на бабушкины «гуманитарные» акции.

Не помню, кто нас надоумил, но мы с азартом принялись за охоту. Технология ловли была проста. Мы клали большую ивовую корзинку на землю, потом приподнимали один ее край и ставили его на рогатку — небольшую палочку с развилкой на конце. К рогатке привязывали длинную бечевку и тянули ее к двери в сени. Под приподнятую корзину насыпали корм — зерно, крошки. Потом забежали в сени и закрывали дверь. Через щели в двери было отлично видно, что творится у корзины и под ней.

Воробьи шмыгали под корзину незамедлительно, а голуби, попав под ее тень, мялись, нерешительно перебирали лапками и крутили головами. Мы переставали дышать, и тогда голуби ступали под корзину.

Но одного-двух голубей нам было мало. Мы хотели «впоймать» много.

И тут начиналась борьба за бечевку. Наконец, рогатка отлетала в сторону, корзинка падала на землю, голуби веером, испуганно хлопая крыльями, разлетались, кроме тех, что в ловушке, а мы, толкая друг друга, неслись к корзинке.

Чаще всего нашими пленниками оказывались два-три голубя. Воробьи успевали улизнуть. Мы осторожно доставали птиц, и начинался длительный процесс изучения голубей. Потом мы их отпускали, и охота продолжалась, потому что птицы зла долго не держали.

Не могу уразуметь, почему мы отпускали этих крупных здоровых птиц, совсем не похожих на городских задохликов, завсегдаев мусорных свалок и контейнеров.

Самолеты с планерами и «рамы»

В небе над нами зачастили немецкие самолеты с планерами на прицепе. Они летели на север. Все знали, что планерами перевозили солдат. А на север, значит, в сторону Ленинграда. Что там происходило? Как наши? Это стало темой постоянных пересудов на посиделках в Алтуне. Гадали, рассуждали, прикидывали. Никаких других источников информации, кроме пролетающих самолетов, не было.

Иногда назойливо крутилась «рама» — самолет-разведчик. И это опять вызывало всеобщее недоумение и догадки.

Мы не могли знать, что в это самое время защитники Партизанского края вели кровопролитные бои с наседавшими войсками генерал-майора Шпеймана¹ и что по приказу руководства партизанские отряды тайком покидали край, оставив невеликие силы, которые приняли весь огонь на себя. А отряды передислоцировались на «новые места», чтобы, оправившись от потерь и залечив раны, возобновить борьбу с оккупантами. Вот этих, уходящих, наверно, и высматривали с «рамы».

«Новым местом» был и наш район.

Тряпичный мяч

Одним из любимейших занятий детворы было гоняние мячика. Мальчишки все время что-то пинали, а вот что именно — не вспомню. По-моему, что-то тряпичное.

В ходу были и мячи из бычьего пузыря. Такой мяч долго разминали, натирали золой, растягивали. Делал это брат-

¹ См.: Партизанское движение в Ленинградской области (1941–1944). Л., 1973. С.167–262; Воскресенский М. Герман ведет бригаду. Л., 1965. С. 92–99.

ка Толя. После изнурительных трудов над сырым и грязным куском плоти наступал торжественный момент: пузырь надували. Все желающие по очереди засовывали в рот какую-то трубочку, вставленную в плоть, и изо всех сил дули. И вот глазам являлся воздушный шар. Когда он становился тугим, его крепко завязывали — и готово!

Самым уязвимым местом пузыря была, мне кажется, «пипка» — место, которое завязывали. Завязка плохо держалась на сыром материале и соскальзывала во время игры.

Ребята постарше гоняли «чижика», играли в кости, в городки. Помню под чьей-то кроватью целую гору костей — настоящее богатство. Да мало ли у детей увлечений!

Едва ли не самым любимым местом времяпрепровождения было озеро. Летом это была страна чудес!

В стране чудес

Много лет назад и много лет подряд я подписывался на журнал «Юный натуралист». Подписывался на него, даже когда мой ребенок вырос и уехал из дома. В нем публиковались удивительные рассказы и разнообразные иллюстрации о живой природе.

Однажды я открыл журнал и «заколдобился»: на рисунке-схеме было изображено озеро моего детства. Более того, на нем отлично было видно не только то, что доступно любому глазу, но и то, что было скрыто под водой. И везде мелко, но разборчиво было написано, что это такое или кто это такой. Схема была воплощением моей давней мечты.

...Знойный полдень. Мы, несколько мальчишек, идем по нижнему парку, который расположен на самом берегу озера. Камыш и тростник вплотную подступают к деревьям. Тропа здесь всегда сырая. Од-

нажды, когда мы проходили по ней мимо огромного дерева, из дупла с грозным криком высунулась хохлатая пестрая голова. Это был удод. Его появление было таким неожиданным, а крик таким резким, что мы перепугались насмерть.

Озеро обширное, но со стороны села к воде можно подойти только в трех местах. В остальных между берегом и водой высокая стена камыша и тростника. Рогоз растет не везде, его хорошо видно по черным бархатистым образованиям — желанным мальчишеским трюфлям.

Два «пляжа» у села не для нас — там глубоко. А вот берег, куда идем мы, — самое то. Там мелководье, и можно барахтаться сколько душе угодно. Жалко, что в полдень пастухи пригоняют сюда стадо. И тогда мы вынуждены потесниться к краю: коровы с видимым удовольствием сразу же заходят в воду, роняя в нее, да и на берег, зеленые лепехи. Но, как говорится, альтернативы нет. Хуже всего, что с их приходом резко увеличивается количество паутов — оводов и слепней. Оводы, как известно, не кусаются, они гоняются за скотом, чтобы отложить на них яйца, зато слепни с остервененьем набрасываются на нас — еще бы, мы ведь без шкур. Больших слепней мы ловим прямо на себе и подвергаем их казни: втыкаем им в зад длинные травинки и отпускаем. Слепни уносятся прочь, но за ними долго еще можно наблюдать по травинкам.

А так — благодать! Путаясь в длинной и мягкой траве, растущей в воде, по песчаному дну подходим к камышам. На воде лежат огромные темнозеленые листья, на которых так любят отдыхать лягушки.

Среди листьев растут белоснежные лилии-кувшинки и желтые кубышки. Трепещут синими и зелеными крылышками небольшие бабочки-стрелки. Они рыскают над водой, будто чего-то высматривая, потом замирают на месте и вдруг присаживаются к самой воде на какую-нибудь еле заметную травинку. Наверно, в такую жару им тоже хочется пить.

А вот крупные стрекозы, с прозрачными крыльями и выуплеченными глазами, кувыркаясь в воздухе, неутомимо носятся за мошкарой и хлопают огромными челюстями. У них странное название — коромысло. (Полистав многотомную книгу «Жизнь животных», узнал, что стрекоза называется почему-то «большое коромысло». Кстати, такого же размера дозорщик, тоже знакомое имя, и большая кольчатая стрекоза. Мне кажется, все три вида родом из моего детства.) Между листьями и стволами высоченных тростников и камышей, как на коньках, носятся водомерки и еще какие-то длинноногие козявки.

А в воде кого только нет: рыбы, пиявки, крупные жуки — и черные, и черные с желтой каймой, а также ракушки. Под водой видны их следы — борозды, значит, они живы. Возьмешь витую раковину — она закрыта со всех сторон. Но мы-то знаем: внутри — улитка. И, конечно, раковинам от нас достается, мы их разбиваем камнями, чтобы посмотреть содержимое. А содержимое совсем неинтересно.

Пиявки, а особенно мотки живых конских волос вызывают у нас ужас. Пиявки высасывают кровь, а конский волос впивается в тело и по жилкам добирается до самого сердца. Так говорят мальчишки.

В озеро по зеленой травке струит свои воды маленький прозрачный ручеек. В устье ручейка — открытая вода. Ее немного, но чтобы перейти ручей, не намочив ноги, кто-то бросил сюда деревянную дверь. На светлое дерево, освещенное солнцем, тут же устремляются мелкие рыбешки с гибкими телами — вьюны. Когда их собирается много, мы спрыгиваем с двери, а вьюны остаются, судорожно трепещут на мокрых досках. Вьюны похожи на змей — у них змеиные головы и по углам рта торчат острые зубы. Их легко нащупать пальцами.

А вот в канаве у Канашовки водятся огромные вьюны — величиной с хорошую плотву. Раз братья Володя и Коля поймали их целое ведро. А тетя Ганя увидела вьюнов да как закричит: «Выкиньте этих гадов, чтоб я их больше

не видела!» Ребята посмеялись да и сварили их. У вьюнов оказалось красноватое мясо, много икры и мало костей. Нам они очень понравились.

Все ли видели ручейников? В нашем ручье их было полно. Возьмешь со дна маленький кусочек веточки, расколупаешь его, а внутри розоватый червячок. На него хорошо ловится рыба.

...Как-то на берег пришли парни и девушки. Мальцы притащили с собой бревно и стали на нем кататься. Тетка моя Нина демонстрировала умение лежать на воде без движения и не тонуть. Пока молодежь выпендривалась друг перед другом, щупалась и хохотала, поднимая фонтаны воды, мы с Лелькой как-то вскарабкались на бревно, сели на него верхом и поплыли к мосткам у села, до которых была не одна сотня метров. Как ни странно, нам удалось заплывать на глубину. Где мы и перевернулись. (Мне было чуть больше шести лет, а Лелька был на год старше.) Мы стали тонуть. На наше счастье, кто-то из купальщиков оглянулся и увидел кораблекрушение. Нас вытащили вовремя. Водички мы нахлебались, но в неопасных дозах.

В течение этого года я тонул еще несколько раз. Вода имела надо мной какую-то неизъяснимую власть. Но не зря бабушка говорила еще тогда: кому на роду написано быть удушенным, тот не утонет.

Еще раз я тонул у берега рядом с огромным сараем и чиновниковым домом. Здесь нам купаться не разрешалось, потому что прямо у берега был вир, т. е. омут. А вир, как нам было доподлинно известно, опасен не только тем, что здесь глубоко, но и тем, что вода воронкой затягивает купальщиков на самое дно, а это — конец!

Когда я влез в воду, ноги стали проваливаться в песок так быстро, что моя макушка сразу же исчезла под водой. Самое удивительное, что я не потерял самобладания и помню в деталях все. Я присел, нащупал твердое дно и оттолкнулся. Всплыл и увидел орущих на берегу товарищей.

Вдохнул воздух и медленно погрузился. Когда ноги встали на дно, я снова присел и оттолкнулся так, чтобы всплыть ближе к берегу. Получилось. Опять набрал в легкие воздух и пошел на дно. Такими вот замедленными водой «прыжками» выбрался на берег.

Присутствовавшие при сем друзья-товарищи, а также родственники поклялись не рассказывать о случившемся. Ну, а потом кто-то, само собой, проболтался. Мать жестоко выпорола меня, бурными рыданиями аккомпанируя экзекуции.

...Рядом с озером — затянутый ряской пруд. Он до краев наполнен лягушачьей икрой. В неудержимом студне отчетливо видны черные точки. Потом они станут маленькими запятыми — это будущие головастики. Когда головастики отправляются в автономное плавание, пруд кишит от живности. В нем ведь еще и караси, и тритоны, и лягушки.

К пруду летают аисты, живущие в огромном гнезде на верхушке дерева, устроенном на тележном колесе. Иногда видно, как они несут к гнезду лягушек — для аистят.

А в старых дуплистых липах на берегу обитают летучие мыши. По вечерам они бесшумно носятся в воздухе, выписывая зигзаги перепончатыми крыльями. Считалось, что летучие мыши вцепляются в белое, поэтому по вечерам на улицу старались не выходить ни в белых платках, ни в белых рубашках. Так ли это на самом деле — не знаю до сих пор.

Конец нашей автономии

Где-то в середине лета мы переехали в алтунский белый дом. Какие резоны сыграли тут роль — не знаю. Но я был рад этому несказанно. Просыпаешься, а дружки — вот они. Тем более что я в семье остался один маленький: Светка уехала к мамке в Ругодево.

В просторном холле, если так можно назвать общую комнату в доме, построенном для работников, весьма значительное место занимала русская печь. Из холла через несколько дверей можно было попасть в комнаты, в каждой из которых жила семья. Эти двери по вечерам постоянно хлопали, впуская и выпуская жильцов. Чтобы попасть в нашу комнату, самую большую в доме, надо было пройти по коридору между печкой и стеной. Мы жили приятным особняком, не испытывая многих неудобств совместного проживания.

Для приготовления пищи для всей честной компании и для обогрева дома служила русская печь, которую по утрам осаждали хозяйки. Но в комнатах было еще и по очагу. Не уверен, правда, что в каждой.

Несмотря на социалистический коммунальный быт, люди держали скотину. И бабушка каждое утро ходила кормить куриц и корову, может, и свинью. Где содержалась живность — не помню. Наверно, в обширной княжеской конюшне, превращенной после революции в скотный двор.

Иногда немцы просили женщин постирать белье. Женщины охотно брались, потому что немцы давали мыло и расплачивались сахаринном, тем же мылом, консервами и даже бижутерией. Мыло было в большом дефиците. Все стирали в щелоке, т. е. в баки с водой бросали золу, загружали бак бельем и кипятили. Естественно, мыло использовалось для стирки своего белого белья.

Однажды немцы в уплату за стирку принесли крошечные буханки хлеба в целлофане. Перед употреблением полагалось целлофан снять, а буханку подержать над паром. Буханка на глазах увеличивалась в размерах до привычной величины, после чего была готова к употреблению. Она становилась мягкой и вполне приличной по вкусу. Но стоило только замешкаться с этим самым употреблением, как при прикосновении ножа буханка рассыпалась на сухие мелкие крошки. Кто-то из дедов сказал:

– Это они у нас слизали. В первую ярманьскую нам на фронте такие же выдавали.

А откуда взялись украшения я понял, когда стал взрослым. Дело в том, что среди солдат, квартировавших в селе, были чехи и словаки. Они сносно говорили по-русски и при случае напоминали о нашем славянском родстве. Кстати, единственный на памяти односельчан и крестьян из соседних деревень случай воровства, совершенного оккупантами, связан с чехословаками. В Свистогузове два славянина украли у бабки поросенка.

Однажды два чеха, одного из которых звали Карл (наверно, Карел), пришли к нам с чемоданом и открыли его. Перед глазами предстали сказочные сокровища. В обмен на них солдаты просили продукты. В нашу комнату мигом набились женщины, у которых при виде такого богатства пламенем запылали глаза. Бусы, серьги, брошки и кольца судорожно передавались из рук в руки. Кто знаком с чешской бижутерией, тот поймет масштабы восторгов. Одни бусы были особенно хороши. Несколько нитей белоснежных с перламутровым отливом бусинок были перевиты в толстый сыпучий жгут, заправленный обеими концами в изящные чашечки белого металла. Чашечки надежно свинчивались, что немедленно было отмечено красавицами. Бусы сияли в свете лучины и завораживали. Все остальные драгоценности тоже были дивно хороши.

Тогда же я впервые увидел лунный камень, не зная, как он называется. Конечно, это был искусственный минерал. Но в нем будто плескалась темно-голубая жидкость. Камень был оправлен в металлические узоры. Брошь тоже вызывала восхищенное дамское причмокивание.

Но мне больше всего понравились две брошки, изображающие собак. Собаки казались неправдоподобными для того, кто никогда прежде не видел никаких иных собак, кроме голенастых и не очень опрятных дворовых шариков да трезоров. Сверяя свою память с картинкой в энциклопедии, могу с уверенностью утверждать, что первая брошь изображала веселого лохматого пуделя.

Белый пес был сделан будто из куска рафинада — тако-ва была фактура материала. Но главная прелесть брошки заключалась в том, что в темноте она светилась зеленоватым пламенем. Второй собакой-брошкой был черный шотландский терьер. Он с любопытством рассматривал кого-то, видимо, ползущего по земле: одно ухо торчком, голова набок и кончик свисающего красного язычка.

...Совсем недавно, уже пожилым человеком, я наведался на свою трепетно любимую малую родину. Расхаживаю по певучим половицам большого крестьянского дома и рассматриваю развешанные по стенам рамы с семейными фотографиями. Из-за насиденных мухами стекол на меня смотрят многочисленные родственники. Не без удовольствия узнаю самого себя: приятно, что ты хотя бы вот такой блеклой черно-белой тенью присутствуешь в дорогих сердцу местах. И вдруг на этажерке вижу брошь — моего белого пуделя. Он, конечно, потускнел и запылится, но это был он, из детства. Я бы с радостью забрал пуделя «на добрую память», но не зная, как к этому отнесется сестра, счел за благо промолчать.

Мины для неприятеля и сокрушение Ганса

Иногда солдаты проводили учения. Они то пылили тяжелыми кургузыми сапогами по песчаной дороге в колонну по два, то строились во фронт, то по команде рассыпались по поляне и, дребезжа винтовками, падали на животы. Потом ползли, стреляли холостыми патронами (пули деревянные, покрашенные). В общем, овладевали тактикой ближнего боя.

И тут, думаю, настало время отбросить ложную скромность и честно рассказать о своей героической борьбе с фашистскими захватчиками.

Несмотря на в общем-то добрососедские отношения, никто из русских не забывал, что немцы — враги. Актив-

ное неприятие немцев определялось прежде всего тем, что они принесли с собой на нашу землю смерть и горе, сломали привычный и потому дорогой для всех уклад жизни, внесли в жизнь каждого сумятицу, беспокойство за жизнь детей и родителей, близких и дальних родственников, разлучили семьи, именно они могут убить, если уже не убили, сыновей, братьев и отцов, воюющих в нашей родной армии, солдат, за которых молились в каждом доме. Поэтому при всей лояльности «наших» немцев любовью они не пользовались.

У меня сложилось впечатление, что и немцы и русские испытывали большое неудобство от того, что они враги.

Кто-то из взрослых надоумил мальчишек устроить для немцев маленькое неудовольствие. Когда они, громко топоча, ушли за село, мы, шкеты разных возрастов и размеров, перегородили дорогу выпавшими из нас кучками и присыпали их песком. Задача сильно облегчалась летним деревенским рационом, о чем очень точно сказано в частушке: «Утром калевка с капустой — вечером захвищет».

В ожидании колонны неприятеля каждый занял наблюдательный пункт. Немцы беззаботно топтали наши мины, и скоро «взрывчатка» оказалась на каждом сапоге, распространяя известный аромат. Колонна распалась, воздух стали сотрясать «доннер веттеры» и «руссише швайны». К большому удовольствию минеров и взрослых. Веселье от этой проказы царило и вечером. Никакой ответной акции со стороны врага не последовало.

И еще один маленький подвиг. Я уже писал про добродушного Ганса в очках, который из-за своей очкастости был мне чрезвычайно приятен. И после смерти Вилли он часто и с удовольствием захаживал к нам, когда мы переехали с хутора. Приносил стирать белье и просто посидеть. Не исключено, что был неравнодушен к 20-летней тетке или даже к маме.

Всегда улыбающийся, он то объяснялся с дедом «на языке сурдоперевода», так как не понимал по-русски, а

то, добродушно поглядывая на всех голубыми глазами, выдувал на губах бравурные марши. Сидеть он любил на высоком табурете, обхватив его ногами, а потому не касаясь пола.

Мать говорила ему со смехом:

— Ганс, ты глуп, как бабий пуп! Правда?

— Йа, йа, — радостно, под дружный смех окружающих отвечал тот.

Такие вот невинные издевательства продолжались долго к удовольствию сторон.

Все сельские ребяташки увлекались пастушескими кнутами. Каждый обзавелся этой чудной вещью первой необходимости. Кнут всем на загляденье сладил дедушка и мне. Для оглушительного хлопанья на всю улицу к концу кнута привязывался пучок конских волос. Это я помню хорошо.

Так вот. Когда Ганс наяривал, терзая губы и щеки, очередной марш, я взял его руки и замотал их кнутом, а потом, отойдя, дернул кнут на себя. Крупный неприятель рухнул, как сноп, на пол. Наши чуть не лопнули со смеху. Ганс вскочил и тоже начал смеяться.

— Ганс, сядь — пуцай не висять, оторвутся — вбьются, — утирая слезы, сказала бабушка. И опять хохот.

А я до сих пор не знаю, что мною двигало: ненависть к врагу или шалость с непредсказуемым финалом. Наверно, все-таки второе.

И все-таки прошу записать на скрижалях истории: враг был повержен МНОЮ!

Обидчивый жеребенок

Детвора часто торчала у кузницы. Кузница размещалась в низком кирпичном здании с высокой металлической трубой. Во времена оны здесь были котельная и движок, которые отапливали и освещали барский особняк.

Работала ли котельная в годы войны — не могу сказать, а спросить не у кого, я же пишу эти строки на Урале. Электрическое освещение отсутствовало. А вот кузница функционировала на всю катушку.

Дверь в кузницу всегда была распахнута на две створки. На улице валялись бороны, плуги и сохи, тележные колеса и всякий иной сельхозинвентарь, настоятельно требующий ремонта. В кузнице вздыхал мех, гудело пламя, в горниле докрасна раскалялся металл, которому суждено было стать нужной и важной деталью. Стучали по наковальне молот и молоточек. Кузнец молоточком по тому месту, куда надо было ударить покрепче: тук! А молотобоец с размаху: бах! Так и звенела трудовая кузнечная музыка: тук-бах! тук-бах! А потом — низкое гудение пламени в горниле! Симфония!

Здесь же подковывали лошадей. Лошадь заводили в станок, привязывали и ее и очередную подковываемую ногу, чтоб не взбрыкивала. Потом копыто поправлялось. Педикюр делал либо кузнец, либо подручный. Помню копыто молодой лошади, которую подковывали впервые: очень большое и разбитое так, что все оно было в радиальных трещинах. Кузнец острым ножом сделал его небольшим и аккуратным. Потом обработал подошву, орудуя ножом с дугообразным лезвием для образования выемки в копыте у самого «живого тела». После этого нужно было подогнать под размер копыта готовые подковы. Кузнец сунул их в горнило, раскалил докрасна, поставил ребром на наковальню и постучал. Когда «обувка» стала в самый раз, он бросил ее в воду.

А затем подкову прибивали к копыту длинными плоскими гвоздями — ухналями. Конюх с подмастерьем держали одну лошадь, а второй — ногу. А кузнец забивал гвозди, которые, пробив копыто насквозь, длинно торчали наружу. Лишнее мастер откусывал щипцами, а остальное загибал молотком, будто подкова прибивалось не к ноге, а к доске. Свежеподкованный конь был явно доволен:

свивая шею, посматривал на ноги, с радостным оживлением перебирал ими или слегка взбрыкивал. Духарился, одним словом.

Как-то, читая в журнале «Нева» заметки о житье-бытье в старом Петербурге, я с удивлением узнал, что коваль и кузнец — не совсем одно и то же. Коваль — специалист исключительно по лошадиной «обуви», и в больших городах во времена, когда лошади были единственной тягловой силой, существовали мастерские, где только подковывали лошадей.

Тут же, у кузницы, я стал однажды жертвой собственной настырности. Пока подковывали маму-лошадь, рядом крутился жеребенок с маленьким кудрявым хвостом, очень подвижным. Наверно, именно последнее обстоятельство побудило меня за него схватиться. Жеребенок дернулся вперед и взбрыкнул обеими задними ногами. И он не промахнулся: попал копытом мне прямо в лоб. Я без сознания хлопнулся о землю. Целых три часа, как говорила мне мать, не приходил в себя.

Семья и родственники пострадавшего паниковали: выживу ли я, а если выживу, не произойдут ли во мне, осторожно выражаясь, необратимые перемены. Но все обошлось. Теперь я даже не могу с уверенностью сказать, к счастью ли это.

Кузнец на селе — едва ли не самая нужная профессия. Во время войны в каждом доме находились изделия его неутомимых умелых рук.

Взять хотя бы тот же держатель лучины, точнее, наверно, светец.

Все они были похожи, но не были одинаковы. Художнический дар кузнеца присутствовал в каждом его творении. Или кресало — спички-то пропали бесследно. К кресалу полагались кремень и трут. Чаще всего кресало имело вид лодочки с сильно загнутыми назад носами. Или, скажем, вид двух гусей-лебедей, плотно прижатых гузками. Это чтобы кресало было удобно держать

в руке. Рабочая поверхность — подошва кресала была насечена, как напильник. В качестве кремня использовались кусочки кварцевого камня. Мы забирались с этими камнями под кровать и ударяли ими друг о друга, высекая неясное свечение, сопровождаемое странным запахом. Ну а тротом, который зажигался от искры, высеченной из кремня кресалом, был либо кусочек высушенного гриба-трутовика, либо фитиль из чего-то навроде ваты, обмотанной нитками. Когда мужики вытаскивали кисты, то перво-наперво доставали из них кресало, камень и трот, а уже потом бумагу и табак. Был и иной вариант, известный мне: в кисте находилось огниво, а табак и бумага, аккуратно сложенная под самокрутку, — в белой жестяной баночке с двумя «рогами». Свинтишь крышку с одного рога — там махорка, свинтишь с другого — там бумага. Охотники знают эту баночку как масленку для хранения оружейного масла и щелочи, необходимых для чистки оружия.

Однажды будто бы сели перекурить в земском дворе русский крестьянин и немецкий солдат. Сунули в рот: русский — самокрутку из своего самосада, а немецкий солдат — вонючую сигарету из эрзац-табака. Достали: немец — зажигалку, а русский — огниво. И стал будто немец насмехаться над мужиком: от какого дерьма ты, мол, прикуриваешь. А мужик и говорит ему: давай посмотрим, чей огонь надежней. Зажигай свой. Немец зажег, а мужик дунул слегка — зажигалка и потухла. Потом высек искру мужик. Упала искра на трот. Стал немец дуть на нее. И чем сильнее дует, тем ярче фитиль разгорается. Сдался немец: твоя, говорит, взяла. И предложил меняться. Но мужик меняться не стал: что он, дурак, что ли?

Когда я очухался от контактного общения с жеребенком, бабушка подвела суровый итог:

– Так тебе, дураку, и надо! Больно меткий!

Пожалела, бабушка, нечего сказать!

Живое диво

Живым дивом была в нашем селе ветряная мельница. И до сих пор у въезда в село стоит ее могучий кирпичный остов, не востребованный жизнью в «счастливое советское время». Как, впрочем, и прекрасно сохранившиеся до сих пор стены белого дома, пристанища моего детства. Овальная проем у основания мельницы, где раньше была дверь, ведет в заросшее крапивой и лопухами круглое помещение без крыши, используемое широкой общественностью как туалет. И уже, наверно, мало кто помнит, что здесь, за прочной дубовой дверью начиналась винтовая лестница вверх, а вместо крыши сиял матовый деревянный шлем с огромными крыльями. Шлем с громким скрежетом поворачивали, чтобы ветер ударял прямо во все четыре крыла.

Мельница — это вам не кузница, куда мог зайти всяк, кому хотелось. На мельницу в любое время мог войти только внук мельника, т. е. я. Конечно, не обремененный грамотой и специальными знаниями, я запомнил только, что внутри скрипело и гудело. И все было присыпано мукой. В центре рабочего помещения крутились жернова. Точнее, крутился вроде только верхний жернов с отверстием в центре. В отверстие засыпали зерно, которое скоро пропадало, проваливаясь между жерновами. Мука от жерновов по желобу стекала в деревянный ящик с квадратным отверстием, закрытым деревянной же задвижкой. Здесь и наполняли мешки легкой пушистой мукой.

А у стены стояли и лежали запасные жернова, которые либо надо было «отбивать», либо они были уже «отбиты», т. е. приготовлены для последующей работы.

Дедушка был белым от муки. Белыми были и его борода, и брови.

— Ну, внучок, посмотрел и хватит, — смешно моргал он голубыми навикате глазами из-под белой маски. — Иди, не пачкайся, а то нам с тобой от бабки попадет.

Странный эсэсовец

Однажды в село в сопровождении мотоциклетного эскорта приехал автобус — вещь невиданная доселе. Он сверкал никелем и стеклами больших окон. Автобус привез толпу офицеров, которые торопливо направились в княжеский особняк. Мальчишки сбегались поглазеть на чудо хотя бы издали, ближе охрана не подпускала. К автобусу подошел толстый пожилой офицер с коробками и поднялся в салон через заднюю дверь. Долгое время сидел там, а потом вышел и, присев на нижнюю ступеньку лесенки, стал молча нас рассматривать. Остановил взгляд на мне с Лелькой и громко приказал: «Киндер, ком цу мир!» Мы заробели и стали подталкивать друг друга к офицеру. Он помолчал, потом погладил нас по головам, приговаривая «Гут». Показав жестами, чтобы мы не уходили, снова поднялся в салон и вынес оттуда коробку. Достал из коробки по большому куску торта, конфеты в ярких обертках, как оказалось, шоколадные, и вручил нам. Мы «заданкели» и удалились, неприлично счастливые.

Спустя какое-то время из особняка вынесли красивый гроб и бережно разместили его в салоне автобуса. Загремели мотоциклы, взвыл мотор автобуса, и кавалькада, обогнув клумбу, покатила по дубовой аллее к шоссе.

Оказалось, накануне, невдалеке от села, партизаны обстреляли машину, в которой ехал полковник со свитой. Пуля смертельно ранила полковника. Его сразу же привезли в наше село, где он вскоре скончался.

А вслед за этим событием произошло другое. В селе на машинах и мотоциклах в сопровождении танкетки объявился карательный отряд эсэсовцев. Был объявлен общий сбор. Эсэсовцы и «наши» немцы были построены в две шеренги «лицо в лицо» и долго что-то отрывисто кричали друг другу по очереди. А потом эсэсовцы укатили в лес, чтобы покарать наглецов, осмелившихся противиться «орднунгу», как выражался старик Фадеев.

Именно эти эсэсовцы приезжали в Алтун и весь следующий, 1943 год и, не исключено, до конца оккупации. Мы их знали в лицо. К нам повадился ходить эсэсовец с овчаркой. Звали его Курт. Он очень хорошо изъяснялся по-русски. Оказалось, отец его как специалист в 30-е годы был приглашен советской властью на работу в СССР. Поэтому юные лета Курт прожил в нашей стране. О чем он и рассказал при первой же встрече.

— Папа, — говорил Курт, — очень любит Россию и русских, и он против войны. Мне он наказал никогда не стрелять в русских солдат. Я много раз в бою встречался с вашими солдатами, но всегда стрелял выше голов. А Гитлер, — понижал Курт голос, — плохой, шайзе. Только вы никому ни слова о том, что я вам говорил.

Мои семейные воспринимали откровения Курта как грубую провокацию и в ответ невразумительно мычали. Я же быстро подружился с псом и раскатывался на нем по дому.

Спустя несколько месяцев, где-то весной, отряд Курта в очередной раз появился из лесу. Курт, возбужденный, пришел к нам. Он рассказал, что отряд передвигался по лесной дороге и вдруг понял, что по обеим сторонам ее — партизаны, готовые к бою. Эсэсовцы остановились и оцетинились оружием, но в растерянности стрельбу не открыли. Молчали и партизаны, хотя те и другие смотрели другу другу чуть ли не в глаза. Постояв какое-то время, фашисты медленно тронулись. Партизаны молчали. Так и разошлись лютые враги, не истратив ни одного патрона.

Если Курт соврал, то соврал и я. Но я думаю, что такое случиться могло. Видно, во время этой кошмарной встречи было чудесное утро. Пробудившаяся природа ликовала. Яркое светило солнце. Пели свои радостные песни синицы. Вдоль дороги распустилась верба. Утренний воздух был душист от легкого морозца, а раскисавшая днем дорога была чистой и твердой, как асфальт. Жизнь тор-

жествовала вокруг, и никто не захотел умереть на этом празднике жизни.

Любовь Курта к русским неожиданно подверглась проверке. Мама, чуждая дипломатии и потому не всегда сдержанная на язык, однажды спросила доброго эсэсовца:

— А что, Курт, почему это у немецких солдат такие короткие сапоги, да еще с широкими голенищами?

— Думаю, Лиза, — ответил Курт, — потому что такие сапоги удобно и снимать, и надевать. Кроме того, ведь за голенище можно засунуть гранату.

И правда: немцы охотно засовывали деревянные ручки громоздких гранат за голенища.

— А я думаю, — продолжила мать, — Гитлер специально заказал для вас такие сапоги, чтобы, когда вы побежите от Красной армии, их легче было сбрасывать на ходу.

Ну как расценить такую, мягко говоря, неосмотрительность?

Курт потемнел лицом и вышел в сопровождении своего людоеда...

Домашние после его ухода прямо взвились на мать! Просто «дура!» было самым ласковым словом из того, что она слышала. Всю ночь мы не спали (кроме меня, конечно), приготавливаясь внутренне к самому худшему. Мать, осознав трагизм ситуации, казнила себя изо всех сил. А рано утром явился Курт и вот что он сказал (в многократном изложении матери):

— Лиза, как ты могла сказать такое эсэсовцу? Ведь у тебя ребенок, с тобой вся твоя родня! Я был обязан расстрелять тебя на месте! Я всю ночь промучился — не знал, что делать... И я решил: нам всем надо забыть вчерашний вечер. Вчера мы не виделись, хорошо?

Мы страшно обрадовались, а Курт повернулся и ушел.

Но и потом он продолжал бывать у нас. Но никто и никогда не заикался об инциденте.

Каково приходилось коммунистам в оккупации и... после

«А вот был еще случай!» — продолжаю я свои мало связанные между собой воспоминания. А случай был не один. В каких-нибудь трех километрах от Алтуна есть деревня Лябино. Она раскинулась на высоком холме и его склонах на берегу одноименного озера. На другой стороне виднеются деревни Устиново, Батково и Лукино. В Лябине проживала моя тетька Нюша с дочерью Киной. (Ныне здравствующая кузина живет в своем доме при въезде в Алтун. Она и ее муж Иван Павлович, учителя, давно на пенсии.)

Тетька Нюша была коммунисткой. В партию вступила она в 20-е годы, когда вышла замуж за партийного функционера, ставшего даже (!) секретарем уездного комитета партии в одном из соседних уездов. Но муж рано, возможно, даже не в зените своей партийной карьеры, умер от туберкулеза. А тетька Нюша стала рядовой колхозницей в передовом колхозе «Лябино». Правда, партийной, хотя и малограмотной.

Стараниями доброжелательных соседей, которых на Руси хоть пруд пруди, в руках у немцев быстро оказались списки всех коммунистов. Потенциально активных оппонентов начали регулярно таскать в Новоржевскую комендатуру на допросы с размещением на жительство в тюрьме. Препровождал их с котомками конвой. Наши коммунисты по причине возраста и пола были больше озабочены добычей хлеба насущного, чем борьбой с коварным врагом. И я помню, как нескольких пожилых колхозниц с шелгунками за плечами и с несчастными лицами конвоировали по направлению к шоссе то немцы, то полицаи. Среди конвоируемых неизменно присутствовала тетька Нюша.

Однажды, завидев тетьку Нюшу в толпе арестованных, мать подскочила к ней и начала совать в руки сверток с едой. Конвой, состоявший из «наших» чехов, стал оттал-

кивать мать и других родственников. Одним из конвойных был Карел.

— Отойди, Лиза, нельзя, — он стал отпихивать ее прикладом. — Отойди, а то ударю.

— Ах ты, мать твою перемать! — закричала на него моя бесшабашная мама. — И ты, гад, еще тут встречаешь?

Мне стало страшно за нее и за себя, и я вцепился ей в руку.

Сверток она все же передала, а Карел ударить ее не решился: ему же еще жить в селе. По словам матери, он потом извинялся: мол, у него был приказ.

Карел крепко дружил с одной нашей односельчанкой. Настолько крепко, что через год она родила ему дочь. А после смерти отца народов гражданин социалистической Чехословакии Карел отыскал свою, так сказать, боевую подругу и стал сильно звать ее на жительство за границу. А у односельчанки помимо дочери Карела была повзрослевшая дочь от законного брака, и жили они втроем, перебиваясь с хлеба на квас. Но твердо решили никуда не ехать.

Писал, писал Карел письма на Псковщину, а потом понял, что бессмысленно, и писать перестал.

Как-то, приехавши (по-псковски) в отпуск на родину, я оказался в тесном кругу старушек, которые в годы войны были в расцвете лет, да еще без мужей.

— А что, девушки, — спросил я их. — Немецкие солдаты были молодыми здоровыми мужиками. Им, конечно, было тяжело без женщин. Не насиловали ли они кого-нибудь, не домогались ли?

— Нет, — дружно сказали девушки. — Предлагать предлагали, и деньги сулили, и барахло, но чтобы насильно — об этом мы и не слыхивали. Да и то сказать: даже если кто из наших и непрочь был хвостом крутнуть — на деревне нельзя: сраму не оберешься. Был у нас один случай, да про это ты и сам знаешь.

— А вот в Вехно, — продолжали они, — была одна любовницей у коменданта. Так для русских это была боль-

шая помога. Бывало, чуть что — мы к ней: помоги. И она всегда выручала.

Я спрашивал много лет спустя у тети Ньюши, как обходились с ними в Новоржевской тюрьме и во время допросов.

— Обыкновенно как, — был ответ. — Приведут на допрос к следователю. Он спрашивает, а переводчик, из русских, переводит. Следователь не дурак: видит, что от нас вреда никакого, хоть мы и коммунисты, — и обратно в камеру. А переводчик тут как тут: я, говорит, добьюсь, чтобы вас отпустили (как? мое дело), зато вы должны принести сала, яиц ... Ну и перечислит, чего ему надо. Мы пообещаем — нас и отпустят. Правда, никогда его не обманывали, а вдруг еще арестуют?

— Да и какие мы были коммунисты? — добавляла тетя Ньюша. — Все старые да неграмотные.

После войны этих коммунистов из партии выгнали за неучастие в борьбе с оккупантами. А спустя несколько лет членство решили восстановить. Но только никто из них не пожелал вернуться в стройные ряды ленинцев.

— Мы больше всех страху натерпелись, а нас за это и выгнали. Получилось, что самыми хорошими были те, кто в оккупации не был. Зачем нам такая партия? — так резюмировала свой рассказ тетя.

...Летом мы любили ходить в Лябино. Прежде всего потому, что это было путешествие на весь день. Тетя Ньюша всегда кормила нас чем-нибудь вкусеньким: она сызмальства работала на княжеской кухне и умела удивить каким-нибудь «барским» блюдом. Кроме того, в саду у нее было полно вишни и смородины.

Когда мы, несколько малолеток, появлялись на широкой улице, поросшей гусиной лапкой и спорышем, навстречу выходила тетя Ньюша — руки в боки, лицо деланно серьезное:

— А это кого еще бес нясе? — сурово спрашивала она. — Что это за жиганье такое? А ну марш домой! Нам вас ня нада.

Но очень скоро мы рассаживались за просторным столом и вкушали всякоразные угощения. А чужая еда, известное дело, всегда вкуснее.

После этого путь наш лежал в сад — за десертом. Страсть к поеданию красной смородины с куста я пронес через всю жизнь. И каждый раз, присаживаясь к смородине, вспоминаю приятные визиты в Лябино в то теперь такое далекое время.

У тети Ньюши был еще патефон и много пластинок. Но я помню только одну, которая звенела голосом Прокошиной¹ на всю округу:

Вдоль деревни от избы и до избы
Зашагали торопливые столбы;
Загудели, заиграли провода —
Мы такого не видали никогда.

И даже мы, дети, понимали, что этот бойкий голос доносится до нас из счастливого времени. Он нес такой заряд энергии, оптимизма и отчаянного веселья, что хотелось вскочить и с радостным криком побежать по улице. Так мой пятилетний внук, заслышав веселую мелодию, тут же забывает про непросохшие слезы и начинает танцевать, хохоча и подмигивая.

Коля женится

Лето. Как переменчива в эту пору погода на северо-западе России. Сколько красок и света! Солнце слепит. Куда ни посмотришь, везде цветы. Живыми огоньками

¹ Прокошина Александра Васильевна (1918–1997) — российская певица (сопрано), народная артистка СССР (1979). В 1934–1963 годах солистка Русского народного хора им. М. Е. Пятницкого (запевала, как указано в сноске к известному стихотворению М. Исаковского «Спой мне, спой, Прокошина...»). С 1975 года — художественный руководитель ансамбля песни и пляски «Искорка» (Кировская обл.).

мерцает и переливается вода, колыхаясь в зеленых берегах. Зелен сырой луг, зелены деревья и кустарники. Пестрыми подвижными пятнами кажутся издали коровы, белыми — птицы на лугу.

И вдруг черная в полнеба туча. Она грозно клубится, сияя перламутровыми краями по горизонту. Потом опускается все ниже и ниже, цепляясь черными клочьями за деревья. И вдруг разверзаются хляби небесные! Дождь длинными мокрыми струями, как кистью, размазал по земле акварельный пейзаж. Все потускнело, стало унылым и безрадостным. Исчезли животные. Ссутулились и поникли люди.

...Еще сегодня утром самолет примчал меня из Челябинска в Ленинград — город, при одном упоминании о котором у каждого русского сладко сжимается сердце. У меня больше, чем у других. Потому что это — далекая столица родного края; город, в каждом районе которого, наверно, живут или мои родственники или школьные друзья; город, который так редко удается посетить.

Как приветливы и добры здесь люди! Я прилетел в незнакомую фирму, а мне рады, как долго отсутствовавшему родственнику. Сказал, что живу на Урале, а по происхождению пскович — и я чуть не самый близкий человек. Заикнулся, что непрочь на выходные махнуть в родную деревню — и все советуют немедленно отправиться туда, заверяя, что все вопросы, с которыми я приехал, будут решены без задержек.

На мощном «Икарусе», как на быстроходном катере, ныряем по холмам Скобаристана все ближе и ближе к Алтуну. Приклеенный к стеклу радостью нежданного свидания, спорю с Э. Рязановым.

У природы нет плохой погоды.
Каждая погода — благодать!

Как бы не так. Для человека с температурой 36,6 по Цельсию улица, что дом родной. И там, и там бывает и

хорошо, и плохо. А благодать — вообще штука нечастая. Ну каким будет свидание с любимой родиной, если мой уикенд (прошу прощения у российского истеблишмента за покушение на его эксклюзивное право пользоваться вышеупомянутым словом) станет похож на пук ваты в грязной луже?

В сумерках несусь по мокрой тропе из Алтуна в Канашовку. Из-под ног выбрасываются и шлепаются обочь толпы лягушек. Новенькие чешские сандалеты, еще утром злобно сжимавшие ступни, быстро раскисают в траве и безвольно расползаются, как коровье дерьмо под дождиком. С ускорением молочу ими по дороге, слабо обозначенной мерцающими лужами. И вот они — заветные окна, желтеющие в ночи! На скрип двери обращиваются родные лица. Они в изумлении замирают.

...Эх-ма! Умолкаю от избытка чувств! Счастливые мгновения!

Увы, их не так много случается в жизни. Потому они и памятны...

Под шум дождя засыпаю в сенках. Здесь не Урал, и после дождя не наступает резкое похолодание, а, наоборот, часто становится еще теплее. Тоскливо стучит по доскам дождь, шуршит по соломенной крыше.

А утром... Утром просыпаюсь от щебета ласточек. Они залетают под стреху и устремляются к гнездам на стропилах, где их ждут нетерпеливо кричащие голодные рты. Как хорошо, что над сенками нет потолка! Солнцем исполосованы и чердак, и сени. Слышно, как на улице сердито выговаривает курицам тетя Ганя. На вымытой улице — праздник!

И я вспоминаю лето 1942 года. Убран урожай. Наступил сезон свадеб. Мы ночевали тогда у тети Гани и дяди Матвея и спали тоже в сенях. И утро было такое же. И ласточки были такие же. И сени были — не эти, но такие же. Те сгорели вместе с домом в начале 1944 года, как сгорели дотла все деревни в округе радением убежавших фашистов. Как сгорели или были взорваны

все постройки в Алтуне, в том числе и особняк. Но в то летнее утро мы проснулись здесь потому, что пришли на Колину свадьбу.

Я не буду живописать того, что известно каждому, хоть раз побывавшему на свадьбе. Я напишу о том, чего ни разу больше не видел. Жених и невеста торжественно восседали во главе стола. Их непохожесть была разительной. Коля темноволос, с горячими черными глазами, а Зина — яркая блондинка, с белоснежными косами и светло-голубыми глазами. У Коли смуглое загорелое лицо. У Зины лицо тоже было загорелым, но ярко-розовым.

Пол был застлан свежей соломой, и пахло, как на гумне. Взволнованные родственники и гости — почитай, все село — после каждой рюмки (думаю, рюмок не было) бросали на пол, в солому, деньги, естественно, не советские. (Какая деликатность: все видели, что деньги бросают, а сколько — кому какое дело? Сколько могут — столько и бросают.) Кричали «горько». А жених и невеста подолгу и с удовольствием целовались.

Время от времени гости выскакивали из-за стола и яростно топтали солому. Плясали псковского «гусачка» и выкрикивали в манере бельканто частушки, многие из которых, как водится, были неприличными. Одну из частушек я услышал тогда впервые и запомнил:

Из немецких из солдатов
Мне понравился один:
Чернобровый, черноглазый
Его родина — Берлин.

Куда денешься от реалий жизни? И эстетика белобрысого края налицо: чем чернее, тем красивше. Там, где живут черненькие, все наоборот. Замечу, что исполнительница частушки, как оказалось, была активной помощницей партизан. Где же, спрошу я, по-большевистски сурово насупив брови, священная ненависть к врагу? Ах,

какое было бы удобство, если бы все вокруг было помечено белой и черной краской или, что много удобней, черной и красной.

Наутро солому, после тщательного перетряхивания, вынесли на улицу и взялись за веники. Извлечение денег из трухи было приятным занятием, и остроглазые дети к нему были допущены: «Яны ж нинной лядащей манетки ни прапустют».

А перед свадьбой и во время оной в саду под яблонями шел процесс: гнали самогонку. Гнал дедушка, ассистировал я. Мы сидели у деревянной бочки, из которой торчала трубка. Из трубки высовывалась красная шерстяная нитка, по которой в банку капало «вяселье».

Бочка подтекала в месте выхода трубки, и дедушка все заделывал течь тестом — ладил, так сказать, сальник. Рядом с бочкой под треногой горел костерок, в баке бурлила бражка. Дедушка неустанно брал пробу и поджигал продукт, тестируя его на крепость, качество контролировалось неустанной же дегустацией. Дедушка был прекрасно розов, и у него заплетался язык. Грех жаловаться: к дегустации привлекался и я («На, хляни, внучок, малешенько»). У меня сложилось впечатление, что подпавать детей — любимое занятие на моей родине. Разве не смешно: подпоить ребенка, а потом от души похохотать, глядя на него.

Как-то в юности далеко от родины я познакомился с дедом, который от старости аж мохом взялся. Услышав, что я псковитянин, он очень обрадовался:

– Служил я при царе-батюшке в Питере со скобарями. До чего удалой народ! Все чего-нибудь да созорничают. И почудить, и напиться, и подраться — на все горазды. Бывал я и в самой губернии. Самая пьяная губерния была во всей России.

До чего же сильны и живучи традиции, добавлю я. Но гложет сомнение: уж ли самая? Жизненный опыт подсказывает: теперь — не самая. Отнюдь!

Самолет на поле

...Мы валандались в озере, когда кто-то из мальчишек натужно завопил: «У Седухина самолет на поле сел! Альта!»

И мы помчались к большаку, на станцию. Несколько казенных домов, стоявших при дороге, назывались станцией еще с тех пор, когда между Новоржевом и Варшавским (теперь Киевским) шоссе, была открыта почтовая гоньба. Это случилось вскоре после смерти А. С. Пушкина, который, к слову сказать, из Питера в Михайловское всегда следовал именно по этой дороге. На станции в старину меняли лошадей. Еще в недавнее время большак здесь был извилист и живописен. А был он таким в память о великом поэте — большом, по здешним понятиям, озорнике. Будто бы однажды по дороге из Новоржева, где поэт крепко нагостился у купца Дм. Котосова, в гостинице которого беспрерывно останавливался, он захотел справить малую нужду. А так как спешка была большая, то он решил совершить сие действие, не покидая коляски. Пикантность ситуации и игривость характера Александра Сергеевича не могли не отразиться на рисунке оставленного следа. Память об этом замечательном событии алтунцы увековечили, проложив дорогу прямо по гениальному следу. Теперь шоссе здесь — проекция прямой карандашной линии на местность, чудесно изображенную «творцами».

Но вернемся в детство. Мы взбежали на пригорок и глянули в сторону Седухина. На поле под лучами солнца сияло зеркальце воды, которой здесь никогда не было. Вокруг воды в почтительном отдалении стояли люди, много людей. И тут мы уразумели, что зеркальце — не что иное, как самолет, отражавший солнце дюралевыми поверхностями.

Мелюзгу беспрепятственно пропустили в первые ряды зрителей, впервые увидевших самолет так близко. Да еще

истребитель. Да еще немецкий. Несколько солдат с оружием на изготовку несли вокруг него охранную службу. Пилот, бросив шлем на плоскость, прохаживался рядом. Он покуривал и поглядывал на «разиротов» (псковизм, означающий понятно кого).

Наверно, в детстве я не лишен был нордического шарма: немцы чаще, чем других детей, гладили меня по голове, одаривали конфетами. Вот и на этот раз пилот увидел меня, заулыбался, подошел, взял за руку и подвел к самолету. Потом встал на плоскость и свесился в кабину. Он вручил мне копию своего самолета из темно-синей пластмассы величиной с ладонь и плитку шоколада.

Много лет маленький самолет был в числе моих любимых игрушек, пока я не подарил его кому-то из друзей уже здесь, на Урале.

Наконец, прыгая по полю, подкатил легковой автомобиль. Пилот переговорил с прибывшим офицером, влез в кабину, помахал рукой и улетел.

Первый раз в первый класс

Хорошо помню 31 августа 1942 года. На семейном совете было решено отдать меня в школу, открытую новой властью. Школа испокон веку находилась в самом большом на станции здании, на самом пригорке, откуда далеко окрест видны деревни с обеих сторон большака. В ней учились многие поколения окрестных крестьян, в том числе и мои родители.

И вот завтра — в школу! Мама приготовила шелгунок из прочной полосатой матрасной ткани. Я положил туда школьные принадлежности, затянул сверху узлом из петли и — вперед.

Тетка Нина подсуетилась и достала у немцев бумагу и карандаш, а дедушка привел в божеский вид добытые у кого-то довоенные баретки.

Я изо всех сил радовался новой прекрасной жизни, которую сулила школа. Мои чувства вполне разделял Лелька. Весь вечер мы гуляли с ним на улице.

С открытой галереи княжеского особняка неслись звуки аккордеона. Парки и аллеи превратились в непроходимые черные стены, между которыми свободно распространялось благоухание цветов. Этот удивительный аромат из детства был пронизан сильным и нежным запахом душистого горошка...

По теплой пушистой пыли выходим на околицу. Здесь просторно и ясно. Далеко-далеко видно звездное небо, и подступающее поле, все в колючей стерне, пропадает во мгле. Совсем недавно здесь даже в кромешной темноте светилась высокая стена ржаных стеблей и вкусно пахло свежим хлебом. Наверно, чтобы земля источала столь сильный запах травы, листвы и всего сущего на ней, надо много влаги и тепла. На Псковщине и того и другого достаточно. Поэтому когда я приезжаю домой, меня всегда поражает прямо-таки осязаемость ароматов земли. Откуда-то из лугов и полей, перебивая звон кузнечиков, скрипучим голосом «дергает» коростель.

Наутро мы с Лелькой в толпе детворы потопали в школу. Наверно, я выступал очень гордо, потому что на груди моей красовались брошки с собаками. Во дворе школы, образованном живым забором из кустов акации и деревьев, царили шум и возня. Школьников было много, потому что явились и те, кто год пропустил. Тон всему происходящему задавали «старшеклассники» (школа была начальной) — здоровенные, по нашим тогдашним понятиям, ребята. Они вели себя, как рыба в воде.

Мы с Лелькой, как мышата, жались к стене. Подскочила родня в лице Борьки канашовского. Он подхватил нас и повел в класс. Классная комната была единственной в школе. Здесь одновременно занимались все классы, с первого по четвертый.

В коридоре меня поразили старшие ребята. Они со смехом тащили упирившегося курчавого мальчишку к

табурету, на котором стоял длинный парень и крепил к крюку на потолке тонкий шнур. Приглядевшись, я понял, что это толстая шерстяная нитка. Сделав петлю, парень спрыгнул. На табуретку стали поднимать кудряша. Тот хохотал и не давался. Наконец, на него надели петлю и вышибли табурет. Кудряш упал на пол и, закатывая глаза, стал на потеху остальным сучить ногами, хрипеть и кататься по полу.

О том, что в Новоржеве вешали русских, я слышал, но вот видеть не приходилось. Мальчишки, наверно, видели и вот теперь наглядно показывали, как это происходит. Зрелище произвело большое впечатление на зрителей, особенно на малышню.

А повешенных я увидал на следующий год, когда дедушка возил меня в Новоржев показать врачу. На перекладинах у глухой стены тюремного здания висели, повалив головы набок, два или три человека.

...Честно говоря, я не помню, чему меня учили в школе. Запомнился букварь с портретом Гитлера. По нему что-то читали. Запомнилось, как один мальчик, ленинградец, который был старше нас, рассказывал о поездке с родителями к теплому морю. В перемену мы смотрели книгу, которую он принес показать, о море и морских обитателях. Длинная светящаяся рыба с зубастой пастью до середины туловища была настоящим чудовищем. Ее мы в основном наверно, и разглядывали, потому что больше из книги я ничего не помню.

Запомнилась красивая коробка из-под папирос, на которой был изображен военный в роскошном мундире с эполетами и с черной повязкой на глазу. Ее я нашел возле школы. Интересно, кто это был? Мне известны только два кривых военачальника — Нельсон и Кутузов.

Еще запомнились розги на стене и решето с сухим горохом в углу. Это были овеществленные методы педагогического воздействия на воспитуемых. Одного не в меру расхордившегося парнишку поставили на горох. Он, крайне возбужденный этим обстоятельством и подстре-

каемый смехом ребяташек, начал кривляться и потешать ребяташек. Учитель, он же директор школы, строго придерживался своих педагогических воззрений и потому так треснул мальчишку указкой по голове, что та сломалась, а парень с криком взвился от боли. Ученики испуганно замолкли.

По дороге домой Лелька деловито сказал мне:

– Надо набрать волчьих ягод. Чернила будем делать, все делают.

До сих пор не знаю, действительно ли из волчьих ягод можно делать чернила.

Каждое утро бабушка Дуня провожала нас с Лелькой до околицы.

– Ну, школьники-божевольники, — говорила она, — учитесь хорошо. Слушайте учителя и не балуйтесь. Самое тяжелое — научиться читать. А как научитесь — веселее дело пойдет. Шибко интересно будет.

Сама бабушка, по ее признанию, «ни анной зимы в школу не ходила».

Что такое «божевольник», мы не знали. Бабушка Шориха вообще была щедрой на ругательные слова. Жиган, посак — это, понятное дело, хулиганы. А может, одно из слов обозначает бандита, а другое — охотника до разбойных действий? Кто его знает? Обоиш — тут, наверно, имелась в виду особая стойкость субъекта критики к способу родительского воздействия на поверхность юного организма. Отюканник — более мягкий вариант того же, потому что речь идет о стойкости к постоянным тюканьям. Отюканник к слову невосприимчив. Поэтому это что-то вроде куколки, из которой появляется обоиш. Глум — помесь дурака с идиотом. И вот божевольник...

Кстати, о букваре. Я всегда помнил, что он открывался портретом Гитлера. Но никогда и никому даже не заикался об этом, опасаясь, что по младости лет мог ошибиться. Но однажды во время поездки на родину мне попала в руки книга «Герман ведет бригаду» (Лениздат, 1965 г.), написанная М. Воскресенским, бывшим начальником по-

литотдела 3-й Ленинградской партизанской бригады, воевавшей и в нашем районе тоже. Учитель по образованию, он так описывает знакомство с этим «учебником»:

«В просторной чистой комнате на скамейке у стола сидел русоволосый мальчуган с книгой в руках. Он с любопытством уставился на нас. Сняв вещевые мешки и полушубки, мы сели на скамейки, давая отдых уставшим ногам. Закурили.

— Что это у тебя за книга? — спросил я у мальчугана.

— В школе дали.

Я перелистал книгу. Это было специальное издание, выпущенное фашистами для русских школ. На первой странице — портрет Гитлера. Дальше слащавые стихотворения на религиозные темы и рассказы об "истинно русских патриотах" — белоэмигрантах».¹

О том, что человека нельзя испытывать: он рожден для счастья

Как все-таки хорошо, когда кругом свои, советские, и никого, кроме них. Пусть трудно, даже очень трудно, но зато все ясно и просто. Оккупация страшна своей неоднозначностью. Это была проверка не только на верность Родине, но и на твердость духа, к которой, как мне кажется, следует отнести готовность пойти на физические страдания во имя нее: ведь каждый вставший в ряды борцов против оккупантов понимал, что ждет его, если он попадет в руки врага.

Но ведь можно было и не лезть в борцы... Разве не сдерживал многих, у которых кипели сердца и чесались руки, страх за жизнь детей, близких, которые были рядом. Общественное мнение не порицало многосемейных людей призывного возраста или малолеток, укло-

¹ Воскресенский М. Герман ведет бригаду. Л., 1965. С. 138.

няющихся от борьбы. Но проверка на мужество была всеобщей. И те, кто был в оккупации, хорошо знают цену друг другу.

Немало хороших людей, попав между молотом и наковальней, не выдержали. Но надо ли винить их в этом? Сейчас мы знаем, что очень немногие способны выдерживать пытки. Помните, что сотворил юридический трюк А. Вышинского «признание вины — лучшее доказательство вины»? Не в застенках гестапо, а в подвалах НКВД чудовищным пыткам подвергались миллионы ни в чем не повинных людей, у которых вырывалось признание вины. Твердокаменные большевики, члены ордена меченосцев, уступали палачам быстрее других, по свидетельству очевидцев, того же Льва Разгона¹. А настоящую твердость духа демонстрировали глубоко верующие люди.

Прочитаем, однако, о чем повествует дальше начальник политотдела. «На другой день, — пишет М. Воскресенский, — я пошел в школу, открытую в этой деревне гитлеровцами, и встретился там с учительницей, молодой миловидной женщиной. Мы разговорились. Я узнал, что муж учительницы на фронте, а ее и маленькую дочку судьба забросила на Порховщину. Надо было как-то жить, и она стала работать в школе.

— Как же вы, жена советского командира, пошли на работу к фашистам, против которых сражается ваш муж?²

Учительница смутилась. Со слезами на глазах она ответила:

- Я учу детей по-советски.
- Но по фашистским учебникам.
- Я стараюсь антисоветские рассказы не читать.

¹ Разгон Лев Иммануилович (1908–1999) — писатель, публицист, литературный критик, многолетний узник сталинских лагерей. Имя Разгона стало известно стране после выхода в 1988 году его книги «Непридуманное».

² Двумя строками выше Вознесенский сам дал на этот вопрос исчерпывающий ответ.

– Верю этому. Но ведь рано или поздно вас заставят работать так, как хочется гитлеровцам. Не послушаетесь, они учинят над вами расправу.

– Что же мне делать? Посоветуйте¹.

Да, не позавидуешь женщине... Но заметьте, сколь рознятся исходные позиции собеседников. С одной стороны человек, у которого все в порядке: сытый комиссар, военный человек, несущий службу в партизанской бригаде. С другой — бездомная женщина с ребенком, перед которой стоит выбор между голодной смертью и работой в фашистской школе. Замечательный образчик доверительной беседы красного душеприказчика.

Я вспоминаю новеллу из «Дон Кихота Ламанчского» о том, как один благородный идальго с помощью ближайшего друга решил испытать верность своей молодой супруги. Испытание было проведено так психологически точно, так по-садистски скрупулезно, что его не выдержала не только молодая супруга, но и участник эксперимента — друг. Они пылко полюбили друг друга.

«Человека нельзя подвергать испытаниям: он может не выдержать» — вот открытие, сделанное величайшим гуманистом М. Сервантесом почти пять веков назад. Сервантес знал о чем писал. Прочитайте его биографию, вспомните, что жил он во времена инквизиции, и вы сами убедитесь в этом. «Человек создан для счастья, как птица для полета», — дополняет его М. Горький.

Организаторы испытаний сотен миллионов людей, как это случилось в XX веке, плевать хотели на гуманизм и на гуманистов. Они продолжают плевать абсолютно безнаказанно и в наши дни. Есть международные организации, способные хоть иногда заставить этих вершителей судеб сглатывать избытки слюны. А вот отучить их от мерзкой привычки пока некому. Я мечтаю о времени, когда в мире возникнут институты, облеченные столь высоким доверием народов, что они, минуя суверенитеты, несовершен-

¹ Воскресенский М. Указ. соч. С. 139.

ные законы и беззакония стран, страдающих от тирании, способны будут наказать любого мерзавца, преступившего законы цивилизованного человеческого общества и заповеди Христовы. Если таким законам быть, то перед лицом надвигающейся на человечество катастрофы ждать их появления осталось недолго.

Однако корыстолюбие, жажда власти и фанатизм, эти три кита человеческой порочности, в наши дни достигли таких масштабов, что элементарный здравый смысл стал символом донкихотства и слабоумного идеализма. Это не внушает оптимизма. Жадно обнимая добычу, сладострастно сопя и чавкая, человечество может провалиться в тартарары в исторически обозримом будущем.

Розги для познания блага. Расстрел директора

«Благодарим Тебе, Создателю, яко сподобил еси нас благодати Твоея, во еже внимати учению. Благослови наших начальников, родителей и учителей, ведущих нас к познанию блага, и подаждь нам силу и крепость к продолжению учения сего».

Наш учитель, он же начальник, похоже, не очень-то стремился вести нас к познанию блага. Расшалившись, я отскочил к стенке, возле которой стояли зимние оконные рамы, и разбил большое стекло.

Налетел учитель, он же директор, пожилой уже человек, всю жизнь проработавший в школе. Он ухватил меня за ухо и волоком потащил в класс. Я умирал со страху в предвидении жестокой публичной порки. Но экзекуции вместо меня подвергли кузена Борю. Наставник так и заявил: вместо виновника, который мал.

Меня и Лельку сразу же забрали из школы. Так бесславно закончилась моя первая попытка приобщиться к знаниям. В следующий раз я пошел в школу через два

года. А другу моему Лельке учиться никогда больше не довелось. Вскоре после освобождения его случайно застрелил из пистолета шестилетний братишка. Застрелил на печке, где у них оказался целый арсенал оружия.

Кстати, Боря тоже бросил школу. И оказался прав: учебу в ненашей школе советская власть не признала.

Как это ни странно, но порка имела последствия и для нашего славного ментора. Через год с небольшим, когда наша семья находилась в партизанском отряде, его как активного пособника фашистов партизаны заочно приговорили к смертной казни. В деревне долго помнят зло: родной брат пострадавшего за меня — Коля, который к тому времени уже партизанил, вызвался привести приговор в исполнение.

Как-то будучи в Пскове, где Коля живет, я спросил его, как было дело. Тем более что в памяти моей сохранились рассказы, будто он издевался над учителем, а потом надругался над его трупом.

— В деревне и не такое придумать могут, — возразил Коля. — Ну, сам подумай, зачем я стал бы измываться над дедом, который учил и меня? Да почти все, кто присутствовал при казни, были его учениками.

— Завели мы его в лес, прочитали приговор. Он затрясся со страху. Мы расстреляли его не сразу. Повели дальше по тропе. Я шел сзади. Выбрал момент и выстрелил ему из пистолета в голову... Вот как бывает, братка, — вздохнул он. — А до войны ничего худого за ним не замечали. Уважали. Сам знаешь: учитель что поп на селе.

К истории родного Алтуна

Многострадальная Псковская земля! Самая западная из русских земель, она в течение веков была аренной кровопролитных сражений с иноземными захватчиками.

Историки посчитали, что Псковская вечевая республика, воин и страж земли Русской, в эпоху средневековья сотни раз отражала нападения захватчиков, обеспечив незыблемость западных границ Древней Руси.

Кто только не побывал в окрестностях Алтуна: ратники литовского князя Витовта, воины Стефана Батория, ливонские псы-рыцари. Алтунщина — ближайший сосед Пушкинского заповедника, до Михайловского — рукой подать. Исследователи утверждают, что село Воронич, к которому примыкает Тригорское, упоминается в русских летописях с XIV века. В те времена это был один из крупнейших пригородов Пскова, его форпост вблизи русско-литовской границы. Алтун к этой границе на добрый десяток километров ближе.

Говорят, если ковырнуть поглубже Псковскую землю в любом месте, обязательно найдешь остатки какого-нибудь оружия, от копья до автомата. Следы последней войны — незатянувшиеся раны на лице земли. Все леса вокруг Алтуна изуродованы линиями окопов, ямами от блиндажей и огневых точек, всюду остатки колючей проволоки, железо. А ведь прошло более полувека!

Мой дядя, Зиновьев Андрей Васильевич, нашего, как говорят, Мироновского корня, большой знаток края, утверждает, что в окрестностях Алтуна полно древних славянских захоронений, и что об этом писали, в частности тот же С. Гейченко, правда, с его же, дядиных, слов. Не знаю, не читал. Но что я знаю твердо: странное имя свое Алтун получил в обозримом прошлом. Как оно называлось раньше и что было на этом месте до имени князей Львовых — неизвестно.

Я слышал прежде и встречал в литературе о наших местах название села в таком вот виде: Алтун (Альтона). Название явно иностранное, по звучанию скорее латинское. С чего бы это? Естественно, по законам русского языка оно скоро превратилось в странное образование — скорее не по звучанию, а по неопределенности отношения к какому-либо народу.

В тюрских языках есть слово «алтын», что значит «золотой». Я сам лично работал целых две недели на току в деревне Алтынташ Челябинской области. В переводе на русский алтынташ — золотой камень (как караташ — карандаш — черный камень).

Почему-то я всегда был уверен, что Львовы назвали свое имение в честь какого-то населенного пункта за рубежами России. Может быть, так называлось имение какого-нибудь римского императора, писателя, философа? — рассуждал я. Не могу взять в толк, откуда я почерпнул, что княжеский особняк чуть ли не копия какого-то известного в Германии дворца, чуть ли не из ансамбля Сан-Суси. Не потому ли в Алтун так часто наезжали художники в немецкой военной форме и, часами стоя у мольбертов, скрупулезно переносили особняк на свои холсты?

И вот пару лет назад я просматривал журнал из новых (может быть, «Эхо планеты?»), а в нем — большая статья о Гамбурге. Оказывается, в состав земли Гамбург входят города Альтона, Харбург, Вандсбек и Бергедорф. И что в настоящее время Альтона входит в городскую черту Большого Гамбурга, а еще в начале века это был тихий и уютный городок на берегу Эльбы в 110 километрах от ее впадения в Северное море и что это было любимое место отдыха европейских аристократов, а в особенности русских.

Не здесь ли зарыта собака? Не был ли Львов страстным почитателем немецкого курортного местечка? И уж если на то пошло, не скопирован ли княжеский дом с какого-нибудь альтонского здания — гостиницы, пансионата? Может быть, оригинал цел-целешенек, в отличие от копии, взорванной с немецкой добросовестностью? Долгое время после войны это были живописные развалины, украшенные элементами декора из мрамора и глазурованных плиток, потом осталась гора строительного мусора: все более или менее приличное было аккуратно пристроено для нужд частного домостроения. Так же как и, напри-

мер, прекрасно сохранившиеся после военных напастей каменные стены каретного сарая, растащенные под фундаменты строящихся домов: у местного колхоза не хватило ни средств, ни хозяйственной сметки для сооружения крыши, чтобы восстановить прекрасное, а главное вечное хозяйственное строение.

Александр Сергеевич неоднократно наезжал в наше село с визитами к губернскому предводителю дворянства, каковым был в то время А. И. Львов. Имение Львова славилось на всю губернию картинной галереей, роскошью интерьеров, конюшней, псарнями. Говорят, имение Троекурова в «Дубровском» во многом было списано с Алтуна, а в Троекурове окрестные помещики узнавали Львова.

В своей книге «Пушкиногорье» С. Гейченко приводит рассказ об одном из Львовых, Александре Алексеевиче, потомке предводителя:

«...Александр (из Алтуна) ездил по уезду в золотой колеснице, в тигровой шкуре на голом теле. Всю деревню свою он таскал с собою, увешивал их груди орденами вроде льва и солнца. Но держал их голыми.

Раз он затеял правильный штурм Новоржева. Собрал армию, выкатил пушку и осадил город. Начал даже пальбу. Хорошо, что исправник был догадливый. Он взял какие-то ржавые ключи, положил их на бархатную подушку и вместе с "отцами города" торжественно вышел навстречу врагу и сдал ему город...»¹

Роскошным имением Алтун стал на рубеже XX столетия, о чем свидетельствуют даты, выложенные из красного кирпича на фронтоне каменных построек села (деревянных в Алтуне почти не осталось).

Секрет прост — Львовы оказались толковыми хозяевами и сумели не только наладить производство разнообразной сельскохозяйственной продукции, но и создать комплекс предприятий по ее переработке.

¹ Гейченко С. Пушкиногорье // Роман-газета. 1987. № 1. С. 51.

Вот таким прекрасным местом на земле я и запомнил Алтун.

С тех пор минуло более полувека. Много перемен произошло не только в мире, но и в русской деревне. Она рухнула под тяжестью «социалистического способа хозяйствования». Рухнула не только в переносном, но и самом прямом смысле. Не обошла чаша сия и мой родной Алтун. От того, каким он был в годы войны, остались неопрятные развалины, а поля вокруг, кормившие поколения крестьян, превратились в пустыри. В деревнях доживают свой век старые немощные люди. Во время войны 150 человек обрабатывали 350 гектаров алтунских полей, а в 80-х на все деревни вокруг остались четыре полевода, одни пенсионерки. Мудрость красных хозяйственников поражает: будто в коммунистическом завтра, по их представлениям, никто не будет нуждаться ни в плодах земли, ни в тучных стадах.

Ну, а временем расцвета Алтуна, видимо, надо считать пресловутый 1913 год. В 14-м началась война. Потом революция. В созидательном запале революционные массы сожгли и разрушили в Алтуне два кирпичных дома, в которых жили люди. Кто это сделал? Точно известно, что не алтунские. Когда тайком стали растаскивать добро из брошенного особняка, алтунцы разыскали экспроприаторов, отобрали краденое, нагрузили его на телеги, а воров запрягли и, погоняя их кнутами, привезли имущество назад. Воры же все и разложили-расставили по местам.

Беззаботное детство продолжается!

Итак, в школу я больше не пошел. Только сейчас понимаю, какой царский подарок преподнесла мне судьба: подумать только — беззаботное детство мое продлилось на целых два года! А если присовокупить к этому то обстоятельство, что я не знал ни яслей, ни

детского сада, так скажите, только честно, кто не позавидует такому детству? Вспоминаю, как бабушка моя Евдокия Ивановна, уже после войны, живя в городе, жалела малых деток, которых надо рано-рано в любую погоду вытаскивать из теплых постелек, чтобы отнести в ясли или отвести в садик. «Мыслимо ли так над детьми измываться? — сокрушалась она. — Да дети только тогда и растут, когда спят досыти... И что это за жисть такая?»

Я уже говорил, что у бабушки был большой педагогический (если уместно это слово в данном конкретном случае) опыт: она родила и довела до самостоятельной взрослой жизни одиннадцать детей (тетя Нина — младшенькая), не потеряв ни одного. Кроме того, собственной грудью вскормила двоих детей князя и пестовала их наравне со своими детьми до школьного возраста.

Мать моя была сверстницей барчат. А бабушку до самой смерти в округе и стар и млад звали «нянька Дуня», хотя умерла она в 60-е годы, и лишь кто постарше знал о ее ипостаси кормилицы.

Х Х Х

...Кажется, совсем недавно носились мы босиком по пыльному горячему песку, по ласковой кучерявой травке...

На улице, бывало, хлещет дождь, а мы стоим толпой у дверей и выглядываем наружу. Кто-нибудь вскрикнет вдруг от собственной удали и выбросится на улицу, чтобы вихрем промчатся по лужам под льющимися сверху потоками. Несется так, что только брызги в стороны!

А как хорошо после дождя разгуливать босиком по теплым лужам! Податливая грязь расступается под ногой, червяками извиваясь между пальцами. Ощущение странное, но приятное. След от ступни, такой отчетливый

и такой интересный, что его можно печатать до бесконечности, медленно заполняется грязной водой.

Что может быть лучше лужи на траве, особенно если она под деревом? На воде — густой налет желтой пылицы. Упадет с ветки тяжелая капля, ударится о воду и разлетится мелкими брызгами. На воде в этом месте подпрыгнет пупырышка — и пойдут от нее по луже маленькие круги, разгоняя пылицу. А как приятно бродить по травяным лужам босиком! И ноги становятся чистыми-чистыми.

Полетели по воздуху белыми лопухами слипшиеся первые снежинки.

На улице тихохо. И снегопад! Радостным визгом встречает его детвора. Снег падает такой густой и пушистый, что на улице глаз не разлепить. Ничего не видно. Только шуршит шевелящаяся белая стена.

Снег закончился так же внезапно, как пошел. Села не узнать. Все кругом белым-бело. И снова мы выглядываем из дверей на улицу. И снова соревнуемся, кто дальше убежит от дверей по снегу. Ступни горят! Удальцы сверкают алыми пятками над белой дорогой, аж дух захватывает. После пробежки всяк норовит побыстрее заскочить на общественную печку. И скоро на ней оказывается вся ребятня. Каждому хочется рассказать о своих впечатлениях. Только и слышно: «А я...», «А вот я...», «А Лелька...», «А Борька...» До чего же прекрасна жизнь!

Х Х Х

Однако такое длинное и удалое детство, как оказалось, имело и негативные последствия. Когда через два года я пришел восьмилетним в школу, выяснилось, что знаю я лишь три буквы: «а», «б» и «м». Две из них легко складывались в «мама», а еще две были моими инициалами.

Сейчас уровень моего развития, наверно, определили бы следующими красивыми словами: «Олигофрения в стадии дебильности». Но разве были я и мои друзья виноваты в том, что у нас не было книг, что родителям некогда было с нами заниматься грамотой? Да и как они могли это делать, если по теперешним меркам были они неграмотны?

Забегая на два года вперед, скажу, что, едва начав учиться на родине в 1944 году, учебу я прервал по причине переезда на Урал, к отцу, который, как оказалось, всю войну проработал на оборонном заводе и отыскал нас после оккупации. Первую четверть я практически пропустил. Учительница ахнула, когда ей открылся багаж моих знаний.

Но тут мне на выручку откуда-то подоспел Рафаэлло Джованьоли. Маме, малограмотной, но большой охотнице до чтения, кто-то дал почитать «Спартака». Мы стали читать книгу вместе. Мне казалось невероятным, что по каким-то маленьким буковкам можно узнавать самые невероятные сведения о самых невероятных вещах. И с таким остервенением стал постигать грамоту, что через сравнительно короткий срок мы вдвоем проштудировали увесистый том. А к весне я без запинки читал по газете, обогнав в скорости чтения многих одноклассников.

Х Х Х

...И опять мы стали ходить к озеру, которое совсем было забыли в осеннее ненастье. Потому что в пасмурную погоду у озера холодно, мокро и грязно. А теперь озеро, с виду такое неуютное, с темной холодной водой, стало для мальчишек привлекательным. В камышах вода замерзла. Мы скользим по льду, шумно раздвигая камыши, прямо к рогозу, чтобы срезать такие желанные, такие черные и такие бархатные початки. Постукивая палками,

приближаемся к тонкой и прозрачной ледяной кромке, за которой — вода. Самых маленьких ребята постарше к воде не подпускают. Волны, разбиваясь о твердь, струями стекают по корням деревьев, по прибрежным камням, по травам и веткам и замерзают, образуя у берегов причудливые ледяные фигуры. Приглядевшись, можно угадать в них и людей, и птиц, и зверей.

Там, где из озера тихо струятся воды ручья, однажды мы увидели такую картинку. На бревнышке, лежащем в воде и схваченном по краинам льдом, сидит черный зверек величиной с хорошую мышь. Короткими лапками он держит что-то и с аппетитом грызет, суетливо шевеля усами. Потом «мышь» бросается в воду и погружается на дно. Здесь довольно глубоко, но сквозь прозрачную воду хорошо видно, как она там что-то перебирает. Захватив нечто, всплывает, мгновенно оказывается на бревнышке и как ни в чем не бывало поспешно продолжает насыщаться. Что это за зверь, никто не знает. Мы смотрим за погружениями незнакомца, пока не замерзаем. А куторе (название животного я узнал много позже) весело и комфортно.

...Зима все ближе и ближе. Дует холодный пронизывающий ветер. Низкие черные облака клочьями проносятся над землей, бросаясь то дождем, то снегом. Мрачно и неприятно вокруг. Сердито шумит лес, растревоженный непрекращающимися порывами ветра.

С первыми морозами появились красногрудые снегири, замелькали желтыми зеркальцами на крыльях стайки щеглов над бурьянами. В сады устремились шумные многочисленные ватаги свиристелей, обмениваясь на лету мелодичным «свиристенем».

Проснулись мы однажды, побежали на озеро и ахнули: оно превратилось в гладкое светлое зеркало. А на зеркале — ни снежинки. На льду побывало в этот день все село, включая радостных, как дети, оккупантов. Однако отходить от берега не решались. Только мальчишки постарше, которым было лет по четырнадцать, в том числе мои

родственники, смело направились к дальнему, противоположному берегу. Лед под ними прогибался и трещал, но был прочен и эластичен, как все молодое.

К вечеру ребята вернулись крайне возбужденными. Оказывается, невдалеке от противоположного берега сквозь прозрачный лед они видели выдру. Выдра, как они уверяли, внимательно разглядывала их прямо из-под ног, а потом исчезла. Ну разве не сенсация?

Х Х Х

Отец мой, разлученный с родными краями всю вторую половину жизни, с наслаждением вспоминал детство и юность, и, слушая его, казалось, что там навсегда были прописаны радость и веселье и что не было и нет мест на земле интереснее и краше наших.

Во времена его отрочества, когда вставало озеро, дорога в школу из Свистогузovo и обратно превращалась в сплошное удовольствие. Во-первых, она делалась намного короче и большая часть ее пролегалa посередине озера и вдоль него. Алтун оставался в стороне. А во-вторых, дорога становилась спортивной дистанцией. Мальчишки и девчонки из Устиново, Лябино, Канашовки и Свистогузovo устраивали гонки: кто бегом, кто на санках, а кто и на... коньках.

Лично я коньков в годы оккупации не видел. Но, оказывается, в 20-е годы мальчишки мастерили их из толстой проволоки, прилаженной к деревянной колодке. Проволока была в дефиците, поэтому у счастливых было по одному коньку.

Деревянный конек с проволочным полозом крепился к лаптю. Конькобежец одной ногой отталкивался, а другой на коньке скользил по льду.

— Если дул попутный ветер, — рассказывал отец, — то встанешь, бывало, на конек, распахнешь полушубок, как

парус, оттолкнешься, и глазом не успеешь моргнуть, как перенесешься через озеро. А там и до деревни рукой подать — полкилометра лесом.

Чем хороша деревня, так это безусловным, само собой разумеющимся привлечением детей к физическому труду. Отсюда культ силы и выносливости среди деревенской детворы. Отец, когда ему было уже за шестьдесят, свободно ходил на руках. Оказывается, часть пути в школу свистогузовские ребята преодолевали на руках. Конечно, не зимой.

Девчонки от ребят не отставали. Подоткнут подолы и — вперед.

— Летом на озеро купаться наперегонки на руках бежали, — добавлял отец.

Х Х Х

...Именно в эту чудесную пору сподобилось мне тонуть в очередной раз.

Еще летом дядя Антон по заданию коменданта соорудил на озере мостки. Мостки уходили по сваям в озеро метров на десять, а потом расширялись, образуя букву Т. Они были огорожены перилами, и только часть поперечины буквы Т, обращенная в открытое озеро, была без перил. Я спрыгнул с мостков на лед. И хоть высота была небольшой, лед подо мной проломился, и я с головой погрузился в воду — в пальто, валенках и рукавицах. Всплыв, ударился головой об лед. Но как-то быстро оказался в полынье. На мостках кричали и плакали навзрыд верный друг Лелька и его младший брат Шурка — им очень меня стало жалко. Они вцепились в меня и стали тащить изо всех сил. Помогать больше было некому, рядом не оказалось ни души. Я хватался за лед и норвил вскарабкаться на него. Ребята упирались как могли. И наши совместные усилия возымели успех. Скрыть факт

купания было невозможно — я был мокрее воды. А вот какой была кара — не упомяну.

Зимние посиделки

...По вечерам в белом доме начинались посиделки. В «холле» у русской печки сумерничали деды. И наши и из красного дома. Они сидели на длинной лавке и степенно рассуждали, покуривая. При затяжке концы простых самокруток и «козых ножек» почти всегда вспыхивали пламенем, освещая бородатые «физиогномии». Деды несуетно задували их, не прерывая неспешной беседы. Эти всполохи в кромешной темноте вкупе с приглушенной басовитой беседой и густым табачным дымом создавали иллюзию чего-то нереального, шаманского. Я сижу на табуретке сбоку и все ерзаю-ерзаю, потому что зад устает от долгого сидения. А дедам хоть бы хны. Помню, как кто-то из дедов вдруг и говорит:

– Борьк, етиттвоюмать, фули ты шебуршишь, как воробей в сухом венике?

Все смеются, а я, сконфузясь, бегу к мамке.

Помню, как в схожей ситуации Витька подбежал к нам с дедушкой, когда мы сидели у печки, и, хлопая себя по набитому животу, сделал заявление:

– Деда! Пузо лопнет — наплевать: под рубахой не видеть.

Наверно, только что от кого-то услышал, удивился и решил со всеми поделиться.

Дедушка сказал ему со смехом:

– Вить, хвались умом, а не оходом (животом)!

Мальчонка задумался, запустив палец в нос, а потом побежал дальше рассказывать о своем наплевательском отношении к лопнувшему под рубахой пузу.

Был клуб и у женщин. «Заседания» клуба проходили в нашей комнате — самой большой в доме. Дамы, есте-

ственно, вели оживленные дамские разговоры. Но не только.

Очень часто пели под гитару песни. Иногда соло. Хором чаще всего пели «Ты гуляй, гуляй, мой конь» и «Эх, летят утки». Мать под гитару пела душеспительный романс «Мамочка милая, сердце разбитое, милый не хочет любить». Дамский кружок испытывал очевидное удовольствие от общения.

Почти всегда пение совмещалось с рукодельем и «исканием». Мать в старости говорила, бывало:

— Посмотришь: сколько перхоти у людей, прямо струпами. И плечи, как мукой, присыпаны. Раньше у нас такого не было. Гребешки были частые черепаховые, искались постоянно. Положишь подушку кому на колени, на подушку — голову. Тебя и «ищут»: кончиком ножа перекалывают пряди, проборы скоблят, а вшей или гнид дают. И «искать» интересно, и когда «ищут» — приятно. Так на сон и тянет. Как-никак массаж. И голова после этого никогда не чешется.

Жизнь однажды заставила меня проникнуться прелестью «искания». Вот гдегодились методические указания матушки. Как-то внук приехал из летнего лагеря и привез с собой педикулез. Голова у него оказалась набитой вшами и гнидами. В аптеке никаких средств борьбы с этой смешной хворью не оказалось, и я обратился к опыту своих предков.

...В атмосфере такой задушевности мы, ребяташки, сидим на печке (это когда клуб собирается в комнате Микени Солдатовой, у родителей Лельки с Шуркой) и посматриваем, как баба Дуня, подпевая, «доит» кудель, тетя Катя вяжет. Мы развлекаемся тем, что ловим тараканов, безмолвных и шустрых, и запикиваем их в спичечные коробки, которых на печке полно — из них, как из вагончиков, сотворены длинные, в несколько коробков, «составы». Тараканы внутри «шкварятся», коробка потрескивает, когда прижмешь ее к уху, совсем как радио. «До чего интаресно!»

Тараканов в доме очень много. Когда все укладываются спать и затихают, в темноте слышно неясное шуршание — это тараканы.

Особенно любят они стол. Скобленая-перескобленая ножом столешница притягивает их, как магнит. Когда светает, ясно видно, что столешница шевелится как живая.

А вот сверчок — загадка. Он то помалкивает себе за печкой, а то издает приятные звуки. Еще в детстве слышал я, что в новом доме перво-наперво надо поселить сверчка. Потому что без сверчка дом сирота. Уже взрослым я прочитал у японского классика Басе такую хокку:

Какая грусть!
В маленькой клетке подвешен
Пленный сверчок.

Оказывается, с незапамятных времен «в Японии и Китае стрекочущих насекомых (сверчков, цикад) держат в доме в маленьких клетках, как певчих птиц». Как сходны человеческие вкусы!

Невидимый и неуловимый певец, сверчок похож на кузнечика, почти как однояйцовый близнец. Только нежного оливкового цвета и не прыгает. (Однажды по весне наш конструкторский отдел отправили работать в теплицу, и там сверчков оказалось так много, что мы свободно брали в руки сразу по нескольку особей и разглядывали их сколько хотели. Домой взять никто не решился — сверчок больно плодовит!)

...На дамских посиделках, где была очевидной тяга к духовности, я впервые услышал стихи Николая Алексеевича Некрасова. Кто-то принес поэму «Орина — мать солдатская». Стали читать «вгул» по очереди, так как все читали не очень. Стихи были настолько созвучны общему «сиротскому» настроению, что по ходу чтения женщины тихо плакали. А когда добрались до строфы:

Повалился — плачет, кается,
Крикнул: «Ваше благородие!
Ваше!..» Вижу задыхается, —

декламацию прервали рыдания.

Вбежали встревоженные мужики: «Что случилось?» и остались. Потом поэму перечитывали еще раз, для них.

Мало слов, а горя реченька,
Горя реченька бездонная.

После последних слов поэта все начали вздыхать и удрученно цокать языками: «Вон она, жисть какая для простого-то народу!» Мужики раздумчивые комментарии обильно перекладывали нецензурными словами. Надо думать, для пущей убедительности.

Согласно семейному преданию, судьба моего дедушки Дмитрия Васильевича странным образом повторяла судьбу Орининого сына. Рожденный в 1875 году, срочную службу он нес в 90-е годы прошлого столетия (XIX. — Сост.). Однажды к наказанию палками был приговорен товарищ дедушки. Когда того, привязанного к винтовкам, пропускали сквозь строй, дедушка не ударил наказанного, а лишь коснулся его палкой.

Офицер, здоровенный мужчина, заметил это, подскочил к худенькому дедушке и одним ударом выбил ему передние зубы. А потом сквозь строй протащили дедушку. Ему отбили все внутренности и вскоре комиссовали вчистую. Но дедушка оказался живучим, хотя долгие еще годы постоянно прибалывал.

1943 год. Даже немцы верят в нашу победу! О снегопадах, латышах и моем позоре

...Не успели оглянуться, а новый год тут как тут. Новый, 1943-й.

Зима на переломе 42-го и 43-го годов была богата щедрыми снегопадами, пургой и метелями. Большак часто и надолго заваливало сугробами. Жителей прилегающих к большаку деревень поголовно выгоняли на расчистку дороги, которая превратилась в снежный тоннель.

Отвалы по обочинам были так высоки, что машин от Алтуна, с пригорка, не было видно вовсе. Только шум моторов указывал на присутствие оживленного шоссе.

1943 год мы, дети, встречали в школе, куда были приглашены не только учащиеся, но и вся детвора. Спасибо за это нехорошему директору!

Елка стояла в середине учебного класса и, конечно, была красавицей. Это и не удивительно: было из чего выбрать. Елок в окрестных лесах — хоть отбавляй! Игрушки тоже были хороши. Почти все игрушки принесли Круминьши: отец, мать и двое детей, мальчик и девочка. Сам Круминьш, стройный и темноволосый мужчина с красивым узким лицом, был механиком в совхозе «Вехно» и дружил с моим отцом. Во время войны, бывая в Вехно, мы всегда оставались у них ночевать.

В наших местах, пограничных с Латвией, латышские семьи в деревнях не редкость, как на северо-западе Псковской области эстонцы. Псковичи — и это характерно для представителей других больших народов — никак не выделяли их из своей среды, и, наверно, не каждый в деревне знал, что их односельчанин Ванька Мельников был латыш Ян Чаун. Тем более что в деревне в ходу, как правило, не фамилии, а прозвища. Национализм на бытовом уровне полностью исчерпывается пословицей «в няво, как в латыша, хрен да душа», непонятно как возникшей у псковского крестьянина, имевшего не больше.

Очень часто латыши были сельскими интеллигентами, как Фриц Круминьш. В просторном доме «дяди Феди» было несколько комнат: дощатые перегородки делили избытое пространство на небольшие закутки. В одном из

них на полках было изрядное количество книг, патефон на низком столике, швейная машинка и скрипка в потертом футляре. На комодe — статуэтки. На стенах — портреты солидных дядей в белых воротничках и галстуках. В большой комнате — огромный фикус, на подоконниках — герань и ванька мокрый.

Зато по весне большая кухня с русской печкой становилась филиалом скотного двора, как, впрочем, и в каждой деревенской избе. В тесном закутке между печкой и стеной стучал крошечными копытцами недавно родившийся теленок; и хотя солома под ним постоянно менялась, запахи хлева перебивали все остальные. Мы с дедушкой и запряженным в розвальни Колькой «трапились» к ним как раз, когда на дворе сильно похолодало и в избу привели простуженную овцу и пустили под печь с десяток кур.

На другой день нас с маленьким Круминьшем закутали в тулупы и повезли в Новоржев. Мы с дедом поспешали к какому-то родственнику, а Андрея мать везла к зубному врачу. Все долгие десять километров он стонал, а его мама, склонясь к вороху покрывал и платков, участливо спрашивала:

— Ягодка, зубкам больно?

Чем, как оказалось, очень веселила моего смешливого дедушку. Он долго потом вспоминал об этом и все похохатывал: дескать, знает одну ягодку, у которой есть зубки.

Так же, на всю жизнь, рассмешила одного из моих кузенов старуха-соседка, обратившись к своему старику с такой вот речью:

— Тимох, я думаю, ты сявонни никаво не кусил (ничего не ел). Куси каво-нибудь!

В доме у Круминьшей были на постое два немецких офицера. Вечером, когда хозяева и мы переделали все дела, постояльцы вышли в горницу и стали ужинать. Денщик подавал на стол, а офицеры, тихо переговариваясь, приступили к трапезе. Для начала они

с «прозитом»¹ выпили по крохотной рюмке шнапса и стали закусывать бутербродами.

Вот эти злосчастные бутерброды и оказались причиной моего позора, о котором я долгие годы вспоминал, кривя от неудовольствия свою бесстыжую морду.

Основу бутербродов составляли ровно порезанные куски белоснежной пушистой булки. На булку был намазан хороший слой желтого с соленой слезой деревенского масла, а сверху бутерброд венчала загадочная оранжевая масса. Это была «заморская» икра — то ли баклажановая, то ли кабачковая. Загадку я разгадал несколько лет спустя. Но именно она привела меня к столу, заставила в стол вцепиться и устремить из-под столешницы неприличный просительный взгляд. Сгорая от стыда, я умолял всем своим видом дать бутерброд и мне. Жесткие призывы деда из-за дверей не могли меня вывести из состояния гипноза. Согретье шнапсом и занятые беседой, немцы меня не замечали. Наконец, один из них споткнулся о мой безмолвный постыдный крик и всучил мне всю свою долю, а потом еще и погладил по голове. Я поплелся к дедушке — не радостный, а печальный. Щедрое подаяние было отравлено горечью стыда и короткой дедушкиной репликой: «Ну, ты и кнут!»

А когда после немцев за стол сели мы, а я в грустях стал от еды отказываться, дедушка наклонился и с досадой сказал мне, понизив голос:

— Ешь, вирай под овечий хвост, побираха...

Где-то через полгода дядю Федю арестовали и увезли в Новоржевскую тюрьму. За что — не знаю. Наверно, за связь с партизанами.

Весть эту принесла из тюрьмы в очередной раз забранная и отпущенная тетя Нюша. Она рассказала, что его сильно пытали: загоняли под ногти иголки. Дядя Федя

¹ Прозит (от лат. *prodesse* — быть полезным, добродетельным) — в западных странах застольное пожелание здоровья: «За ваше здоровье!»

кричал от боли на всю тюрьму, но так ничего палачам и не сказал. Потом, по слухам, его отпустили.

Но узнать что-нибудь подробнее о нем и его семье мы не успели, потому что сами скоро оказались в бегах.

А в это время в Ленинграде и Сталинграде...

Однажды, воротясь домой после снегоочистительных работ на большаке, мы застали дома гостей: из Ругодево пришла проведать родню тетя Клава, мать Ветки, и привела подругу — тетю Лену. Все радостно смеялись, а тетя Клава ярким звонким голосом рассказывала, как они добирались до Алтуна, стараясь избегать немецкие посты да патрули, которым не было числа. В отличие от тети Клавы, высокой стройной блондинки с карими глазами («блондинкой коровьей масти» называл ее мой дядя — подросток, который славен был на селе ядовитостью выражений), тетя Лена была небольшой и пухлявой и у нее были темные волосы и синие глаза. Обе молодые женщины (им не было и по тридцать) были отменно хороши собой.

Во время разговора кто-то заскочил к нам и сообщил, что к дому идут немцы.

— Уже успели донести, — гневно проговорила бабушка. — Вот беси.

Гости подхватили большие мешки-шелгуны и скрылись в уборной. Но тревога оказалась ложной: немцы мимо дома проследовали на конюшню.

В шелгунах оказались листовки, обильно пересыпанные мукой. А тетя Клава и тетя Лена выполняли задание партизан, которые базировались в густых Ругодевских лесах. Когда листовки были извлечены из мешков и спрятаны, гости отправились к пану старосте Пупышку доложиться.

А за вечерним столом тетя Клава рассказала, как осенью, когда еще был тепло, они с тетей Леной вот так же

в мешках с мукой доставляли куда-то листовки. На мосту через неширокую речушку их остановил немецкий солдат и стал проверять документы.

— Веселый такой, — рассказывала тетя Клава. — Документы проверил и давай нас щупать, дескать, не спрятали ли чего. Да так ласково да старательно, что мы тоже с ним давай заигрывать — лишь бы пропустил поскорее. А он раз — и за торбы. Сердце в пятки упало: ну, думаем, сейчас бумага зашуршит — и пропало дело. Мы перемигнулись и, будто смехом, толкеть его в речку. А сами — давай бог ноги. И обошлось.

На другой день гости рано поутру ушли домой. И только после их ухода тетя Нина доставила листовки по назначению, а в селе узнали радостную весть, заключенную в листовках: блокада Ленинграда прорвана.

Где-то начиная с этого времени в нашем доме стали появляться либо «дальние родственники», либо «знакомые» с поручениями от дальних родственников.

Потом я впервые услышал слово Сталинград. Новость о победе в Сталинградской битве первым сообщил тетке Нине сам Миллер, конечно, под большим секретом.

Летом того же 1943 года произошел чрезвычайно знаменательный случай, на достоверности которого я буду настаивать вплоть до поедания любого своего головного убора, буди окажусь уличенным во лжи.

К Миллеру в гости пожаловал друг, тоже офицер. Они напялили галифе с ярко-желтыми кожаными задами и коленками и отправились на конюшню. А спустя некоторое время мы, целая толпа мальчишек и девчонок, стали наблюдать за их выездкой. Лошадей было две, но одна была привязана, а на другую джигиты по очереди садились и не очень уверенной рысью, порою переходящей в галоп, проезжали открытый участок дороги от дубовой аллеи к белому дому.

Откуда-то возникла тетя Нина. По причине доверительности отношений она подошла к Миллеру и стала смеяться:

— Эх вы, наезднички. Сидите на лошади, как собаки на заборе.

— Может быть, ты научишь, Нина? — любезно осведомился Миллер.

— И научу! А ну, давайте сюда лошадь!

Тетка довольно шустро влезла в седло и сразу же ударила лошадь плеткой. Лошадь обиженно рванула с места в карьер, и напару с Ниной они быстро скрылись за поворотом. Скоро земля снова загудела под копытами, и всадница с развевающимся подолом появилась из-за деревьев. Лицо у нее было испуганным. Лошадь резко остановилась, и тетка мешком стала сползать на землю. Кожаные зады приняли ее прямо на руки.

По словам тети Нины, после этого состоялся такой разговор. Приезжий офицер сказал:

— Вы храбрая девушка, Нина. Настоящая немка. Наверно, рано или поздно нам придется вернуться в Германию. Вы не хотите поехать с нами?

— Ну, что вы, — ответила тетя. — Мы ждем не дождемся Красную армию. Ведь там у нас братья и отцы. Так что ни в какую Германию я не поеду.

Друг Миллера промолчал, а Миллер, немного погодя, тайком пожал ей руку и сказал: «Гут! Молодец, так и надо!»

Х Х Х

На исходе зимы в районе активизировались партизаны. 25-летие Красной армии они ознаменовали дерзкими налетами на немецкие гарнизоны. Так пишет историк¹. В Алтуне ничего особого не произошло.

Однако немцы приняли адекватные меры: они начали массовые вырубки садов и участков парков, которые по-

¹ Попов А. А. Указ. соч. С. 111–113.

зволюли скрытно приблизиться к селу. Эта затея, похоже, была признана дохлой по той простой причине, что вырубить пришлось бы сотни вековых деревьев почти в два обхвата каждое.

Кто не рискует, тот не пьет шампанское

И снова наступила весна. Из щепок и сосновой коры вырезаем кораблики, пристраиваем палочки-мачты и надеваем на них бумажные паруса. Елозим вдоль ручья с прутиками, подгоняя и направляя свой флот, делаем грязе-снежно-ледовые запруды и лепим из этих же материалов узкие, но глубокие фарватеры. Короче, забот — полон рот.

Толя, как всегда, серьезен и весь в хлопотах: он мастерит скворечники, а потом прибывает их к деревьям. Прошло немного времени, и самые деловые пошли в лес по сморчки, а в мае — на болота собирать перезимовавшую клюкву.

Где-то в конце мая — начале июня немцы покидают село. Они сваливают скарб на подводы и увозят его на станцию, где личный состав уже занимается обустройством школьного здания, приноравливая его под свои военно-интендантские нужды.

Как бы то ни было, немцы, занятые перевозкой, на подводах убывают на станцию, а остатнее имущество в доме остается охранять один-единственный часовой. Он прохаживается вдоль стены. Туда и обратно. Зайдет за угол, побудет там некоторое время, потом появится и медленно идет к следующему углу. Поравнявшись с крыльцом, где настежь распахнута дверь, останавливается и заглядывает, вытянув шею, внутрь. А потом продолжает свой незамысловатый маршрут. Лелька и говорит мне:

— Давай, когда немец за угол зайдет, забежим в дом, схватим чего поинтересней, и назад. Он нас и заметить-то не успеет...

Вот такое обыкновенное русское решение в предлагаемых жизнью обстоятельствах.

Только немец повернулся к нам спиной, как мы, от важные экспроприаторы семи и восьми лет от роду, понесли к открытой двери, дабы ценой своего подвига резко снизить боеспособность вражеского подразделения, а заодно и обогатиться.

Хорошо знакомая прежде комната была неузнаваемой. Вдоль стен располагались стеллажи, посередине стоял большой стол и скамейки. Лелька схватил винтовочную обойму с патронами, а я кинулся к стеллажу, на одной из верхних полок которого виднелась внушительных размеров красочная коробка. Чтобы достать ее, надо было встать на скамейку, что я и проделал, теряя драгоценное для вора время. У входа загремели кованые солдатские сапоги: часовой, наверно, заметил-таки наше вторжение в охраняемую зону.

Лелька кинулся к двери и спрятался за нее, незамеченным пропустив часового в дом. Я же схватил коробку и выпрыгнул в раскрытое окно на противоположную сторону здания. Для моего возраста было очень высоко, но «кто не рискует, тот не пьет шампанское».

Крепко отбив ступни, я устремил свой бег в сенной сарай, где и просидел до самой ночи, наслаждаясь созерцанием похищенных сокровищ. А созерцать было что. В двойном дне основания располагались четыре ряда пластмассовых игрушек: два ряда красных, два ряда синих. Они дублировали друг друга, как белые и черные шахматы. Каждая из игрушек что-то изображала. Самыми крупными фигурами были орлы — красный и синий. Они были точными копиями орлов с форменных фуражек или мундиров — с прямыми крыльями и жутковатыми остроклювыми головами. Еще были танки, самолеты, бомбы и снаряды. У каждой фигуры было расширенное основание, а во внутренние полости был насыпан песок, который шуршал при перемещении фигур. Ясно дело, песок был нужен для придания фигурам устойчивости.

Когда поздно вечером я проскользнул в дом, немцев в селе не было, а родные меня чуть не хоронили. После неизбежной в таких случаях разборки все принялись изучать мой трофей и пришли к выводу, что эти фигуры обыкновенно расставляют на картах, когда изучают боевую обстановку. А я думаю: уж не шахматы ли это были, изготовленные быстро и дешево для солдатских «красных уголков»?

Пупышок приказал долго жить...

Как только немцы освободили красный дом, в него тут же въехали односельчане, которые были из него выселены и размещены в белом доме и в других двух домах, занятых русскими. Кто занимал в это время особняк — не помню.

Так как в белом доме стало просторно, мы с мамой переселились в отдельную комнатушку с маленьким очагом и большим, чуть не во всю стенку окном.

А в красном доме поселился Пупышок с женой и сыном, семьи беженцев и моя бабушка Настя с сыном и дочерью. В самом начале 1942 года в их семье объявился еще один человек — тетя Зина родила Вовку, моего кузена. Дядя Вася, отец Вовки, ушел на фронт в первые дни войны.

Пупышок занимал с семьей просторную комнату и жил, как кум королю. Хлопоты, неизбежные во всяком домашнем хозяйстве, были возложены на беженок. Жена Пупышка распорядилась ими, как столбовая дворянка холопами. Так как беженцы были в недавнем прошлом горожанами, у них было много того, чего не было в деревне: модная одежда и обувь, например. Все более или менее приличное перекочевало вскоре в пупышковские сундуки. А Пупышиха одеваться стала нарядно, по городскому. Тем более что потеть в поле или на огороде,

как остальные алтунки, ей нужды не было: пан староста имел что хотел. При таком достатке вершиной благополучия могло быть и, сколько помню, было усердное распитие алкоголя в его деревенской ипостаси. Поэтому Васька кажинный вечер был под хорошей балдой и беспрерывно куражился, нетрезвым голосом на весь дом риторически вопрошая:

— Ну, кто здесь самый главный? Я — самый главный!

Его сын Петька был моим годком, добрым покладистым парнишкой и непременным участником наших игр. Однако по младости лет разделял пристрастия своих родителей и в бесконечных дошкольных диспутах на тему, кто лучше, немцы или русские, неукоснительно отдавал предпочтение немцам.

— Знаешь, как немцы ходют? — спрашивал кто-нибудь из «красных», — вот так. И ковылял, изогнув ноги колесом.

— А твои красные — вот так, — и Петька шел, имитируя походку то ли паралитика, то ли калеки.

— А вот какие морды у твоих немцев, — вступал в диспут Лелька и корчил жуткую, по его мнению, рожу.

Однажды во время такой напряженной политической дискуссии, по сути своей мало отличающейся от пикировок в Государственной думе, я засунул в каждую ноздрю по крупному зеленовато-серому цилиндрику пороха, который мы только что жгли, и стал изображать противника.

Что-то вынудило меня сделать резкий вдох, и цилиндрик провалился в носовую полость. Я помчался к бабушке, которая лихо извлекала из глаз любые соринки, орудуя мокрым шершавым языком. Извлечь злополучный порох оказалось не по силам всей семье. Непредсказуемость свершившегося заставила нас с дедушкой отправиться за 15 километров в город к врачу. По счастью, туда же направлялась машина с теми, на кого я так неудачно сделал дружеский шарж.

Доктор осмотрел меня, попытался что-то сделать, а потом сказал «Обойдется!» и отправил нас восвояси.

И действительно обошлось: мы вскоре просто забыли о моей травме. А спохватившись, решили: порох растаял, растворился.

Чего только не случается с детьми! Во время войны отец был в командировке в Ярославле. В трамвае он увидел странную пару: бабушку и ребенка с наглухо замотанной шерстяным платком головой. Когда из-под платка доносилось невнятное бухтение, бабушка наклонялась и громким голосом давала ответы.

— Что с ребенком? — поинтересовался отец.

— Да внучек, шести лет, засунул голову в чугунный горшок, а вытащить не смог — уши мешают. Всей семьей бились — и без толку. Вот везу к слесарям — обещали распилить.

Однажды в нашу с Петькой Пупышонком дискуссию встрял Бронька, беженец лет двенадцати. Он прервал сценические опыты Петьки резким ударом ребром ладони по шее означенного. Петька зарыдал и побежал жаловаться папке. Мы побежали за ним. Дело было вечером, и «пан», грубо говоря, был уже нажратый. Он стоял на три-четыре ступеньки выше нас с «налитыми бельмами» и был весь — вопрос:

— Это какая блядь посмела тебя тронуть?

— Бронька, — захлебываясь соплями, сообщил Петька.

Пан ослышался и потому, худого слова не говоря, с размаху ударил меня в лицо ногой в сапоге. Я потерял сознание. В таком виде меня и притащили домой.

Когда я очнулся, на улице была ночь.

— Я яво, гада ползучего, вобью, — горячился дед, в молодые годы известный забияка и драксун (драчун). — Ен в мяня наплачется.

— Замолчи! — свирепо стучала кулаком по столу бабушка. — Сердит да не дюж — говну брат! Я ужотко сама разберусь: что мужику не спустят, бабе — как с гуся вода.

Не знаю, испытал ли на себе Пупышок всю неистовую силу бабушкиного гнева — никогда об этом не слышал. А вот

дни Пупышка, как оказалось, были сочтены. Партизаны вскоре пришли за ним ночной порой и увели его с собой. А потом расстреляли как фашистского прихвостня.

Но Пупышок не был бы Пупышком, если бы не нагадил и напоследок. В родном Свистогузове жила-была красавица Мария, молодая девушка, которая доводилась моему отцу двоюродной сестрой. Она была предметом Васькиных вздыханий еще до вознесения его на сельский олимп пронемецкой администрации и объектом наглых домогательств — после. При сем ей отводилась роль «п-сестры», т. е. любовницы. Будучи отвергнутым категорически и навсегда, Пупышок пообещал Марии это обстоятельство припомнить. И — припомнил.

Тетя Маша работала в конторе скипидарного заводика, расположенного километрах в двух от деревни в глубине леса. На работе контакты с немцами были неизбежны. Мать моя не раз говаривала, что родня настойчиво советовала Маше уйти с завода от греха подальше. Но перспектива работать в поле ту, как видно, не прельщала.

На допросах, как передавали потом партизаны, свои же ребята, староста показал, что на немцев работал не один, а в паре с Машей.

Та ни сном ни духом не знала, о чем речь. Но партизанский суд был короток и по-большевистски скор. Машу и Пупышка расстреляли вместе. Говорили потом, что перед смертью тетя крикнула: «За Родину, за Сталина!» Говорили также, что вскоре судьи поняли, что совершили ошибку, но...

Власовцы и их боевые пакости

Не понос, так золотуха! Не успели съехать немцы, как в село пришло другое воинство — власовцы. Наши, русские ребята, только в немецкой форме. Так как нравы у них были попроще, а дисциплина — много жиже, то они

немедленно устроили шмон с экспроприацией продуктов и чего другого. Пришли они и к нам. И тут выяснилось, что один из них — новоржевский. Более того, работал до войны в райфо райисполкома вместе с моим отцом и очень обрадовался, увидев мать.

Вспомнил, что когда-то они с отцом в знак дружбы обменялись кепками.

Пока они с мамой с удовольствием вспоминали довоенное прошлое, его боевые друзья затеяли скандал: им, видите ли, не понравилось, что тетя Нина запросто, по-свойски посылала их куда подальше.

— Ты не очень-то костку вставляй, — напирал самый шустрый из них, — а то мы тебе, лахудре, рога быстро пообломаем.

Наверно, памятуя о том, что друг Миллер недалеко, тетка дерзко отвечала:

— Смотри, как бы тебе рога не обломали!

— Мужики, да она же точно комсомолка!.. А ну, показывай документы, сука!

— Друг Вася, — обнял его за плечи отцов знакомый, — скажи честно, а разве ты не комсомолец?.. Ладно, пошли отсюда... Тут, можно сказать, родня.

Власовцы вышли. Через минуту знакомец вернулся.

— Вы с ними поосторожней... Тут не все телята, как эти. Ойкнуть не успеешь, как дырку во лбу сделают.

И он рассказал, что буквально на днях встретилась им на опушке леса старушка. Командир остановил колонну, чтобы спросить ее о чем-то. А она вдруг и говорит:

— Рябяты! А чаво вы за ярманцев воюете, а не за наших? Идите в партизаны. Таперь куды в лес ня сунься — вязде яны.

Старушку тут же и расстреляли.

Очень скоро мы убедились в его правоте. Перед тем как отправиться работать на огороды, бабы и девки собирались на углу особняка, под башней — это по пути. И вот однажды, когда их собралась порядочная толпа, сверху, с башни власовцы сбросили на них гадюку и медянку. Пока

бабы в панике метались, а потом «стябали гадов» чем ни попадя, сверху раздавался радостный идиотский хохот. Хохот мерзавцев, осознающих свою безнаказанность. Такой вот военно-трагический вариант юмора висельников.

Змеи, к счастью, никому вреда не причинили. И бабы, облегчив душу испытанным трехэтажным способом, отправились полоть и поливать, поливать и полоть.

Вскоре власовцы отличились снова. Кто-то разбросал и развесил по селу листовки с призывами к борьбе с фашистскими оккупантами и их прихвостнями. Листовки были изготовлены явно детскими руками.

Власовцы отправились к школьному учителю. Тот не только узнал авторов по почеркам, но и вызвался проводить власовцев в деревню, где живут смутьяны.

Когда стемнело, власовцы, ведомые наставником всей местной детворы, отправились в Устиново. Мальчиков и девочек 14–15 лет вырвали из рук родителей и приволокли в Алтун.

...Утром мы с мамой пошли в оранжерею, где она выращивала огромные тепличные огурцы. В теплице было душно. Она полила растения, наносила воды и заполнила ею бочки. Что-то порыхлила, что-то пообрывала и вышла на улицу. Со стороны озера доносился какой-то неясный шум и возбужденные голоса.

— А ну, пошли посмотрим. Только побыстрее и поосторожней.

И мы почти побежали к озеру. Береговая линия заросла густым кустарником. По тропе между кустарником и деревьями, за которыми спрятались мы, ходил власовец с винтовкой. Мы потихоньку взобрались на горку, бывшую некогда руинами кирпичного дома, и спрятались в густых зарослях бузины. Отсюда был отлично виден противоположный берег озера.

На месте бывшего торфяника суетились серые фигурки. Потом мы увидели две стоящие напротив друг друга шеренги. Одну из них составляли дети. Грянул выстрел — шеренга с детьми упала.

Мама с трудом сдерживала рыдания. Мы потихоньку выбрались из бузины и побрели в оранжерею.

Часа через полтора возвращались домой мимо того злополучного места, где на женщин бросили змей. Теперь здесь стояли несколько власовцев. Они возбужденно разговаривали, яростно жестикулируя. На нас никто из них не обратил внимания, и мы отчетливо услышали:

– Кто подсунул холостые патроны, мать-перемать? Мы ведь живьем пацанов закопали!

Никто не был допущен к месту казни: ни родители ребят, ни односельчане. Еще на следующее утро на торфянике звучали выстрелы.

На третий день родителям разрешили забрать убитых. Свидетели рассказывали, что из наскоро заброшенной торфом общей могилы торчали руки: живых земля не принимала.

Мученическая смерть детей взбудоражила всю окрестность. Не знаю, была ли здесь какая причинно-следственная связь, но власовцы из села исчезли. Каким боком это обернулось для директора, я уже писал.

Потешный урок пану старосте

Свято место пусто не бывает. Вместо бесславно окончившего свой жизненный путь Пупышка в селе появился новый староста — украинец Нечипоренко. По-русски он говорил, выворачивая слова на свой манер. Мало того, что его «вказивки» не всегда можно было понять, это производило комический эффект и очень потешало алтунцев. Будучи человеком средней комплекции, Нечипоренко передвигался важно, как хорошо пузатый человек, непременно заложив руки за спину. Я помню его бесконечно повторяемое «кажу, кажу».

Начался сенокос. Косцы уезжали из села к первой росе, когда детвора видела десятые сны и до рассвета могла увидеть еще не меньше. Потом ворошить кошени-

ну отправлялись женщины. Готовое сено возили в сенной сарай напротив красного дома и плотно утрамбовывали его, чтобы поместилось как можно больше. Окна в сарае, забитые изнутри досками, исчезали до весны, скрытые многометровой душистой массой.

Любая пора года в деревне дарит детям свои радости. Во время покоса мы с нетерпением ждали возвращения косарей. Вот возвращаются ввечеру телеги с уставшими, пропахшими потом мужиками. Впереди линейка — так называли повозку, предназначенную только для перевозки работников. Она представляла собой широкую и длинную доску, положенную одним концом на передок, а другим — между задними колесами. К доске с обеих сторон были прилажены подставки для ног — гнутые кованые прутья, на которые крепились узкие дощечки на всю длину линейки. Косари сидели на доске рядом, но через одного свесив ноги в разные стороны. Косы, упертые черенками в подставку, как пики с железными флажками, высоко торчали над головами.

С сенокоса всегда привозили сюрпризы: то зайчонка, то перепелят. Иногда раненых или сраженных косою намертво. Без этого, увы, покосов не бывает. Живых мы мгновенно забирали домой, и несколько дней наши приемыши изнемогали от ревнивого надзора и назойливых ласк. Потом питомцы бесследно исчезали, покинутые нерадивыми шефами.

Сеновал становился местом натужных и кропотливых игр. Ребята постарше делали в многометровой сенной толще ходы, выдирая клочьями сено и обратным ходом вытаскивая его наружу. Наипервейшей задачей было пробраться к окнам у противоположной стены. У окон делали просторные мягкие камеры, куда набивалось по несколько мальчишек, чтобы поболтать на животрепещущие темы и просто насладиться сознанием причастности к тайне.

Так как окна были забиты, покинуть потайное место другим путем было невозможно, а только тем же извилистым и тесным ходом в сене, которому, казалось, нет конца.

При ярком свете дня староста был вальяжен, как саванник, и категоричен, как тиран. Однако с приближением темноты уверенность его шла на убыль, и, наконец, он становился другим человеком — задумчивым и робким. А с наступлением ночи куда-то исчезал. Во всяком случае, в просторной комнате в красном доме, отведенной для него комендантом, он не ночевал.

В деревне все тайное быстро становится явным. Кто-то из алтунцев, страдающих бессоницей или разбуженный в неурочный час тяжелыми, как булыжники, думами, подсмотрел, как Нечипоренко при первых признаках приближающегося утра, воровато крутя головой, выходил из сенного сарая. Был он в отличном бостоновом костюме (можно ли забыть это строгое элегантное слово, услышанное хотя бы однажды?), поговаривали, что даже не в одном, а обе руки у него отрывали два огромных шикарных чемодана.

Посланные в разведку мальцы обнаружили в нашей потайной комнате следы пребывания Нечипоренки. Чемоданы, рассудили участники акции, он прятал где-то у входа. Чей-то шаловливый ум разработал диверсию: заминировать «спальню»... дерьмом, а «взрывчатку» присыпать сеном. И вот уже юные народные мстители ползут в крошечной тьме, совершенно ничем не рискуя и ничего не преодолевая, по темному ходу к логову загадочного недруга... И вот они уже... Короче, меня на операцию не взяли, наверно, по причине малой дерьмостойкости.

В общем, отлились волку овечьи слезы. Будто бы видели старосту, когда он, матерясь и «зализывая раны» на бостоне пучками сена, выскакивал из сарая.

Хвори изнурительные, а развлечения сомнительные

Конечно, как и все дети в любые времена, мы частенько болели. Панацеей от простудных заболеваний были

чай с сушеной малиной, пунш, горячее молоко с маслом. И все эти средства, как масло на хлеб, «намазывались» на горячую русскую печку с непременно полушубком и пестрым ватным одеялом.

Бабушка была родом из соседней деревушки Задолжье, где, как считалось, обитали «колдуны». А попросту говоря, тутошние бабы испокон веку пользовали больных во всей округе. Так, по крайней мере, говаривали мои родители. «Бабки» лечили травами, «правили кости», делали мази и «питье», включая настойки, принимали роды, «заговаривали».

В годы войны бабушка полностью приватизировала медицинское обслуживание применительно к своему многочисленному клану. Пускала кровь, ставила банки и накидывала горшок на живот на предмет водворения взбунтовавшегося пупка на свое законное место. Смысла этой загадочной операции я так и не понял, хотя мама и в послевоенные годы, видимо, памятуя о том, что она из «задолжских колдуний», охотно проделывала ее над всеми соседками, которым после процедуры непременно и немедленно легчало. Как-то в мое отсутствие они вместе с тетей Клавой проделали эту целительную экзекуцию над моей первой любовью, хрупкой и тоненькой девушкой. А потом долго со смехом вспоминали, что та почти вся оказалась в горшке.

Из хворей военной поры самой изнурительной и непереносимой из-за постоянного зуда была чесотка. Этот кошмар поразил всех детей почти одновременно. Бабушка мазала нас густым слоем дегтя, а потом заматывала простынями. Такими черно-белыми коконами мы и укладывались на пол — для удобства обслуживания. Особенно обидно было болеть летом, когда времени было в обрез, и, как ни спеши, все равно многие удовольствия приходилось пропускать.

Х Х Х

Одним из непрременных элементов нашего бытия было посещение Канашовки. Ходили мы толпой человек в пять-шесть: я, Галя, Ветка, Толя и Нина Антоновы да еще почти всегда за нами увязывался Лелька, да не один, а с младшим братишкой Шуркой. Они тоже были не чужие: их отец, дядя Микеня (Никифор), приходился родным братом тети Ньюши, жены дяди Антона.

Тетя Ганя и дядя Антон были, не в пример Лябинской тете Ньюше, скупы на выражения эмоций, но самые вкусные куски предназначались для гостей, хотя, не считая женатого Коли, в семье были свои три «отлета» — Володя пятнадцати лет, Боря десяти и Нина четырех. Маленькую Нину «обихаживали» всей толпой, поэтому была она большой капризулей.

Мать дяди Матвея, древняя старушка со сморщенным беззубым лицом, всегда задавала один и тот же вопрос:

— Сыночек, тебе цаво — молоцка ай квасу?

Я попервости никак не мог взять в толк, о чем она говорит и зачем мне, спрашивается, молоток? Ну откуда мне было знать тогда, что выговор старушки — языковой феномен. Смешение «ц» и «ч» характерно для севернорусских говоров. Но разве не феномен, когда из многочисленных деревушек в округе только в одной, в Дорожке, вместо «ч» все упорно произносят «ц»: цулки, цасы, цаснок и т. д. А старенькая бабушка была родом из Дорожкина.

Удачей считалось, если в Канашовке вдруг объявлялись Ванька и Морька Жарковские, брат и сестра. По категорической на селе табели о рангах это — деревенские дурачки. Ванька тщедушен, подслеповат, всегда в суконной шапке с заворотом и рыжем, домашней же работы, то ли пиджаке, то ли полукафтани. Из подбородка у него торчит жидкая светлая бороденка. При ходьбе он приседает на не вполне разгибающуюся ногу и за руку тащит за собой Морьку, левой рукой опираясь на палку. Морька —

толстая девушка с круглым, как полная луна, ничего не выражающим лицом, туго обвязанным темным платом. На ней такой же рыжий «лапсердак» и длинное холщевое платье. Оба в лаптях и с шелгунками за спиной, они совершали свой дежурный обход по деревням, собирая милостыню.

Незащищенность побирушек прямо-таки остервенияла детвору. Мальчишки и девчонки принимались выкрикивать какие-то злые противные слова, кидаться в Ваньку и Морьку чем ни попадя, дергать их, как собачонки, за полы и отскакивать. Морька была равнодушна, как баржа на прицепе, а Ванька очень нервничал, время от времени переходил на рысь и, невпопад отмахиваясь палкой, все выкрикивал слабым гундавым голосом:

– Не троньте Морьку! Не троньте Морьку!

Взрослые жалели побирушек и, повстречав возбужденную толпу, мигом разгоняли мальчишек и девчонок. За деревней странная пара переходила на тихий неспешный аллюр — до следующей деревни.

«Да нет, — как-то сказал мне отец, когда мы ударились в воспоминания об Алтунщине и ее обитателях, — Ванька не был круглым дурачком. Они с Морькой, т. е. с Марией, выросли в многодетной семье, весьма почитаемой в Жарках. Их братья и сестры были нормальные люди. Морька, конечно, была неразумной, а Ванька по умственному развитию почему-то на всю жизнь остался ребенком.

Помню, сидим мы как-то за столом всей семьей, обедаем. И видим: напротив окон появился Ванька. Перед окнами туды-сюды похаживает и строго так на окна поглядывает. Ну, дедушка твой окно открыл и говорит:

– Иван Григорьевич, заходи! Поговорим да заодно и пообедаем...

– Я чего... — отвечает ему Ваня, — может тебе, Александр Антипович, дров наколоть? И тебе хорошо, и мне прибыток...

– Заходи, заходи, Иван Григорьевич, мне помощь ой как нужна...

Зашел Иван Григорьевич, наелся, солидно помолчал и говорит:

– Спасибо за хлеб-соль... Вы уж меня извините, но шибко мне домой надо, а я, было, позабыл. Морька меня ждет.

Шапку в руки — и за дверь».

Папка смеется:

«А говорят, что Ванька — дурак!.. А перед самой войной, — продолжает мой отец, — когда я работал в совхозе бухгалтером, пришел он ко мне попросить какой-нибудь работы.

– Дрова колоть будешь, Иван Григорьевич? — спрашиваю, припомнив эпизод из прошлого.

– А почему нет? Дрова колоть я мастак... Но, опять же, сколько заплотишь...

– А заплачу я тебе за ту вон кучу напиленных дров, — показываю в окно, — скажем, тридцать рублей.

Задумался Иван, потом сорвал с головы камилавку и хватя ею об пол:

– Ни по-твоему, ни по-моему, начальник! Давай за двадцать рублей!

Конечно, заплатил я ему тридцать — зачем обижать человека?»

Х Х Х

С Канашовкой той поры у меня связано еще одно воспоминание.

... Вдруг на всю деревню раздался крик:

– Рой летит! Летит рой!!!

По деревне бежали мужики и бабы с ведрами и вениками. Перед ними летело темное облачко. Это об-

лачко приблизилось к нам и упало рядом — на край соломенной крыши сарая. Самый шустрый из преследователей вскочил на подставленные козлы, начал брызгать водой из ведра на шевелящуюся массу, а потом смел веником рой мокрых пчел в другое ведро и закрыл крышкой.

— Ну, и меткий ты, Василий Иванович! — сказали счастью, — ни за што, ни про што цельный рой отхватил!

— Лишний мед — мед не лишний, — с глубоким чувством отвечал удачник. — Гараз интяресно, в каво ж яны отроились.

Х Х Х

Иногда на улице ко мне подходил старик, дом которого находился неподалеку от дома дяди Матвея. Это был брат моей бабушки Насти Иван Михайлович (по-деревенски, Ваня Косой). Он брал меня за руку и вел к себе в избу, чтобы попотчевать «гостинцами» — угостить чем-нибудь вкусненьким.

В избе деда Ивана все было необычно. Но удивительнее всего было множество цветов. Они стояли всюду — с диковинными листьями, с цветами разной формы и окраски. Даже стены и потолок были увиты побегами с обильной листвой и цветами. Необычным был и парнишка, мой родственник: глаза у него были, как у кота, — с узкими и вертикальными зрачками.

Так же приветлив и ласков со мной был сын деда Ивана — Павел (по-деревенски Павля Жук), отцов двоюродный брат. Тот самый, которого привез из Белоруссии дядя Матвей. Он был невелик, худощав и говорил высоким тонким голосом. При ходьбе прихрамывал на раненую ногу.

Трусом невинно убиенные

На задворках особняка немцы устроили свалку бытового мусора. Это была настоящая сокровищница для ребятишек. И чего только на ней не было: лезвия, станиолевые обертки, фантики с картинками, на которых сверкала и переливалась невиданная чудесная жизнь с пальмами, морем, кораблями, обезьянками и слонами, разные коробки и коробочки, форменные пуговицы и крючки, ленточки, обрывки регалий и знаки отличия, стреляные гильзы. Особенно ценились зажигалки, карманные фонарики (конечно, неисправные) и коробки из-под сигарет. На коробках были изображены важные дяди или интересные картинки, внутри — серебристая фольга, склеенная с папиросной бумагой, россыпь табака — праздник для носа. Мы рылись в мусоре с энтузиазмом золотоискателей.

От увлекательного занятия нас отвлек резкий стук автоматной очереди. Немцев в селе не было. Тогда кто стрелял, зачем? Мы наперегонки помчались на звуки второй очереди.

У мельницы стояли несколько мотоциклов с колясками, в которых сидели автоматчики с нашивками эсэсовцев. В голове колонны, перед первым мотоциклом дергался и что-то кричал офицер с автоматом в руках и с засученными рукавами. Это был тощий длинный парнишка, из тех, о которых говорят: по шее дашь — ноги отвалятся, по ногам — шея. Ниже мельницы, под горкой, нелепо раскинув руки и ноги, лежали только что убитые, залитые кровью женщины. Одна была совсем молоденькая девушка, а у второй, мы знали, была очень маленькая девочка. Жили они в Алтуне.

Собрались люди и стали выяснять, что случилось. Оказалось, когда мотоциклы неожиданно с ревом вырвались из аллеи от шоссе, женщины перепугались и от греха подалее кинулись под горку. Офицер, жаждущий подвигов, увидав убегающих безоружных женщин, решил не

упускать случая отличиться. Он остановил мотоцикл и, ничем не рискуя, расстрелял «партизанок».

Женщин перенесли в село и положили на дровни у самых окон белого дома. У молоденькой девушки в крови была только кофта. Лицо ее было белым, как полотно, и умиротворенным. Зато лицо женщины было развалено автоматной очередью надвое. Это было жуткое зрелище. Настолько жуткое, что до сорока лет оно являлось мне во сне, и я со страху просыпался. Так они пролежали всю ночь. Никто не догадался закрыть им лица. И напрасно. Они, как магнит, все это время притягивали к себе все новых и новых зрителей.

Наутро их похоронили сообща алтунцы и немцы со станции. Миллер распорядился отвезти девочку к родственникам убитой куда-то под Ругодево. Отвозили ее немцы и кто-то из алтунских женщин. Перед отъездом немцы одарили девочку большой куклой, конфетами и продуктами.

— Дари не дари, — сокрушались бабы в селе, — а мамку ребенку не воротишь.

«Одна палка, два струна»

В Алтуне было три сада. Один немцы вырубili еще в 1941 году после ночной атаки партизан. А еще два — во время древо-порубочной военной операции, которая ими же была признана тщетной. И если яблони и груши исчезли с лика садов, то ягодные кустарники, хоть и частично но остались. Когда ягоды начинали созревать, скворцы, дрозды и дети стаями набрасывались на кустарники, пожирая даже те ягоды, которые не вполне успели.

Во время одного из таких набегов, когда дети соревновались, кто больше съест, село огласилось непривычными и непонятными звуками: будто кто-то или сбрасывал доски друг на друга, или прыгал на уже сброшенных, про-

изводя мощные шлепки. Предвкушая удовольствие, мы устремились на звуки.

На поляне перед особняком нам открылась следующая картина. Широким кругом вокруг поляны стояли солдаты в немецкой форме. Но это были не немцы. У солдат были очень черные волосы, смуглые лица и большие черные, как угли, глаза. Они смеялись и хлопали ладошками в такт, задаваемый длинным струнным инструментом наподобие балалайки («одна палка, два струна», шутили потом алтунцы). В центре круга, быстро перебирая ногами, носились танцоры с раскинутыми руками. Время от времени они выкрикивали слово «Асса!», видимо, чтобы подчеркнуть невероятный накал страстей.

Когда появились мы, солдаты стали со смехом заталкивать нас в круг, а танцоры — приглашать к танцу, встав на колени и сделав широкий жест руками. «Хрустава!» — выкрикивали они при этом, обращаясь к приглашаемому.

Забегая вперед, скажу, что очень скоро мы охотно стали сами заскакивать в круг и танцевать с солдатами на равных, охотно выкрикивая и «асса» и «хрустава».

Никто не знал национальности солдат ни тогда, ни потом. Но всех приятно удивляло, что они внятно объяснялись по-русски, смешно, но приятно коверкая слова. Некоторые говорили по-русски грамотно, по-городскому.

«Черненькие» всегда были доброжелательны, не воровали, не хамили, искали дружбы с местными, охотно общались с детьми. Со мной подружился пожилой солдат, который неизменно сопровождал танцорам. Он не расставался со своей странной балалайкой, играл на ней странные мелодии и тихо подпевал очень странными словами. Лицо его было изрыто оспой, и поэтому, когда он подходил к дому, мне говорили:

– Боря, выходи, вон твой «корявый» идет.

«Корявый» где-нибудь в сторонке расспрашивал меня о жите-быте и подолгу учил играть на своем инструменте. Что из этого получалось — не помню.

Однажды он пришел в наступивших сумерках и повел меня и моих друзей-приятелей за село. Там достал ракетницу, несколько ракет и, к нашей великой радости, предложил их расстрелять. Что мы и сделали с дорогим нашим удовольствием, по очереди беря в руки тяжелую с толстым дулом ракетницу.

Чего недоставало смуглым солдатам — так это надлежущей военной выправки, что почему-то активно не нравилось скобарям.

— Как мяшки с пням, — недовольно говорили они, провожая глазами идущих строем солдат. А пням по-псковски — опилки.

Страда деревенская

Еще недавно в Канашовку мы пробирались узкой тропкой во ржи. Рожь была выше любого взрослого, а уж мы чувствовали себя здесь, как в густом лесу. Во ржи хорошо было прятаться: всунешься с тропки в стенку, встанешь на колени и лезешь прямо на тугие скользкие стебли. Стебли перед тобой послушно расходятся, а после тебя беззвучно сходятся. Кинутся ребята по тропке туда-сюда искать, а ты как растворился.

Из ржи выходим с полными руками. Девочки тащат букеты васильков, скромно источающих пряный аромат. Ну, и что, что сорняки? Зато сам цветок и по форме и по цвету — загляденье! Когда войдем в деревню, у каждого на голове будет по венку. А среди васильков, только редко — ромашки.

Шелушим колосья, а потом дуем, чтобы шелуха улетела, а зерна остались. Они сыроваты, поэтому жевать их — одно удовольствие. Горстями поедаем спорыши, или рожки — черные стручки, извлеченные из колосьев. Они далеко видны в ржи. Ничего хорошего, но есть можно. А что еще надо малым ребятам?

Наступил август. Рожь сжали. Теперь и Канашовка и Свистогузovo — как на ладони. Открылось просторное поле, золотистое от стерни. Скоро его начнут распахивать.

Урожай привезли в село. Наверно, в 1943 году рожь уродилась хорошо, потому что снопами завалили и гумно, и огромный хозяйственный сарай. Снопы в гумне, с отапливаемым овином могут храниться сколько угодно, а вот в неприспособленном месте, как тот же каменный сарай, долго не пролежат: хлеб может испортиться, заплесневеть. Чтобы, не дай Бог, этого не произошло, был объявлен аврал.

Перед сараем убрали и зачистили площадку, установили ручную молотилку. Немного в стороне в землю закопали толстенное бревно, в торец которого кузнец вбил толстый стержень. На стержень, как на ось, надели длинную толстую жердь с металлическим отверстием посередине. Концы жерди по обе стороны копыла оснастили железными сиденьями, снятыми с конных жаток или граблей, а по обе стороны от сидений кузнец пристроил железные кольца — для крепления постромок. Запрягли лошадей и пустили по кругу — прямо по снопам, распущенным и брошенным на подосланный брезент наглухо замотанными в платки бабами. Правили лошадьми мальчишки. Они удобно расположились в сиденьях и раскатывались, управляя вожжами и покрикивая то «но!», то «тпру!».

Обмолоченную солому от лошадей и от молотилки отбрасывали на дорогу, и тут в работу вступали другие мальчишки. Они подходили с лошадьми, держа вожжи в руках. За каждой лошадью, пыля, тащилась толстая палка, к концам которой были привязаны постромки. Мальчишки разворачивали лошадей, забрасывали палку на солому, вставали на палку и говорили: «Но!» Лошадь трогалась и тащила за собой кучу соломы и мальчишку, стоящего на палке. В стороне, у нарождающейся скирды, их ждали подавальщики с деревянными трехзубыми вилами. Здесь был конец технологической цепочки.

Мы подкатывались на палках к скирде и ныряли в ворох соломы перед собой. Палка радостно подпрыгивала вверх и, если нырок был неудачен, ударяла по голове или по заду, вызывая веселый смех и окружающих и пострадавшего. Когда катание на палке надоедало, мы менялись с теми, кому надоело кататься по кругу, созерцая лошадиный зад. В общем, скучать было некогда.

Скирда соломы, опирающаяся на торец сарая, была, дай Бог не ошибиться, до десяти метров высотой. Мы взбирались по контрфорсу до самого чердака. Здесь и была вершина скирды. У самой стенки располагалось отверстие, которое исчезало в соломенной толще. Мы опускали ноги в нору и ныряли в темноту. Тоннель в скирде был извилист и крут, солома скользила, как лед, и мы, пронесаясь внутри скирды, с визгом один за другим выскакивали у ее основания.

А неподалеку вокруг сухого дерева был навит большой стог. По стволу соседнего дерева мы взбирались на стог и опять же, нырнув в дыру, выскакивали у земли и катились на спине по соломе. Таковы деревенские забавы! Спасибо за потеху подросткам, продырявившим такие массы соломы!

Работы у сарая ознаменовались маленьким, но весьма приятным открытием. Кто-то из мальчишек работал на вороной кобыле Ночке. Ее обобществили немцы, отобрав у дяди Микени. А к Микене кобыла попала тем же путем, каким ко мне попал Колька. Во время перекура кто-то принялся перебирать хвост у кобылы (а может, дергал волосы на леску, что было делом нормальным) и зацепился за небольшую деревянную бирку, о существовании которой никто не подозревал. На бирке была написана кличка кобылы (Ночка оказалась Розой), ее возраст, фамилия ее хозяина — казака, его звание, номер части и все такое прочее. Мы кинулись к Кольке и... тут же нашли такую же бирку. Наш Колька, оказывается, был Мальчиком! И тоже казачьим конем!

...Авральная работа была закончена. Солома сложена, зерно собрано и увезено для доработки на гумно, расположенное рядом с мельницей. А позднее, когда полевые работы были в основном закончены, молотить стали на току у гумна.

Помню я горячие печки овина, женщин, колотящих снопы тяжелыми цепами или отвеивающих зерно на ветру. Наберут в решето зерна и подбрасывают его повыше. Ветер подхватывает легкие остье, колоски и плевела и относит их в сторону, а чистое зерно остается в решете. Стоят работницы, трясутся с решетками, а от них по ветру — шлейф мякины на земле. И так день-деньской.

Нету легкой крестьянской работы!

Курить — здоровью пользить

Дедушка мой Дмитрий Васильевич курить бросил задолго до войны — замучила одышка. Однако к курению и курящим относился хорошо, считая, видимо, что его случай — аномалия. Он подолгу сиживал у печки на ежевечерних посиделках с мужиками, которые даже не курили, а часами с упоением «садили» вонючими самокрутками, обсуждая всяческие животрепещущие проблемы.

Помнится, как к деду, сидящему на улице на скамейке, подбегали маленькие мальчишки и по очереди говорили ему:

— Деда, дай закурить!

— Я тебе покурю палочкой по тую! — отвечивал дед вполне в духе деревенских понятий о том, что детям можно говорить, а чего — нет. Мой личный житейский опыт свидетельствует: в деревне можно говорить либо все, либо почти все. Как в цивилизованных государствах.

Довольный вопрошающий заливался счастливым смехом, который вполне разделяли стоящие неподалеку

компаньоны. Когда всплеск энергии, генерированный дедушкой, обнулялся, к нему подходил очередной обормот с такой же просьбой.

— Я тебе покурю... — повторял дед шутку.

И опять все до упаду хохотали.

Просили покурить по очереди все, иногда не по разу, а дедушка неизменно давал один и тот же ответ. Правда, меняя голос, интонацию и выражение лица. Так они и забавлялись к обоюдному удовольствию.

Миллер уважал Дмитрия Васильевича, при встречах раскланивался и считал, судя по всему, обязательным для себя обменяться с ним несколькими фразами и угостить сигарой или сигаретой.

— Сам-то я не курю, — неизменно, забирая курево, говорил дедушка, — а вот зять мой, Борькин папка (тут дедушка показывал на меня), большой любитель.

— А где ваш зять? — спрашивал гауптман.

— Где и все, где ж ему быть? — уклончиво отвечал дедушка. — Вот война закончится, приедет — я ему гостинца: на тебе!

При бартерных сделках с оккупантами сигареты дед ценил высоко. Сигареты в пачках и россыпью, толстые черные сигары заботливо укладывал в объемистый сундучок с замком, который был почти заполнен этим добром.

Сажал дедушка и табак — для дяди Антона и для себя: как-никак, в войну табак был в дефиците. Когда табак зацветал, мы с ним обрывали липкие соцветия с розовыми цветами, очень противные на ощупь. Да к тому же и пальцы от них чернели и плохо отмывались.

Из срезанных листьев табака делали мягкие рыхлые веники — папуши и развешивали их на веревках на чердаке. Когда листья высохали до кондиции, их принимались резать. Грубые светло-желтые черешки резали отдельно. Я любил наблюдать, как дядя Антон острым сапожным ножиком ловко и аккуратно превращал их в мелкие крошки.

Табак выращивали все курцы и все резали его на махру. Когда конечный продукт был готов, каждый выносил свой свежачок и потчевал сокурильщиков.

Однажды при стечении всего клана в комнате дяди Антона тот закурил только что приготовленный самосад. Не знаю, что со мной случилось, может быть, разыграли мужские гормоны, но я категорически возжелал составить дяде Антону компанию. Мать зашлась назидательной тирадой, абсолютно мне неинтересной, дедушка выдал свою шутку, а вот дядя Антон отнесся с подозрительным пониманием.

— Я так скажу, племяш: тебе давно б курить надо. И это правильно: мужик должен курить, он — не баба. — Тут я заметил, что он энергично подмаргивает остальным. — Сам скрутишь или тебе пособить?

Я изготовил нелепую самокрутку сам и прикурил от подставленной «дуйки», как еще недавно называл любой маленький носитель огня спичку или лучину. Описывать впечатление не стану — каждый курец помнит свою первую сигарету.

Очень скоро я обратил цыгарку в дым и потребовал другую, хоть у меня слегка кружилась голова. Дед, видно, жалеючи мой неокрепший организм, побежал за сигаретами — все-таки курево полегше. Я спалил сигарету и... другую, а потом потерял сознание и упал с табуретки. Рвало меня какой-то зеленью.

— Ну, накурился, дурачок? — спросила мать, когда я открыл глаза.

Накурился... Да так хорошо, что в следующий раз сунул сигарету в рот только в семнадцать лет. Да и то не потому, что хотел, а для того, чтобы не казаться кисейной барышней среди мужественных одноклассников (мы только что перебрались на житье в другой город), с плохо скрываемым отвращением курящих «гвоздики» (мелкие дешевые папиросы) и пьющих брагу (водку в начале пятидесятых покупали редко: дорого!).

Курил же я целых 26 лет и бросил это увлекательнейшее занятие только тогда, когда понял, что главная цель курения достигнута: я «накурил» хронический фарингит, хронический ларингит и хронический же бронхит. Буквально на днях похоронил сверстника, старого доброго товарища — неистового курильщика. Он умер от рака легких. И если бы мне сказали, что умер он с сигаретой в зубах, я бы не удивился: покойный знал толк в курении.

Да и о чем толковать: из всех способов самоубийств курение едва ли не самый приятный, потому что самый длительный. К сожалению, не самый безболезненный.

Эта невезучая Псковщина

В наших местах воевала 3-я Ленинградская партизанская бригада под командованием Германа. Никто не знал, что зовут его Александр Викторович, что он майор Красной армии, родился и вырос в Ленинграде. В народе упорно ходили слухи, что он — немецкий офицер, коммунист, который не только перешел на сторону партизан со своим воинским подразделением, но и возглавил целую партизанскую бригаду. Конечно, в заблуждение прежде всего вводила фамилия. И почему-то хотелось людям, чтобы он был непременно немецким коммунистом. А почему бы и нет, если известные каждому в нашей стране К. Маркс, Ф. Энгельс, К. Либкнехт, и Р. Люксембург были немцами? Кстати, как оказалось, в бригаде Германа была целая группа перебежчиков-немцев, пожелавших воевать против фашистской Германии.

Немало молодежи из окрестных деревень ушло в леса к партизанам. Многие рекрутировали против их желания и желания родителей.

Да и у кого из родителей не зайдет сердце, когда за 15-летним мальчишкой придут, чтобы увести его из дому

и дать в руки оружие, чтобы он воевал, хотя бы и против лютого врага? Ведь на войне убивают!

За молодежью приходили и немцы — гибнущему фа-терлянду нужна была рабочая сила, своя была под ру-жьем. Вот и не находили себе места несчастные родите-ли: что делать? В результате метаний делали все одно и то же: прятали детей и от немцев, и от партизан.

Как-то среди прочих ребят партизаны увели и моего дядю Женю, 15-летнего нездорового парнишку, к тому же очень близорукого и без очков. Он «героически по-гиб», как написано в партизанской похоронке, почти сра-зу же при переходе отряда через шоссе.

В 60-е годы я приехал в отпуск на родину и сразу же заявился в Новоржев к братке Толе Антонову. На дворе стоял июль. Был вечер, но парило, как перед дождем. Мы вышли во двор и уселись за столом под яблоней. И тут с улицы к нам вошли трое молодых мужчин.

— Ты что ж это, Анатолий Антонович? — шутливо уп-рекнули они его. — Слух прошел, что к тебе братка с Урала приехал, а ты ни мур-мур. Думаешь, тебе одному хочется послушать, как люди на Урале живут?

Тут каждый достал из штанин по бутылке водки, мало-сольные огурцы и яблоки Белый налив. Когда беседа по-шла как по маслу, выяснилось, что все трое были взяты в партизаны 15-летними, после освобождения отпущены домой как малолетки, но к тому времени они все были ранены и даже не по разу. Тут гости позадирали рубахи и стали показывать раны и шрамы.

Я был поражен: мне был 31 год, им всего по 39. На другой день я совсем другими глазами стал смотреть на земляков: осознал, что кому 39 и больше лет — почти все воевали. И еще я вдруг заметил, что, в отличие от Урала, здесь на каждом шагу встречаются мужчины-инвалиды без конечностей, а стариков — вообще единицы. Это было открытием. Причем не пос-ледним.

Я узнал, что немцы уничтожили около 70 процентов жилья на Псковщине, почти все хозяйственные постройки.

Что во время войны погиб каждый третий пскович (в героической Белоруссии, где, если судить по произведениям литературы и искусства, только и воевали партизаны, погиб каждый четвертый).

А потом сенсационную информацию поведал на страницах «Комсомольской правды» псковский писатель Иван Васильев, известный еще и тем, что стал депутатом последнего Верховного Совета СССР в числе «красной сотни», сформированной ЦК КПСС. Оказывается, на восстановление разрушенной Псковщины родные партия и правительство после войны не выделили ни копейки. Могучим потоком народные средства шли в соседнюю Прибалтику и Белоруссию, куда и рванули нищие скобари, забытые Богом и государством, как, впрочем, и в другие места, обласканные властью. Псковщина с мягким и ласковым климатом, исправно кормившая хлебом теперешний центр России еще в средние века, обезлюдела и превратилась в пустырь. А разбогатевшие соседи зафорсили и незалюбили скобарей, обзывая их бездельниками и пьяницами. Между прочим, в один из последних годов советской власти я вычитал в «Советской России», что по количеству произведенной сельхозпродукции на одного работника Псковщина заняла восьмое место в стране, а по потреблению — 56-е. Вот вам и скобари!

Радостные перемены

Несмотря на то что в селе стояли власовцы, партизаны время от времени навещали нас. Однажды вечером я занимался любимым делом: с помощью немецкого тесака и молотка щепал лучину, потом «подгнеты», т. е. лучину помельче, «колодцем» укладывал на колосниковую решетку в топке очага, чтобы быстренько растопить его. Было поздно, но мы с мамой решили

протопить очаг, потому что на улице внезапно похолодало.

В дверь осторожно постучали. Мама отбросила крючок, и в комнату вошел парень с обрезом в руках и красной ленточкой на кепке.

— Здравствуйте, — сказал он. — Всем молчать, никуда не выходить. Спокойно ложитесь спать.

И встал у двери.

Мама разобрала постели, задула лучину, и мы улеглись. Ласково гудела печка, на стенах и потолке играли блики огня, который не в состоянии скрыть ни выюшки, ни чугунные дверцы. Приятное тепло распространялось по комнате. Мы молчали. Только тикали на стене ходики с мишками в лесу да безмолвно трудилась еловая шишка, приводя часовой механизм в действие.

В дверь тихонько толкнулись. Партизан приоткрыл ее, потом сказал в комнату:

— До свиданья. Закрывайтесь, — и исчез. Так я в первый раз увидал живого партизана.

Х Х Х

Как свидетельство произошедших перемен в небе стали появляться самолеты с красными звездами на крыльях — истребители и фанерные разведчики У-2. Иногда самолеты сбрасывали листовки. Помню, с какой радостью все повторяли бесхитростные слова из листовок:

Ешьте молоко — мы недалеко,

Пейте квас — ждите нас!

Однажды алтунцы наблюдали за воздушным боем. На наш «ястребок» напали два фашистских стервятника. Вскоре один из немцев, дымя, упал в лес, а второй позорно бежал, вызвав бурную радость зрителей.

Дядя Антон и еще кто-то из мужиков запрягли в телегу лошадь и отправились к месту падения самолета. Вер-

нулись они «пешом», потому что телега была загружена дюралевой обшивкой.

А дальше начались чудеса. Дядя Антон изготовил деревянные опоки¹, набил их самолично приготовленной формовочной смесью из песка с чем-то связующим и сделал литейные формы с литниковой системой. Потом залил формы расплавленным дюралем. А когда через некоторое время разъял форму, мы увидели в песке четыре дюралевые ложки, соединенные между собой полосками застывшего металла. Ложки были точными копиями деревянных. Освобожденные от облоя², они были великолепны. Правда, один существенный изъян у них был: их контакты со лбом для последнего были сокрушительны.

А еще дядя Антон отливал миски и сковородки. Короче говоря, производство было поставлено на поток, и вскоре у многих хозяек появились шикарные новоделы.

До сих пор не могу сообразить: откуда деревенский умелец мог узнать о премудростях литейного производства?

Расправа на Дощаренце

Началась копка картошки. Земский двор под картошку занял большое поле на Дощаренце — так называют место в стороне от Алтуна и Канашовки. К доброй половине картофельного поля плотно подступал лес.

Работа кипела. Мужики ходили за плугами, с помощью одной лошадиной силы «разгоняя» борозды — отваливая на сторону пласты земли с картошкой. Сзади шли бабы,

¹ В литейном производстве приспособление в виде жесткой рамы (открытого ящика), служащее для удержания в нем формовочной смеси при изготовлении разовых песчаных форм.

² Заусенец на отливке или штамповке. Возникает из-за некоторого раскрытия формы при заполнении ее жидким металлом.

подбирая картофелины в ведра и относя их в кучу. В уборке принимали участие власовцы. Они ссыпали урожай в мешки, мешки укладывали в кузов грузовика, а потом везли в село, к хранилищу.

Для пацанов это была редкая возможность прокатиться на машине. Солдаты останавливали машину на выезде из села и сажали всех желающих. На поле мы разжигали костер и начинали печь на углях картошку, а потом, обжигаясь, ели ее, такую замечательно вкусную. В теплой одежке, потому что на дворе стояла осень, испачканные до ушей обуглившейся картофельной кожурой, мы днями торчали и на поле и в лесу.

Как-то утром, когда взрослые уже работали, а детвора еще не выбралась из мира сладостных грез, со стороны Дошаренца донеслись звуки шальной беспорядочной стрельбы. Продолжалась она недолго. А вскоре с картошки вернулись и работники.

Вечером, когда возбуждение от пережитого прошло, в нашей комнате собрались женщины и стали обсуждать обстоятельства происшедшего. Со смехом вспоминали, как, обрывая пуговицы, ползали по полю, норовя затыряться в меже.

— Только начали стрелять, — заливалась одна, — смотрю: Нюшка как брякнется на живот, даже ноги вверх подлетели и юбка задралась... Ха-ха-ха!

— А я рухнула — всю нутреннюю отбила, — добавляла другая.

— А я, пока ждала первую очередь, от коня Кольки не отходила, — говорила мама. — А как началось, повалила Кольку на землю, а сама за ним спряталась.

Похоже, власовцы работали, не позаботившись об охране. Партизаны разведали ситуацию и приняли решение уничтожить солдат. Накануне предупредили своих, чтобы те при первой очереди, которую дадут в воздух, упали на землю и не поднимались до конца атаки. Операция удалась на славу. Русские лежали на земле, а солдаты в панике метались по полю, попадая под партизанские

пули. Погибли почти все, кто участвовал в копке. Из алтунцев не пострадал никто.

На другой день копка картофеля возобновилась. В ней по-прежнему участвовали солдаты. Детям появляться на поле категорически не рекомендовалось. Однако мы с Лелькой, ребята «нахратые», решили, что запрет не для нас, и отправились пешим ходом на поле, к мамкам. На подходе к полю, у дороги, нас тихонько откликнули из-под кустов. Мы повернулись и увидели двух солдат с пулеметом, выглядывающих из свежевырытой ямы. Солдаты были черноволосые и смуглые, но на них была незнакомая голубая форма. Они энергично махали в сторону села и что-то при этом приговаривали тихо на незнакомом языке. Мы поняли, что нас гонят домой, и побрели назад.

Лелька предложил обходной маневр — через Канашовку. От Канашовки до лесу рыхлая песчаная дорога пролегает по яблонево́й аллее, а в лесу присоединяется к проселочному тракту. В этом месте под можжевельным кустом мы увидели еще одно пулеметное гнездо с солдатами в таком же странном обмундировании. Солдаты сидели, свесив ноги в яму, покуривали и вели неспешную беседу. Они подозвали нас и учинили допрос. Выяснилось, что они не понимают ни по-русски, ни по-немецки.

Язык, на котором они говорили, был совсем непохож на тот, на котором говорили смуглые власовцы. Солдаты посмеялись, посмеялись, но нас дальше также не пустили.

Года через два, когда я уже жил на Урале, передовикам оборонного завода, на котором работал отец, выдали трофейное обмундирование. Передовиков и обмундирования оказалось так много, что на городских улицах шагу ступить было нельзя, чтобы не наткнуться на немецкий мундир. Отцу выдали голубой френч с витым оранжевым шнуром и оранжевой же тенью птицы с изогнутыми при взмахе крыльями над карманом. На

эту тень во время оно крепилась сама птица из металла. При вручении трофея отцу сказали, что он испанский. А я решил, что именно в таких мундирах были пулеметчики, с которыми мы общались под Канашовкой. Ужели это были испанцы?

Кстати сказать, и в настоящее время на заросшей травой земле хорошо виден след от того пулеметного гнезда. Теперь глубина его не превышает пятнадцати сантиметров.

Так кто же это был?

Кто же были брюнеты, квартировавшие в селе?

В Новоржеве в разное время стояли два власовских полка — русский и армянский. В 1943 году целые подразделения так называемой Русской освободительной армии стали в массовом порядке переходить на сторону партизан.

Как-то в первых числах августа в одну из деревушек, где расположилась 3-я Ленинградская бригада, пришло подразделение власовцев-армян во главе со своим командиром. Армян ждали, потому что об их приходе заранее оповестили подпольщики Новоржева из группы Зои Брелауск¹, «работавшие» с власовцами.

Дали знать в штаб бригады. И вскоре из недалекой деревушки на конях примчался сам Герман в сопровождении начальника политотдела Воскресенского и группы автоматчиков.

У избы, где перетапывалась большая толпа людей в немецкой форме, всадники спешили. Угадав в них партизанское начальство, солдаты вытягивались «во фронт» и отдавали честь. В избе командиров встретил, поспешно

¹ Воскресенский М. Указ соч. С. 194.

шагнув навстречу, небольшой сидящий человек с погонами гауптмана.

— Капитан Сагумян, — представился он и, смутившись, умолк.

Наступила минута неловкого молчания. Неожиданно Герман протянул руку:

— Поздравляю с успешным переходом из стана врага, товарищ капитан.

Сагумян растерялся. На лице его промелькнули сначала удивление, а потом радость. По смуглым щекам потекли слезы.

— Товарищ комбриг... — произнес он сдавленным прерывающимся голосом. — Товарищ комбриг, пошлите на самое опасное дело... Жизней своих не пожалею.

Перебежчики были построены в просторном помещении колхозного гумна. Герман произнес краткую энергичную речь:

— Вы совершили тяжкое преступление, пойдя на службу к врагу. Против кого вы воевали? Против своих братьев и сестер, против своей Родины. Мы не можем вас простить, не имеем права. Но мы даем вам возможность своей кровью искупить вину перед Родиной. Прощение нужно заслужить, добыть его в боях с фашистами. Желаю вам успеха.

После речи комбрига был зачитан приказ о создании отряда № 41. Отряд Сагумяна¹ вскоре принял боевое крещение и уже в августе участвовал в нескольких боевых операциях. Командир полка Ефимов хорошо отзывался о бойцах отряда, особенно о самом Сагумяне. Сагумян привел к Герману в августе 1943 года небольшую группу солдат. Так рассказывает эту историю очевидец и участник событий М. Воскресенский.

Спрашивается, куда подевались остальные? Ведь их был целый полк. Уж не они ли стояли в нашем селе и помогали копать картофель?

¹ Воскресенский М. Указ. соч. С. 197.

А в это время в районе

Между тем ситуация в Новоржевском районе накалялась. Партизаны до такой степени стали досаждают немцам, что, как пишет А. Попов, автор книги «Новоржев», «13 августа 1943 года против 3-й бригады враг сосредоточил 14 тысяч солдат и офицеров, артиллерию, самолеты, зажав ее в клещи возле деревень Станки, Шариха, Тучи. Решительным ударом в ночь с 5 на 6 сентября в районе деревни Житница бригада пробилась из окружения, но 28-летний комбриг пал смертью храбрых».

И еще: «Мужественную борьбу с оккупантами вела подпольная комсомольская организация Новоржева во главе с отважной дочерью советского народа Зоей Брелауск...

...11 октября 1943 года Зоя Брелауск, Зинаида Евдокимова, Дмитрий Гусаров, Мария Федорова, Клавдия Гринченкова и Иван Острогорский были вывезены в район Шастовских песков и там расстреляны»¹.

Вот на таком историческом фоне протекала жизнь моего села и жизнь маленького мальчишки, который носил мое имя и мою фамилию.

За нами пришли немцы

...Дело было, по-видимому, в конце октября или в начале ноября. Ночью выпал обильный снег, и он быстро таял в то утро, образуя повсюду мокрые проплешины. Конечно, это было глубокой осенью, потому что дубы еще не сбросили листву, хотя она давно пожелтела и потускнела, а еще вчера звенела на ветру, как жесть.

Особняк пустовал. Армяне после уборки урожая покинули село, равно как и неведомые стражники неведомого

¹ Попов А. А. Указ. соч. С. 115.

происхождения. (Кстати, «в 4-й Ленинградской бригаде мужественно сражался с фашистами испанский отряд под командованием Франсиско Гульона».) Единственным хозяином на селе оставался староста Нечипоренко со товарищи: полицаями Володей Завьяловым и его отцом, а также с полицайкой Шуркой. Однако жители села чувствовали себя относительно вольготно, потому что воители много старались не замечать.

Нет-нет да по вечерам наведывались партизаны — в основном свои, местные ребята. Вот и нынче у нас ночевала Маруся. Все знали, что гостя партизанка и что пришла она по делу. Еще с вечера забились они с тетей Ниной в уголок и долго о чем-то шушукались. А наутро, только начало светать, куда-то засобирались. Впрочем, все население большого дома вставало засветло, как и заведено на селе. И когда Маша с Ниной выходили из дому, все давно были на ногах.

Через несколько минут после их ухода кто-то крикнул:

— Немцы!

Все бросились к окну, выходящему из общего коридора на дубовую аллею. К нашему дому направлялся небольшой отряд немцев. Офицер, да и многие из солдат были знакомы — они квартировали на станции.

В дом вбежали перепуганные девочки-сестры Демидовы и с порога закричали маме:

— Тетя Лиза, немцы за вами пришли! Тетя Нина велела бежать в лес!

Все страшно засуетились: раздумывать было некогда, тем более что в окно был виден офицер, который разговаривал с дядей Федей и явно намеревался направиться в дом, в то время как отряд, переминаясь, покурировал в сторонке.

Чтобы задержать незваного гостя, на улицу опрометью кинулся дядя Семен. А мы — я с матерью, бабушка и бабушка, одеваясь на ходу — выбежали из дома с обратной стороны. С нами выбежали две соседки — тетя Феня и тетя Катя.

Куда и когда исчезли дядя Антон с семьей, не знаю.

Дедушка и бабушка отправились в лес, а нас с мамой решили спрятать в конюшне. Это каменное здание так велико, и в нем так много закутков и потаенных мест, что мы, дети, постоянно устраивали здесь свои игры.

Меня уложили в одни ясли, маму — в соседние и закидали сеном.

— Лежите смирно, — почему-то шепотом проговорила тетя Феня, — а мы сходим посмотрим, что там делается.

— Тебе удобно, сынок? — спросила мама, когда мы остались одни. — Ты не бойся, не найдут нас... А и найдут — ничего не сделают. Мы же ничего с тобой не знаем ни про немцев, ни про партизан, правда?

— Я и не боюсь, — я старался говорить как можно спокойнее, хотя со страху у меня дергались ноги и противно дрожал живот. — И про партизан ничего не знаю.

Снаружи из-за толстой каменной стены не долетало никаких звуков. Где-то рядом топтались и фыркали лошади. Воздух был теплый и удушливый: резко пахло лошадиными потом и мочой, свежим навозом.

Вдруг торопливо зашлепали шаги, и голос тети Фени тревожно позвал:

— Лиза, Боря, вылезайте... Побежим в «чиновников дом», там переждем.

Мы с мамой расположились в одной из комнат дома, пребывая в состоянии тревожного ожидания. Кто-то из ребят повзрослее был отправлен в дозор, а тетя Катя и тетя Феня ушли в село.

Мама взволнованно ходила по комнате, томясь тревогой и неизвестностью, а я, всячески ей сопереживая, поедал предложенные хозяйкой «конфеты» — подсушенные на противне ломтики сахарной свеклы. Наконец, в коридоре хлопнули двери. Торопливо вошла тетя Катя.

— Тихо ль? — бросилась навстречу мать.

— Тихо-то тихо, да немцы все село перерыли. Сеновал и ясли, где вы прятались, — все штыками переворошили.

Я увидел, как побледнела мама:

— А что с нашими?

— Ваших никого не нашли. Наверно, скоро уйдут. Феня прибежит — скажет.

Немного погода подошла тетя Феня.

— Ушли немцы, — сообщила она. — А после них сразу и Нинка объявилась. Побегала дядю Митю с Нянькой искать. Вальтер, офицер ихний, как пошли, вернулся и говорит мужикам: «Если родня Ковренковых вернется, скажите, чтобы они нас ждали — мы к вечеру за ними снова придем».

— Вальтер — мужик неплохой, — прокомментировали женщины поступок офицера, расценив его как явное предупреждение.

— Но самое интересное, — сказала тетя Катя, оборотясь к маме, — что немцев-то за вами привел Павля Жук, Пети твоего двоюродный брат. Он их перед селом опередил, чтобы его с немцами не видели, и, пока те вас искали, отсиживался у твоей свекрухи. Вот как бывает: дядюшка привел немцев за племешом, да еще у его родной бабки отсиживался, пока того искали!

Когда мы пришли домой, вся семья оказалась в сборе. Нина, бабушка и дедушка торопливо собирали пожитки и засовывали их в объемистые шелгуны. Основным и самым важным содержанием моего шелгуна из красной матрасной ткани в полоску стала коробка с игрушками, героически уворованная из самого логова врага.

Соседи и односельчане собрались, чтобы проводить нас в путь-дорогу. Из близких не пришли только бабушка и дядя с тетей, у которых гостевал полицаи Павля. Должно быть, такого рода нейтралитет, по их мнению, был лучшим выходом из положения. Тогда же мы узнали, как Нине удалось предупредить нас о предстоящем аресте.

Только вышли они с Марусей из дому — навстречу немцы. Видимых причин для страха не было, и они пошли навстречу. Офицер знал Нину: к ней не раз приходилось обращаться за помощью как к переводчице. Он откровенно обрадовался встрече и тут же выложил свою боевую за-

дачу: арестовать и доставить в комендатуру родственников партизан Ковренковых из Канашовки. Родственниками Ковренковых в селе были только мы. А сами Ковренковы к тому времени давно перебрались в партизанский лагерь вместе с детьми и матерью семейства, моей родной тетей Аграфеной Дмитриевной — тетей Ганей.

— Не могу понять, кого вам надо, — сдерживая волнение, сказала тетя Нина. — У нас здесь все родственники, если разобраться.

Невдалеке проходил дядя Федя. Немец окликнул его и поманил пальцем. Когда тот подошел, Нина упредила немца:

— Дядя Федь (тут она, по ее словам, начала изо всех сил ему подмаргивать), вот пришли за родственниками каких-то партизан Ковренковых. Поговори с Вальтером, а нам идти надо.

Дядя Федя сразу все понял. А тут, по счастью, мимо пробежали девочки Демидовы, которые и стали гонцами.

Кто куда, а мы — к партизанам

Наш с мамой путь лежал в партизанский отряд, который находился километрах в пяти от Алтуна на берегу реки Сороть, около деревни с забавным названием Жабкино. Назавтра туда же должны были прийти тетя Нина с Марусей: их задерживали какие-то неотложные дела. Ждали и прихода дяди Антона с семьей. (Забегая вперед, скажу, что те ухитрились улизнуть из-под носа у Ничипоренки на казенной телеге с запряженной в нее казенной же лошастью.)

А баба Дуня с дедом Митей отправились в Ругодево к тете Клаве и Светке. Это были партизанские края, куда немцы совали нос только в сопровождении танков и бронетранспортеров. С дедушкой и бабушкой отправился в путь еще один чрезвычайно дорогой член нашей семьи —

корова Зорька, которая добросовестно кормила всю компанию.

Дорога пролегла через лес, начинавшийся сразу за Алтуном. Мы шли узкой присыпанной снегом тропой, которая висала между деревьями и кустарником, переползала через скользкие корневища и увязала в болоте. Воздух был теплый и влажный. Мокрый снег шумно падал с деревьев.

За Дошаренцем произошла неожиданная встреча. Рядом с тропой мы увидели вдруг торчащую из снега человеческую руку. Мертвец, скорчившись, лежал в углублении, почти полностью засыпанный снегом.

Это был смуглый черноволосый мужчина. На нем был голубой мундир. Может быть, именно он шутил тогда с нами и весело смеялся, сидя с напарником на краю пулеметного гнезда и беззаботно покуривая. Мама обошла труп, взрыхляя снег ногами. Но оружие, как видно, подобрали раньше.

Когда стало смеркаться, мы вышли к реке. Здесь нам встретилась группа вооруженных людей, среди которых был Ковренков Коля.

— Ну что, братка, — обнял он меня, — надумал все-таки в партизаны податься? Молодец! Лучше поздно, чем никогда...

Партизаны засмеялись, а я засмутился.

Вскоре мы сидели в землянке, и тетя Ганя кормила нас картошкой с салом и лепешками. А вокруг стояли и сидели партизаны и члены их семей: бабы, старики, дети. Они слушали взволнованный мамин рассказ. А потом началась бурная дискуссия, которая развернулась вокруг личности полицая Павли Жука.

Х Х Х

Что происходило в Алтуне после нашего ухода? Куда подевались сестренка Галя и ее мама — тетя Лена? Ведь

это были дочь и жена Ивана Дмитриевича, моего дяди, воевавшего в рядах Красной армии.

Или для немцев как родственники партизан они не существовали?

Ан нет! В тот день, когда мы поспешно покидали родное село, Галя видела, как дедушка и бабушка выгоняли корову из хлева. И они видели ее, но только помахали руками и резво пошлендали по дороге.

Наутро Галя и тетя Лена встали и в надежде, что все для них обошлось, начали день как обычно: пошли кормить кур, которых держали в соседней, пустовавшей комнате. Серенькая курочка, любимица, куда-то запропастилась. Они отправились на улицу и стали искать ее по закоулкам и в зарослях бурьяна. Курочки как не бывало.

Делать нечего — пошли домой. Открыли дверь, а в комнате полно немецких солдат. Офицер спросил у тети Лены документы, а потом сказал:

– Одевайтесь! Пойдете с нами.

На улице было очень холодно. Тетя Лена надела ватные брюки, шубу (когда-то отпустят...), и ее вывели из дому. Галя, рыдая, выбежала вслед и стала догонять маму. Немец перехватил ее и сильно толкнул в снег. Она долго не могла подняться, а встав, преследовать конвой не решилась.

Девочку, оставшуюся одной-одиошенькой, взяли к себе ночевать Демидовы. Утром следующего дня она отправилась к себе домой, а потом в нашу комнату. Там хозяйничали беженцы. Они деловито делили оставшиеся от нас пожитки. На столе лежали приготовленные к выносу картины, написанные маслом тетей Ниной: девушка в купальнике на берегу пруда и старательно срисованный из книги генерал Топтыгин — медведь в санях. Галя взяла «девушку» и понесла домой. Никто из беженцев ей не перечил. Обе картины были образцами той живописи, произведения которой украшали быт простых советских людей долго еще и после войны: несравненные гуси-лебеди на пруду, намалеванные с помощью трафарета на куске

толя. Именно ими торговал герой Юрия Никулина в известном фильме, зазывая покупателя:

Налетай, торопись,
Покупай живопись!

Феня Демидиха, совершенно растерявшаяся, отправилась к власти — полицая Володе Завьялову за помощью и советом. Полицай с досадой сказал:

— Чего тебе надо? Чего ты добиваешься? Хочешь, чтобы я ее уничтожил? Не хочешь? Так вали отсюда подброду и помалкивай в тряпочку!

Долго ли, коротко ли жила Галя у добрейшей Демидихи — неведомо. А только однажды заявили к ним из Лышниц (так называется деревня, откуда родом тетя Лена) Галина бабушка с родственницей Марфушей и забрали с собой сиротку.

Два пути, две судьбы

Как же разошлись пути-дороги двух друзей — Павла и Коли? Ведь всю предыдущую жизнь со времен бесштанного детства они прошли бок о бок. По рассказу Коли, после возвращения домой они с Павлом все старались разузнать, где партизаны, чтобы уйти в отряд. Как только случай представился, рванули в лес. Однако партизанское начальство рассудило иначе, чем они.

— Вы больше пользы принесете, сидя дома, — сказал командир отряда. — Живите, как все, но помните: вы наши глаза и уши. Начальник разведки расскажет вам, что и как.

Так Коля и Павел оказались дома на легальном, так сказать, положении. Оба поженились. Прошло какое-то время, и вот Коля выполняет задания партизан, принимает связных, а Павла соблазняет новый порядок, при котором

настоящему хозяину обещают вольготную жизнь, не то что при Советах. Был резон? Резон, конечно, был. Если бы не цена — предательство. А кого, собственно говоря, он предавал?

Власть, которая чуть не до нитки обобрала их большую и зажиточную семью и залила кровью своих сограждан одну шестую часть суши? Родину? А что такое Родина? Разве мало таких, кто во все времена и не только в России, сказали бы: «Где хорошо, сытно, там и Родина». Или того хуже: «Были бы гроши да харчи хороши».

Разные жизненные установки переросли в личную неприязнь, а затем во вражду, когда Коля ушел, наконец, в лес, а Павля подался к полицаям. Полицаем стал и другой племянник моей бабушки — Сашка.

Видно, и тут сыграли роль приоритеты, унаследованные от деда, занимавшего при царе-батюшке нешуточную на селе должность лесничего и, по разговорам, неправомерно разбогатевшего поборами с крестьян, у которых в лесе постоянная нужда.

Полицай Сашка стал обирать народ с таким энтузиазмом, что забыл, кому он служит. Законопослушные немцы спокойно расстреляли его за мародерство. Что послужило основанием для родни утверждать впоследствии, что расстрелян он был за наше правое дело.

Х Х Х

Павля перебрался на житье в Вехно, где был немецкий гарнизон и кучковались полицайи. Однажды группа партизан отправилась туда на разведку. Заодно ей поручили взять Павлю и доставить его в отряд. Это поручение взялся лично исполнить Коля.

Когда партизаны выполнили основное задание, они отравились за полицаем. В темноте, садами и огородами, пробрались к дому и окружили его. Окна изнутри подсве-

чивались слабым светом. Хозяева, по всему, готовились отойти ко сну. Когда в стекло постучали, свет потух, и сквозь тускло замерцавшие стекла белым пятном мелькнуло лицо. В ночной темноте отчетливо слышны стали шепот, нервная возня, усиливаемые звонкими бревенчатыми стенами.

— Сейчас открою, — произнес, наконец, сдавленный от волнения женский голос.

Туго подалась дверь в избу, в сенях тонко зазвенели друг о друга ведра. Жук, без сомнения, был дома. И вот наружная дверь, из сеней, открылась.

— Здорово, кума! — весело сказал Коля, входя с двумя партизанами. — Аль не ждали? Да ты, Валюх, не трясись — свои, не немцы. А где Паша, братка мой названный?

— Нет его, — дрожа, ответила Валюха, — в комендатуре его держат, и кажин день до темна.

— А вы думали, немцы задарма кормить будут. Нет, брат, немец — мужик хозяйственный.

Коля протопал по избе, подсвечивая фонариком, и огляделся. У большой деревянной кровати висела люлька; в потолке кольцо, в кольце — толстый конец жерди, на другом конце — зыбка-качалка.

— Как малец, растет? — заглянул он под полог. — Парень что надо, вырастет — красноармейцем будет. С батькой вот только ему не подвезло. Да где Пашка-то?

Павлю нашли на чердаке за дымоходом. Сидел он в старой бочке и, как цуцик, дрожал под кипой старого тряпья.

...На опушке леса их ждали продрогшие товарищи с конем. Тропа была узкой, и маленький отряд вскоре растянулся: шли в затылок по одному. В середине, сильно прихрамывая, тащился полицай. Ему даже не связали руки. Уже через километр он стал останавливаться, красноречиво разводя руками и показывая на ногу. А когда его обласкали крепким словом, он заговорил:

— Ей-богу, не могу, братцы... Нога болит — спасу нет.

— Не может того быть: пуля-то родная, немецкая, — съязвил Коля.

— Вы б посадили меня на коня, а, рябяты? — будто не услышал Жук. — Куда я денусь — вас много, все с оружием.

— Ладно, черт с тобой... Подсадите паразита... Не на себе же его волоочь...

Тропа вывела на кладбище, противоположный конец которого упирался в проселочную дорогу. Когда едва различимые могилки с похожими на распятых людей крестами стали оставаться позади, Павля крепко ударил лошадь кулаком и нырнул в густой подлесок. Произошло это так неожиданно, что, когда хватились, ни коня, ни седока не было видно. Стали торопливо стрелять на тяжелый лошадиный топот, но... поздно.

От Вехно ушли недалеко, и Коля сказал:

— Ну, ребята, я назад, за Пашкой. Пропаду — так мне, дураку, и надо.

Он повернулся и почти бегом кинулся назад. Следом за ним во мраке пропали еще двое — Колины дружки. Остальные продолжили путь.

На громкий нетерпеливый стук откликнулись сразу. Дверь открылась, и Валюха охнула:

— Опять ты? Нету Паши, он в комендатуру поскакал.

— Куда он денется, змей поганый? — вытирая пот с лица, шагнул в избу мой двоюродный брат. Он подошел к зыбке и поднял спящего младенца, моего троюродного брата. — Куда он денется? Сам прибежит как миленький!

— Не дам! — взвизгнула Валентина. — Пашку берите, а сынульку мово никому не отдам.

— Вась, поддержи матку, мешает...

Васька, плотный невысокий парень, зажал ей сзади рот. Вдвоем, несмотря на отчаянное сопротивление, они быстро связали Валю и запихнули ей в рот пеленку.

— Не кричи, кума, — шумно сглатывая от возни и волнения, сказал Коля, — наша правда, а не ваша.

С улицы донесся тихий свист — надо было уходить.

– Пусть батька за ребенком сам придет... А за сына не беспокойся — мы не немцы и не полицаи.

Око за око, зуб за зуб. Через несколько дней Павля привел отряд немцев за нами в Алтун.

После нашего прихода в отряд младенец жил там еще некоторое время. За ним не единожды приходили посланцы от Павли — все свои, хорошие люди, получившие мандат доверия, естественно, не без давления. Женщины, жившие в отряде, Колю поругивали: к чему, баламут, ребенка взял, при чем ребенок? А однажды ночью малыша увезли в Алтун на розвальнях, чтобы передать моей бабушке Насте. И сделали это мама и Нина. Очень хорошо помню тот далекий вечер и мой страх за маму и тетку. Меня они не взяли, несмотря на уговоры и истеричные рыдания.

Мечь полицае и возмедие

История эта имела продолжение, причем весьма трагичное.

...Вскоре после того, как мы с мамой и теткой покинули отряд, о чем рассказ впереди, имели место следующие события.

В Канашовке при доме и какой-никакой скотинке оставалась престарелая мать дяди Матвея Ковренкова. Имелись в доме и съестные припасы, которые в лесу совсем не были лишними: та же картошка, к примеру, или капуста. Поэтому в деревню нет-нет да и наведывался кто-нибудь из членов семьи.

Как-то на побывку домой из лесу отправились дядя Матвей и его 15-летний сын Володя. И надо был случиться, что об их приходе прознал батька Павли — Ваня Косой. Говорят даже, что не прознал, а выследил. А выследив, вскочил на коня и рванул в Вехно напрямиком через лес. Вернулся с немцами.

Бабка не открывала. Тогда немцы взорвали дверь гранатой и ворвались в избу. Безоружных отца и сына взяли в подполе.

Через месяц с небольшим, в конце февраля 1944 года, Красная армия освободила наш район.

Только в дурном сне могло присниться то, что случилось с дядей Матвеем и Володей. Их вскоре отправили в Германию. Сначала определили в концлагерь, где содержались одни «бандиты» — так немцы называли партизан, которые не были военнослужащими. Потом, когда возмездие стало неумолимо приближаться, а число работников неумолимо уменьшаться, их отдали в батраки гроссбауэрам, в крепкие крестьянские хозяйства. Хорошо хоть в один дорф, в одну деревню.

Освободили их весной 1945 года американцы. Не дожидаясь решения своей судьбы кем бы то ни было, они перебежали в советскую зону, по прибытии в которую тут же на КПП были немедленно избиты нетрезвыми победителями как немецкие холуи. Сбежали и от этих. Вскоре дядя Матвей был мобилизован в армию, а Володя почти два года перегонял скот из Германии через Польшу в Союз с командой таких же пацанов-остарбайтеров, засунутых в военную форму.

Вернулись они домой совсем не сразу после Победы: дядя Матвей в конце 1945-го после демобилизации, а Володя в 46-м, глубокой осенью, когда его уже и ждать перестали. Потому что за эти годы не получили от него ни единой весточки.

Последний бой 3-я Ленинградская партизанская бригада вела в феврале 1944 года на шоссе Псков — Сольцы вместе с солдатами 60-го стрелкового полка 65-й стрелковой дивизии. После этого, по словам брата Коли, все партизаны теперешних Ленинградской, Псковской и Новгородской областей были выведены в Гатчину на отдых, а потом расформированы и направлены в войсковые подразделения регулярной армии.

Волею судеб Коля оказался в родной танковой части, из которой сиганул в июне 1941-го на мотоцикле. Войну закончил не в Берлине, но где-то неподалеку. После войны вернулся в родную деревню, лежащую в прахе, и вместе с отцом Матвеем Яковлевичем долгие годы работал трактористом, а если точнее — механизатором широкого профиля, пока не собрался с духом и не поехал вслед за младшими братьями Володей и Борей в Псков на постоянное местожительство, где и живет по сию пору, дай ему Бог здоровья и долгих лет жизни.

Он и рассказал мне о своей следующей встрече с Павлей Жуком, которая случилась уже после войны, в конце 40-х годов.

Х Х Х

После войны в республиках Прибалтики объявились «лесные братья» — в основном из числа тех, кто активно сотрудничал с оккупантами. Ряды борцов с советской властью и ее армией пополнились русскими коллаборационистами, в том числе и полицаями, сбежавшими подальше от мест, где они «отличились». Восточные районы Эстонии и Латвии, сопредельные с Псковщиной, кишели этим пегим, или, по-псковски, «пеганым», воинством. С ними война велась еще и в 50-е годы.

Взятые в плен «братья» русского происхождения доставлялись в Псков для установления личностей, так как категорически отказывались себя называть. К опознанию привлекались недавние партизаны из разных районов области, которые хорошо знали своих «героев». В числе «экспертов» был и брат Коля, который, по его словам, «знал всех гадов в лицо чуть не в целой области».

В конце сороковых вызвали его в очередной раз в Псков. Пришел Коля в солидную организацию к знакомо-

му следователю в назначенный день и час. Офицер ему и говорит:

— Доставили нам на днях из братской Латвии большую партию людей, захваченных в лесных лагерях. Все русские, есть, судя по речи, скобари. Подозреваем, бывшие полицаи. Подлинные фамилии, естественно, скрывают. Вот и побеспокоили вас, Николай Матвеевич, вдруг да знакомые найдутся.

На другой день явился Коля в присутственное место. Сидят они со следователем, а в комнату мужиков одного за другим вводят и выводят. Знакомых — никого. Вдруг заводят очередного: «кость в ем тонкая, а морда волосом взявши».

— Стоп! — вскричал Коля. — Я этого шашка (попсковски — черта) знаю! Это друг сердечный — таракан запечный Павел Иванович Иванов по прозвищу Жук, рождения 1920 года из моей родной деревни Канашовки.

— Вы не путаете, товарищ Ковренков? — осторожноичает следователь.

— Путать никак не могу, — толкует братка, — потому как все эти годы только о встрече и мечтал. И вот трапилось!

Перед лицом таких улик дядя мой запираяться не стал, а только с великим смирением произнес:

— Колюшк, мать честная, не надо б, а? Дело-то прошлое.

— Ну, нет! — запылел брат. — Моя б воля, я бы с тебя, шукура, прямо сейчас ремней нарезал!

— Спокойней, спокойней, — встрял офицер.

— Ну, было! — оборотясь к нему продолжил Матвеевич. — Унес я евонного рябенка в лес! Так мне за это так выпали, что до смерти не забуду. Вроде как поступил негуманно! Он, видишь, батьку с братом в концлагерь засунул, за родней немцев привел — даже племяша своо не пожалел, а я с ним, как на посиделках, должен турысы разводить... Чтобы все гуманно было!

В общем, дали тогда моему родственничку десять лет отсидки. Давно он их отсидел и, слышно, живет где-то в Подмосковье. В последние годы стал навещать родину — немного уж осталось тех, кто его помнит. Да и незлобив русский человек: провинился — наказан, чего с него теперь взять?

Подземная деревня

Партизанский отряд был необычайно людным. По лесу среди снежных бугров, под которыми находились землянки, с криком носились мальчишки с красными ленточками на ушанках и деревянным оружием. Девочки устраивали где можно уютные уголки и тетешкали там своих кукол. В основном это были мои сверстники. Ребята постарше в войнуне играли, они помогали воевать отцам и дедам.

Лагерь был перенаселен: слишком много жило в нем партизанских семей, убежавших из дому от преследований немцев и местной администрации. По ночам в землянках было не продохнуть из-за скопления людей. Взрослые спали сидя и лишь дети, как кильки в банках, лежали вплотную друг к другу валетиком.

Помню, как в один из первых дней пребывания в лагере, когда наша землянка готовилась отойти ко сну, вошли поварахи — тетя Ганя и мама. Тетя Ганя громко командовала:

— А ну, смирно, вшивая команда! Считаю личный состав...

И стала, тыкая пальцем в каждого, считать: «Раз, два...», а закончила счет словами: «Двадцать восемь! Слава богу, все на месте! А теперь отбой!»

Кухни было две — летняя и зимняя. Летняя располагалась в сторонке под навесом, где была сложена кирпичная печка. Зимняя была оборудована неподалеку в блиндаже. Из снежного бугра над ней, как ствол зенитки, торчала

черная железная труба. Тут и колдовали над ведрами да котлами женщины. Верховодила тетя Ганя. На прилегающем к кухням участке подземной деревни были сложены бревна и поленицы дров, жужжала пила и стучал колун. Мычали коровы и блеяли овцы.

Мы пришли в лагерь, когда еды там было предостаточно. Во-первых, живность приводили новоселы партизанской деревни. Во-вторых, так как немцы забирали скот у населения для нужд вермахта и для отправки в фатерлянд, жители ближайших к лагерю деревень предпочитали отдавать его партизанам. Очевидные излишки животных перегонялись в другие отряды бригады, где с продовольствием было не так густо. Толя Антонов, которому уже исполнилось пятнадцать, состоял в команде сверстников, занимавшихся этим под руководством начпрода или начхоза, не знаю уж, как он там назывался.

Молодые партизаны щеголяли в полушубках, сшитых под бекеши — с меховой опушкой на рукавах и груди — и в кубанках с алым верхом. На кубанках — красные ленточки, иногда со звездой, которые, помнится, были в большом дефиците.

В юные лета я, видимо, был не чужд пижонства и потому скоро стал носить на голове дружеский шарж на кубанку, изготовленный из рыжей цыгейковой шапочки тети Нины. Верх у нее, к моему недолгому огорчению, был не алым, а таким же меховым, как и все остальные видимые поверхности. Не вполне соответствовала моему героическому облику и партизанская ленточка: она была замечательно красной, но... в белый горошек. Не знаю уж, как меня сумели убедить, что это, конечно, не совсем то, но тоже очень хорошо, и что главное, больше ни у кого такого нет. Наверно, сыграла свою роль и зеленая полевая звездочка, которую, как утешительный приз, прикрепил поверх ленты кто-то из партизан. В руках у меня, естественно, всегда была деревяшка, слабо замаскированная под автомат.

Однажды я нос к носу столкнулся в лагере с Бронькой, тем самым, из-за которого невинно пострадал от старости. Он был оборванным и очень серьезным. На другой день после нашей непродолжительной беседы Бронька исчез. Оказалось, он был разведчиком, и с каким-то дедом они под видом нищих ходили по занятым немцами деревням и добывали нужные командованию сведения.

Памятной оказалась и еще одна встреча. В одном из пришедших в отряд партизан я узнал того, кто однажды приходил к нам домой и укладывал нас с мамой спать.

— Ага! — крикнул я ему, — я тебя знаю... Ты к нам в Алтун приходил.

— Ага! И я тебя, — засмеялся он в ответ. — Но я — не я и изба не моя. Живу с краю и ничего не знаю.

А потом позвал чистить оружие. Мы сели за стол под соснами. Он разослал тряпицу, положил на нее обреза и вынул затвор. Затвор был тяжелым, мощным, как и та часть ствола, в которую он вставлялся. Но грубо обрезанный кургузый приклад и будто обломанный ствол превратили прекрасную винтовку в нелепую калеку.

Покидаем лагерь. Долгая дорога в Ругодево

...Фронт неумолимо приближался. Это, должно быть, многое меняло в жизни отряда. Большое количество детей, женщин и стариков не могли не снижать его боеспособности. Да и условия жизни в лесных землянках никак не отвечали нуждам даже самых неприспособленных крестьянских семей. Те, кто мог, начали потихоньку покидать лагерь, двигаясь в сторону территории бывшей Партизанской республики, где немцы появлялись нечасто.

Однажды утром лагерь покинули две подводы, в одной из которых, укрытые тулупами и закутанные платками, сидели кроме возницы мы с мамой и тетя Нина. Наш путь лежал в Ругодево.

Х Х Х

Странно, но в течение всей своей долгой жизни я снова и снова видел во сне эту дорогу, хотя, казалось бы, ничего замечательного в ней не было.

Ехать в розвальнях очень неудобно: все время приходится лежать, полулежать или сидеть, как на полу. То ли дело в телеге: опустил ноги и сиди, помахивай ими. А здесь то один бок отлежишь, то другой. Время от времени седоки вылезают из саней и идут рядом, разминая затекшие ноги. Иногда темпераментный возница, сбросив тулуп, подолгу бежит рядом с санями, в которых подрывают пассажиры.

...Лошади, пофыркивая, трусят по дороге, скрипят по снегу стальными полозьями сани. Солнышко, которое с каждым днем пригревает все больше и больше, неподвижно стоит на небе с правой стороны. Иногда дорога поворачивает то влево, то вправо, огибая плотно стоящие группы деревьев или холмы. Тогда солнце уходит назад или оказывается впереди. Но пройдет несколько минут, и оно снова возвращается на прежнее место — справа. Лес тих и прозрачен. Но, судя по многочисленным следам, живет интенсивной жизнью.

Переехав гулкий маленький мосток, который завален снегом и потому едва различим, круто сворачиваем вправо, к маленькой речушке, чтобы напоить лошадей. Конь осторожно ступает на прозрачную ледяную закраину. Та обламывается, и вдруг из-под нее медленно выплывает крупный желтый лапчатый лист. Конь протягивает к воде длинную шею и, обмакнув в нее губы, медленно, с удовольствием начинает пить. Возница, наблюдая, подсвистывает. Наверно, чтобы побудить лошадь не прерывать процесс и досыта напиться.

Лист касается лошадиных губ и не хочет от них отрываться. И только когда конь поднимает голову, чтобы перевести дыхание, медленно уплывает по чистой темной

воде, а потом исчезает подо льдом — там, где кончается полынья.

Ближе к вечеру наш маленький обоз въехал в деревню и уверенно направился к одной из изб. Здесь нас ждали.

В избе было светло, тепло и пахло тем милым и подзабытым уютом, которым только и может быть дорог дом. Живут же люди! Не то что в тесной промозглой землянке. Ощущению уюта сильно способствовала ивовая зыбка с младенцем, подвешенная к жерди на потолке. Около зыбки на скамейке сидела старушка и пряла свою куделю, не забывая покачивать младенца. Делала она это, не отрываясь от пряжи, простым нажатием ноги на длинную ременную петлю, притороченную к люльке и свисающую почти до пола.

Мы сняли свою пропахшую дымом и землей одежду и усадились за скобленный стол. Чуть позже подъехала еще подвода. И гости, и хозяева вели себя как хорошо знакомые люди. Нам предстояло под покровом ночи незаметно пересечь хорошо охраняемый немцами большак, разделенный на короткие участки. По нему постоянно прохаживались охранники то в одну сторону, то в другую.

Когда стемнело, пошел густой снег, что было, как говорится, нашему козырю в масть. Мы быстренько собрались и теперь уже тремя подводами поехали к большаку, до которого оставалось не более километра.

Встали за кустами. Возницы вышли из саней и зажали лошадям морды, чтобы те не выдали нашего присутствия нежданным ржанием. Хозяин дома, где мы ночевали, ушел вперед, чтобы в нужный момент дать условленный знак для начала движения.

Мы волновались. И вдруг наш возница, наблюдающий за проводником, громким шепотом возвестил:

— Быстро поехали! Всем — молчок!

Сани рванули к шоссе. На полном ходу мы взлетели на дорожное полотно и ухнули с него по другую сторону. Возница нахлестывал лошадь, и розвальни мчались вперед, пронзая забитую снегом мглу. Казалось, на всю

округу разносились скрип полозьев и натужное дыхание лошадей.

Скоро стало ясно, что опасность миновала. Позади было тихо. Наверно, немцы с опозданием обнаружили свежие следы поперек большака, почесали в затылках и продолжили ревностное несение службы по охране вверенного им участка стратегически важного объекта.

Лошади перешли на шаг, а потом и вовсе остановились, чтобы передохнуть самим и дать оправиться людям.

Впереди забрезжили окна следующей деревни. Нас ждали и здесь.

В ночи слышались радостные приветствия, поцелуи, на которые так горазды скобари, возбужденный разговор гостей и хозяев. Оказалось, что мы приехали чуть ли не к родне.

Время было позднее. Меня засунули на печку, где я вскоре и уснул под приглушенные голоса взрослых и монотонное шуршание тараканов.

Утром проснулся как в раю. Было тепло, просторно и изба была освещена солнцем.

— Ранняя птичка клювик чистит, а поздняя глазки, — подошла, улыбаясь, мама. — Вставай, божий странник, ребята вон тебя заждались. Да и поели мы уже давно.

По избе важно прохаживался «красивунный», как говорят скобари, петун: перья на теле пестро-синие, шея и голова изукрашены золотом, борода и серьги — красные, а ноги мохнатые. Хвост покрасивше сотни радуг. Петуха держали в избе под печкой, потому что с ним приключилась какая-то оказия, и он проходил курс лечения.

Ко мне тут же подошли мальчик моих лет и девочка помладше.

Мальчик протянул акробата на лучинках:

— Ев какая смяшная игрушка. Играй, если хошь, мне ня жалко.

Девочка показала куклу. Это была настоящая «торговая» игрушка довоенного времени. Не то, что те, которы-

ми играли все девчонки в Алтуне: тряпичные, с нарисованными «фимическим» карандашом лицами.

У этой куклы была большая красивая голова и длинные льняные волосы. Розовое лакированное личико с закрывающимися голубыми глазищами и черными ресницами, алые губки. И еще она говорила «мама». Что девочка тут же с удовольствием многократно и продемонстрировала.

Осмотрев предложенные мне для обозрения и удивления сокровища, я развязал свой заветный шелгунок и открыл чудесную коробку. Тут настало время ахать им. А потом мы взялись за руки и побежали на улицу. Дел там было невпроворот.

Не успели мы как следует развернуться, как за мной пришла мама и позвала в дом. Мне предстояла экзекуция — мытье в печке. Эта длинная санитарно-гигиеническая процедура угнетает меня до сих пор. В юные лета я ее люто ненавидел. На этот раз она была много неприятнее. Меня затолкали туда, куда Баба Яга безуспешно норовила затолкать на лопате известного героя русской сказки, — в самое чрево натопленной печки. Я сопротивлялся ничуть не меньше, чем он. А может быть, и больше. Правда, лопаты не было, как не было и горячих углей. Под был тщательно подметен и устлан соломой. Огромный чугунок с горячей водой и ведро с холодной стояли на шестке. В печке был еще кто-то взрослый, кто энергично принялся за меня. Меня мылили, били веником. В общем, издевались как хотели, несмотря на громкие протесты. Наконец, извлекли, еле живого, и, поставив в жестяное корыто, начали ополаскивать. Потом в печь по очереди полезли мыться тетя Нина и мама.

— На улицу Борю сядовня не выпускайте, — пошутила хозяйка, — а то яво, такого чистого, живо сороки внясут.

После бани женщины принялись за стирку, потому что одежда была «завазголен до стынного» состояния. Тщательной чистке была подвергнута и верхняя одежда — «польты и жакетки».

— Лизаньк, наверно, ой как надоело блыкаться по лю-
дям? — посочувствовала хозяйка.

— А нявож нет, — ответствовала мама. — Так надоело, что спасу нет.

Но мы не догадывались, какие «блыкания» ожидают нас еще в этом году.

На следующее утро мы выглядели, как новенькие пя-
тки. Уселись в санки и помчались на отдохнувшей лошади в
Ругодево, где нас ждали дедушка с бабушкой и тетя Клава
со Светкой.

Новая жизнь на новом месте

«Терем-теремок, кто в тереме живет?» Проблема жи-
лья во время вынужденных миграций населения обостря-
ется до абсурда. В терем-теремок превращается все,
разве что только не рукавица и не лошадиный череп при
дороге.

Небольшой двухэтажный дом в центре Ругодево был
укомплектован под завязку. Здесь-то в одной из комнат
и ютилась наша родня. Не знаю как, но и для нас место
нашлось.

Житейские заботы были не для детей. Наше дело было
бегать, играть и радоваться жизни, купаясь в ее порази-
тельном многообразии и невероятной привлекательности.
Занятий интересных и разных столько, что не оставалось
времени для сна, и необходимость каждый вечер ложить-
ся в постель воспринималась как Божья кара. Только фи-
зическая усталость заставляла как-то мириться с ней.

Но и детей жизнь терла своей грубой изнанкой. Мы
стали явно недоедать. Да и где было взять еду в чужом
селе, без работы, без заготовленных впрок продук-
тов, которые были брошены в Алтуне? Так как в селе не
было ни немцев, ни какой иной власти, все жили сами
по себе.

Однажды в яркий солнечный день в село с разудалым гиканьем и свистом въехали несколько саней с партизанами. Люди высыпали навстречу. Чтобы продемонстрировать народу свое бесстрашие, кто-то из партизан поднял пулемет и выдал длинную оглушительную очередь в сторону деревни, которая находится за лесом и в которой, все знали, стояли немцы. Другой партизан стал стрелять из автомата по голубям, облепившим какую-то то ли башню, то ли пожарную вышку. Несколько голубей упали и, хлопая крыльями, забились на земле. И тут на голубей налетели дети. Я и два моих сотоварища по терему ухватили три голубя и помчались домой.

Бабушка, увидав добычу, радостно всплеснула руками и тут же стала ощипывать птиц. А вечером мы вкушали вкуснейший картофельный суп с голубями. Царская еда! В супе плавал даже лавровый лист — вернейший признак замечательной пищи, по моему тогдашнему разумению. Еще долго после войны на закуску я тщательно разжевывал вытащенный из супа лавровый лист, искренне полагая, что в еде это самая что ни на есть «ляля».

Но вернемся к партизанам. Возбужденный до крайности, отдав бабушке голубей, я влетел в наши апартаменты с криком:

— Партизаны приехали! Партизаны!

И осекся. Потому что партизаны сидели вокруг стола, смотрели на меня и смеялись. А один из них (уж не командир ли?) сурово спросил, придерживая улыбку:

— Ты что это, парень, военную тайну разглашаешь на весь дом, а?

За столом с партизанами сидела вся моя родня — комната была битком набита людьми. Партизаны ели, и все оживленно разговаривали. Меня, сконфуженного, увела бабушка.

Тетя Клава и тетя Лена, жившая в этом же доме, как я уже писал, были всегда связаны с партизанами и выполняли их поручения. И я, сидя над листом бумаги, сейчас

только вспомнил об одном таком поручении. Вот как рассказывала об этом тетя Клава:

«Был одно время в Ругодеве староста, нехороший человек. Перед немцами изо всех сил выслуживался. А нашим это выходило боком. Мы с ним, бывало, как встретимся, так обязательно поцапаемся. Как-то пришли в село партизаны и увели его с собой. (Мы тут ему подсуропили, конечно.) А там расстреляли.

Дело было под самую зиму, и по ночам уже хорошо примораживало.

Расстрелявши, передали они нам с Ленкой, чтобы мы за покойником приехали. А надо сказать, староста был калекой: одна нога у него была согнута в коленке. Не знаю уж, от рождения или как...

Приехали мы в отряд на телеге. Труп мало того что ооченел, но и замерз. Положили мы его на телегу и поехали. По дороге зацепился староста ногой за кусты, и его развернуло. Тут-то покойник по мне коленкой и врезал, да так, что я слетела с телеги, как блин со сковороды.

И всю остатнюю дорогу мы с Ленкой смеялись — отыгрался он на мне все-таки. При жизни не мог, так после смерти исхитрился».

Такие-то вот веселые истории военного времени.

Х Х Х

Из событий этой поры запомнилось мне, как наш сосед надумал в общем коридоре катать валенки. На большом столе он аккуратными слоями разложил шерсть. По технологии, по-видимому, требовалось большое количество горячей воды, и она стояла в баках и котлах на полу, на шестке русской печки, находившейся здесь же. Было много пару, вода лилась рекой прямо на пол. Специалист шаманил на столе, скатывая кипу исходного материала в тугую шерстяную трубу.

Раздавались приказания:

— Колька, кислоту подай! Подай кислоту, туды твою растуды!

— Много кислоты ня лей, — кидал реплику кто-то из болельщиков, щеголяя своей осведомленностью. — А то будут каляные, как из жалеза. Какое в их тяпло?

Потом мастер совал в трубу колодки и делал что-то еще специфическое. А результатом были отличные валенцы, на которые наутро всяк мог полюбоваться: они сушились у той же печки.

Ждем не дождемся освободителей!

...Наконец свершилось. В конце февраля Красная армия стала стремительно приближаться к нам. Немцы отступали так дружно и так плотно, что вторгались даже в деревни, куда в течение всей оккупации не заглядывали.

Как правило, деревни оказывались пустыми. Хотя порой в избах не прогорели печи, а на поду стояли чугуны со щами. Объяснялось это просто. Наученные долгим военным опытом, крестьяне выставляли дозоры и, вовремя предупрежденные, скрывались в ближайшем лесу, где заранее были оборудованы убежища и куда немцы сунуться не решались.

Не устаю удивляться изобретательности ругодевцев. В селе была общественная баня. Она стояла в сторонке на краю оврага тыльной к нему стороной. Если пройти вдоль фасада влево и завернуть за угол, глазами представал колодец с воротом и крышкой на срубе. Сруб почти вплотную примыкал к стене бани. Ругодевцы цепочкой подходили к обледеневшему колодцу, по очереди забирались на сруб и прыгали вправо, за тыльную сторону бани. Там начиналась тропа, которая спускалась на дно оврага и скрытно уходила в лес. Непосвященному и в голову не могло прийти, что колодец — начало хорошо утопанной

дороги, по которой целое село в считанные минуты скрывалось от противника.

Вместе со всеми в лесу оказались и мы, когда дозорные доложили, что к селу приближается немецкая колонна.

Лес был изрыт землянками. Многие были персональными: их вырыли заблаговременно и заблаговременно же перетасили туда часть имущества. Идешь по тропке вдоль заметенного снегом пригорка, а в нем — одна дверь за другой. В землянках — как дома. Помню, привел нас с дедушкой к себе в гости один мужик из местных. У него в убежище стоял большой стол, какие-то не то комоды, не то ящики. На столе — блестящий самовар, на самоваре — фаянсовый заварной чайник. Вдоль стен накрытые одеялами нары. Печка-буржуйка с трубой наружу. Тепло, уютно. Хозяин, гордясь, усадил нас пить чай.

Мы, пришлые, устроились иначе. Видно, кто-то позаботился и о нас: среди деревьев были вырыты большие глубокие ямы, закрытые бревнами и забросанные землей. Дверью, ведущей в них, были тяжелые щиты, которые при необходимости сдвигались в сторону, как чугунная крышка с люка городской канализации.

Мы прибежали в лес уже в темноте. Нас подвели к небольшому квадратному отверстию в земле и крикнули вниз: «Принимайте!» Кто-то взял меня под мышки и опустил в яму на чьи-то руки. Таким вот макаром — вверх-вниз — мы и перемещались, входя и выходя из землянки. Наверняка была и лестница, но я ее не помню.

В землянке по периметру были сооружены топчаны, в центре стоял стол. Пол был устлан сосновыми и еловыми духмяными лапами. В этом убежище мы прожили несколько дней.

Больше всего нас беспокоил дедушка. Ему было без году семьдесят, он был физически слаб и потому в общую землянку спускаться категорически отказался. Днем сидел у костерка, а ночью ходил по лагерю, чтобы не замерзнуть: мы доживали последние дни февраля. При-

глашения в частные землянки Дмитрий Васильевич с непонятым упорством отвергал. То ли не хотел причинять неудобств людям, то ли стеснялся нас, устроенных не лучшим образом. Кто его знает? Как бы то ни было, дедушка жестоко простудился.

Немцам, похоже, без русских было плохо, как щедринским генералам без мужика: нет еды, некому затопить печку, приготовить, убрать. Одно дело — статускво, если живешь на одном месте долго и обустроился; и совсем другое — поспешный, мягко говоря, исход. Они посылали делегатов — стариков и старух, не пожелавших уходить в лес, с уговорами вернуться в село: никто обижен не будет. То и дело в лес прибегала деревенская дурочка Марья по прозвищу Красавица. Ее, почитай, кажинный день посылали разные группы отступающих оккупантов. А через некоторое время после ее возвращения в село по лесу начинала бить артиллерия: видимо, Марья простодушно показывала район леса, где прятались односельчане.

Помню, как бегали мы по лесу среди вздыбленной взрывами земли и падающих деревьев и с каким остервененьем женщины избивали потом заявившуюся в лес неразумную Марью, угрожая ей мыслимыми и немыслимыми карами, если обстрел повторится.

Наши!!!

Наконец, наступил долгожданный день. Ночью лагерь проснулся и стал собираться домой. Оказывается, из разведки вернулась молодежь, в том числе и тетя Нина, и доложила, что в селе «наши». Всем не терпелось поскорее увидеть освободителей и убедиться, что война для них закончилась. Поэтому табор почти сразу двинулся в путь.

Однако по дороге осторожные старики предложили зайти в лесную деревушку, чтобы обогреться, обсохнуть,

а тем временем еще раз прояснить обстановку и уже потом податься в село.

Под утро молодежь снова ушла на разведку. Некоторые из ребят совершили восхождение на гору с необычным названием «Маяк». Гора эта была сравнительно недалеко от деревни и с нее отлично просматривались шоссе и вся местность вокруг. Разведчики увидели, что по шоссе передвигается бесконечная колонна с развевающимися знаменами. Тем временем мы с удобствами расположились в теплых избах, гостеприимно встреченные хозяевами, разулись, разделись и стали сушить промокшие одежду и обувь.

Вернулись посланные в село парни. Они сообщили, что в Ругодево власовцы. («Полно солдат и все говорят по-русски».) И вдруг с улицы донесся оглушительный стук швейной машинки — бил пулемет. Люди хватали одежку и выскакивали на улицу раздетыми и даже разутыми. Я успел заскочить в валенки, уцепился за мамину руку, и мы с ревом помчались к лесу.

Но было поздно. Орущую толпу остановили три солдата в диковинной форме: в белых полушубках с огромными погонами, с автоматами наперевес. Такой формы никто не видел. Солдаты почему-то смеялись, а один из них весело крикнул: «Стой, стрелять буду!» Толпа в замешательстве остановилась. «Власовцы, власовцы», — шептали сзади.

— Товарищи! — зычно сказал военный. — Мы бойцы советской армии! Вот наши документы. Кто грамотный?

Взяла документы тетя Нина и начала громко читать их. Не знаю, что убедило людей, но все вдруг кинулись к солдатам, стали тискать, целовать их и кричать: «Ура!» Весь день мы кричали, обнимались и плакали от радости — и здесь, в незнакомой деревушке, и по дороге в село, и в селе.

А вечером всем Ругодевом по рыхлому тающему снегу выбрались на большак, по которому тянулась бесконечная колонна техники и людей. До глубокой ночи кричали

здравицы, «ура!», мужики палили в воздух из винтовок и автоматов. Давали «нажать» и мальчишкам вроде меня.

Красноармейцы в долгу не оставались. С проходящих машин, танков, бронетранспортеров и даже с конных повозок громко раздавалось: «Да здравствуют!..» И это продолжалось до тех пор, пока все не охрипли и не стали валиться с ног от усталости и нервного потрясения. А я, дурак малолетний, все искал среди солдатских лиц самое прекрасное, самое дорогое и самое очкастое в мире лицо — лицо отца.

А в это время в Новоржеве и Алтуне

О том, что происходило в это время в Новоржеве и в Алтуне, я узнал от своего родственника Зиновьева Андрея Васильевича, майора в отставке, который участвовал в боях за родной Новоржев, хотя был призван в армию где-то в Сибири, где он несколько лет перед войной жил и работал. Такие вот узоры вышивает судьба на человеческих жизнях.

...С вечера 28 февраля 1944 года разведрота во главе со старшим лейтенантом Глуховым вступила в бой с фашистами на юго-восточной окраине Новоржева. Всю ночь город сотрясало от взрывов, и небо было багровым от зарева пожарищ. Было ясно, противник готовится оставить город.

Рано утром 29 февраля наши войска вошли в Новоржев. Старинный город лежал в дымящихся развалинах. Запах гари спирал дыхание. Кое-где остались полуразрушенными коробки каменных складов, кирпичных домов. Чудесным образом осталось целым и невредимым административное здание, где до войны размещались партийные и советские органы. Это настораживало, однако при беглом осмотре здания и подвалов ничего подозрительного обнаружено не было.

В доме тут же разместился штаб части. А когда началась нормальная штабная работа, прибежал сапер и доложил:

— Обнаружены мины с часовым механизмом!

Штабники моментально вынесли оперативные документы и аппаратуру связи, а через несколько минут страшный взрыв потряс окрестности.

Перед угрозой окружения противник поспешно покинул пригороды и занял новые позиции. Во время этой короткой передышки дядя Андрей получил разрешение командования покинуть часть для поездки в родное Свистогузово. Нетрудно понять состояние дяди: радость возможного свидания и тревога о том, состоится ли оно. Было рискованно ехать по не проверенной саперами дороге от Новоржева до Алтуна: в лесу еще бродили вражеские группы прикрытия, а от Орши до Воронковой Нивы дорога полностью была на виду у противника. Как только пикап вихрем рванулся из Орши, по кузову хлестнули осколки и мерзлая земля.

Но вот и Алтун. Глазам дяди предстала жуткая картина всеобщей разрухи. Людей не было видно. Пикап рыскал между завалами и обломками, пока не вырулил за село. Навстречу торопливо шла женщина, первая живая душа. Дядя Андрей узнал ее, но никак не мог вспомнить имени. Он остановил машину и стал было расспрашивать о родных, но она его опередила:

— Андрей, ты?! Не признал? Да я же Ганя Шорина, за Матвеем Ковренковым канашовским замужем... Вспомнил? Ну, здравствуй!

Они расцеловались.

— А твои, — продолжала тетя Ганя, — были где-то в партизанах за Селивановом. А сейчас, может, уже дома... Сейчас все к дому потянулись, кто откуда.

Въехали в то, что еще недавно было Свистогузовом. Серые пепелища присыпаны снегом. На месте родительского дома стояла одна печка. Со всех сторон стали подходить люди. Они пытливо вглядывались

в офицера и отказывались верить своим глазам, узнав односельчанина. И люди не стыдились слез, каждому хотелось обнять дядю, который был не только свой, деревенский, но и олицетворял собой армию-освободительницу. И был к тому же — знай наших! — большой офицерский чин.

Родители, оказывается, и в самом деле вернулись домой и соорудили в лесу землянку. Кто-то успел сообщить им о приезде, и дядя увидел вдруг, как спешит к нему, задыхаясь, старый человек. Отец!

Пошли в глухой лес. Здесь был настоящий город из землянок. В родительской землянке гостя ждали мать и офицер из соседней дивизии, тоже свистогузовский.

Весть о приезде офицеров облетела весь лесной гарнизон. Люди собрались у землянки, чтобы пообщаться с ними, узнать последние новости. Были тут и свои, знакомые, а также люди, которых дядя Андрей не знал. Встреча вылилась в торжественный митинг. Офицеры рассказали о положении дел на фронтах, об успехах Красной армии. Закончился митинг настоящим праздником, который продолжался до глубокой ночи. Люди ликовали. Радость и счастье переполняли их сердца — впервые за долгие три года войны.

...А тетя Ганя тоже появилась дома недавно. С освободителями они встретились в Жабкино буквально на днях. Они — это тетя Ганя с детьми и семья дяди Антона. И конечно же сразу отправились домой. Канашовка сгорела дотла, Алтун лежал в развалинах. Тетя Ганя осталась с 11-летним Борей и 5-летней Ниной на руках. О том, чтобы вырыть в мерзлой земле жилище, и думать было нечего — задача не по силам. Дядю Антона тут же взяли в армию, и тетя Нюша оказалась в таком же положении: без жилья, с детьми на руках. Неудивительно поэтому, что и они скоро появились в окрестностях Ругодево, где деревни остались в целости и сохранности и где обретались мы. Но произошло это ближе к лету.

Смерть дедушки

А пока мы взахлеб дышали воздухом свободы, и празднику, казалось, не было конца. Но... не тут-то было.

Дедушку привезли из лесу совершенно больным. Конечно, он нуждался в постельном режиме и немедленном лечении. Но он потащился со мной в ту самую общую баню, которую натопили по случаю возвращения из леса. В бане было холодно. Дедушка скоренько помылся сам, а потом принялся за меня. Процедура невероятно затянулась, потому что мыться я, как известно, не любил. Потом мы долго канителились в холодной раздевалке. До дому дедушка едва доплелся и сразу же повалился на постель.

Тут уж на борьбу с его хворью было брошено все: и тепло, и пунш, и горячий чай с малиной. Постояльцы (помнится, это были два офицера) привели военного врача. Но было, видно, уже поздно.

5 марта вечером в нашем коммунальном социалистическом доме с размахом праздновали пришествие свободы. Столы были установлены в нашей просторной комнате, кровати вынесены в общий коридор — прихожую, где стояла печь. На столе — все, чем только могли угоститься сами и попотчевать желанных гостей хозяева нашего терема-теремка.

Гостями были несколько офицеров, которые принесли военные деликатесы: американские свиную тушенку, колбасу в жестяных банках с ключиком на боку, яичный порошок, буханки хлеба, папиросы и водку.

Дедушка лежал в прихожей, а рядом на табурете сидел я. Мы вели тихие беседы. За стеной гремел патефон, танцевали. Потом кричали, перебивая друг друга, орали песни. Веселье было в разгаре. Дедушка был счастлив и все улыбался. Наверно, ему было очень хорошо и покойно в тепле, в чистой постели.

Потом пришли офицеры, принесли стаканы и бутылку с водкой. Они были хорошо нетрезвые и все лезли к нему целоваться:

— Батя, держись! Все будет хорошо, все будет тики-таки!

— Отец, давай махнем по махонькой за нашу победу! Ей-богу, не повредит!

Они бережно приподняли дедушку и вставили в его белую ладошку стакан. Дедушка был растроган. Он с наслаждением выпил водку и прослезился:

— Не чаял я, ребятки, что доведется мне нашей русской водочки выпить со своими... Вот радость-то...

Они ушли, а дедушка забылся сном. Вдруг он встрепнулся, поднял голову и, взяв мою руку, громко и тревожно произнес:

— Боря... Боря... внучек!..

Потом уронил голову на подушку. Какое-то время лежал спокойно, внезапно по нему будто прошла судорога. Я напугался, вскочил:

— Дедушка! Дедушка!

И тут он вытянулся, длинно выдохнул и обмяк.

Внезапно до меня дошло, что дедушки не стало, и я бросился к гуляющим с криком:

— Дедушка помер!

Песня оборвалась. Все повскакали с мест, роняя стулья и табуретки. Праздник закончился.

На другой день дедушку обрядили и уложили в гроб. Офицеры во всем помогали, умилившись этим обитателей нашего теремка. Особенно приятно их удивил офицер, причесавший дедушку своей расческой, а потом положивший эту расческу в карман.

— Что ж тут такого? — пояснил он. — Посмотрите на дедушку — он как святой.

Дедушка и в самом деле походил на святого: убеленные сединами волосы его и волнистая борода обрамляли бледное, почти белое худое лицо, такое непривычно спокойное и строгое.

Он не был своим здесь, в Ругодево, но все село пришло с ним прощаться.

— Добрый, веселый был человек... Жить бы ему да жить, — сокрушались старушки. — Да ведь хороших людей Господь до времени к себе призывает...

— И то, бабы, счастье ему, что своих он дождался...

Хоронить дедушку повезли в Алтун. Длинная процессия сопровождала сани до самой околицы. Здесь сани остановились. Люди стали креститься и просить у дедушки прощения, а потом тихо разбрелись.

Нет человека — нет проблем

Тетя Клава с тетей Ниной отправились как-то провести в Ботвино свекра, сурового старика с большой белой бородой, и свекровь, которую я совсем не помню. На обратном пути домой они зашли в деревню, где, как им сказали, находился немецкий солдат, отставший от своих из-за помороженных ног.

Тетки мои, девушки чрезвычайно бойкие, решили полонить немца и доставить его в Ругодевскую комендатуру. По словам тети Нины, немец пребывал в одной из «изоб» в тесном окружении любопытных. Он был грязный и небритый. На ноги ему болезные селяне вместо неприглядных тряпок успели натянуть просторные опорки — головки старых валенок без голенищ. Воспаленные глаза у фельдфебеля слезились. Он, по немецкому обыкновению, показывал всем фотографии своей семьи на фоне приятной лужайки и опрятного добротного дома — не нашим избам чета. Я говорю так, потому что позднее эти снимки разглядывал.

Тетки прервали это интересное для сторон общение самым грубым образом. Они забрали винтовку и сняли у немца с пояса тесак вместе с ремнем. Нина подпоясалась и, достав нож, стала над немецким чином кочевряжиться. Ее активно поддержала Клавдя, выделявая грозные артикулы винтовкой.

Мне трудно определить степень праведности остервененья теток, поэтому судить я не берусь. Но мне неприятно вспоминать подробности глумления над поверженным врагом. Короче, тетки отконвоировали немца напрямик в комендатуру. Вот тут-то я его и увидел, обретаясь в толпе других ротозеев.

На улице было тепло и светло. Солнце интенсивно испаряло воду из последних луж и придорожной канавы. Кричали грачи и распевали скворцы, захлебывались от счастья зяблики. Кошка осторожно переходила дорогу и брезгливо вздрагивала, наступая лапами на сырую грязь. Праздные взрослые, солдаты и ребята окружили немца, усаженного на лавку рядом с крыльцом. Солдат поставил ему на колени котелок с кашей, вручил кусок хлеба. Немец стал есть, громко чавкая. Когда он поел, из дому вышел старшина в сопровождении двух солдат. Они подняли немца и вывели его на дорогу.

— Ком нах фатерлянд! — сказал старшина.

Немец не понял. Тогда его стали подталкивать в сторону от села и показывать рукой вдоль дороги:

— Иди домой, дурак! К киндерам, к бабе! Дуй в свой Дойчланд! Нихт ферштеен? Вот дубина!

Наконец, немец все понял. Он заплакал и попросил разрешения оправиться. Ему разрешили. При большом стечении народа он спустил штаны, сел на край канавы и стал испражняться, приведя в гневное исступление присутствующих:

— А их еще, твою мать, культурным народом считают! Или мы для них вроде скота? Сволочь!

Немец подтянул штаны и вопросительно посмотрел на вершителей своей судьбы.

— Иди, иди! — опять стал показывать старшина. — Не бойся, никто тебя не тронет. Нах хаус!

Немец не верил. Старшина что-то крикнул, и из комендатуры вынесли каску, которую он надвинул немцу на пилотку и затянул под подбородком ремешок.

— Ком!

Немец опять заплакал и, вытирая слезы грязным кулаком, поплелся в сторону большака. Он шел и все оглядывался. Старшина приветливо делал ему ручкой: «Всего хорошего!»

Когда немец оглядываться перестал, старшина протянул руку, ему дали винтовку. Он взвел затвор и, подняв оружие, не спеша прицелился и выстрелил. Раздался резкий щелчок по металлу, и немец, как подкошенный, рухнул. К нему, как к подбитому зайцу, кинулась вся толпа. Он был мертв. Пуля пробила каску и голову. Старшина снял каску, внимательно, как мишень, ее осмотрел и с удовлетворением отбросил за кювет.

Наверно, появление немца сулило комендатуре непредвиденные хлопоты. А кому они нужны? Как поступить — дело ясное. Отец народов давал мудрые советы на все случаи жизни: «Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы!»

Солдаты быстро выкопали неглубокую яму тут же, у дороги, бросили туда немца и закидали землей. А каска еще долго валялась на земле, мокла под дождем и ржавела.

И жизнь пошла совсем другая

С приходом Красной армии резко ожила культурная жизнь в селе. Патефоны играли неслыханные прежде и прекрасные песни: «Темная ночь», «Вечер на рейде», «Эх, как бы дожить бы...», «Случайный вальс». Весело запел Утесов. Особенно нравилась всем «Партизанская борода». Женщины очень любили песню «Летят утки и два гуся». Куда, бывало, ни пойдешь, везде ее поют. Где работают, там и поют.

Стали показывать кино. Киномеханик крутил ручку аппарата, а два парня из числа зрителей поочередно вращали ручку динамо-машины, чтобы мы кино видели.

Первый сеанс с самого начала произвел сенсацию. Когда с экрана в зал понесся паровоз, дети, до того кино не видевшие, в испуге закричали и заплакали. Да и я, зная, что это такое, не вытерпел испытания и спрятался за спинами впереди сидящих.

Из другого фильма вспоминается жестокая рукопашная схватка. Люди в диковинных одеждах с широкополыми шляпами и в огромных сапогах взяли на абордаж парусное судно и устроили на обеих палубах настоящую битву. Стреляли пушки, горели паруса, валились мачты, тонули лодки и корабли. А на первом плане отчаянно фехтовали бородатые мужики. Было на что посмотреть! Однако ушлые зрители были спокойны и только посмеивались: «Вот так война!»

Х Х Х

На просторном поле между Ругодевом и Ботвином был оборудован аэродром. Здесь кипела своя жизнь, наблюдать за которой можно было только очень издали — охрана ревностно следила за тем, чтобы посторонние к аэродрому не приближались ни под каким видом.

Однажды ночью налетели немецкие бомбардировщики и основательно аэродром разбомбили. Народ говорил, что навел немцев на аэродром какой-то старик-инвалид с маленькой девочкой. Старик хорошо играл на гармошке. Их видели в окрестных деревнях и в Ругодеве, подавали милостыню, а они, оказывается, были немецкими разведчиками. Будто бы в гармошке у деда был спрятан радиопередатчик, и немцы по его сигналам определили, где был аэродром. Запеленговали, попросту говоря. Не будучи специалистом, я все-таки думаю, что техническая мысль крестьян сильно опережала технические возможности противника. И наши тоже.

Как-то вдруг оказалось, что многие видели и инвалида и девочку. По-моему, видел их и я.

Х Х Х

Еще весной наше семейство существенно увеличилось после прихода тети Гани с Борей и Ниной. Жить вместе в тереме было невозможно, и мы всем колхозом переехали в деревню Кудяево, за три-пять километров от Ругодево. Нас приютила какая-то женщина с ребенком, а тетю Ганю с ребятами — соседка.

Кудяево плавно, почти без интервала между избами, переходит в другую деревню, такую же небольшую, названия которой я не помню.

Деревни эти расположены на невысокой гряде, дугой опоясывающей озеро. В той же ложбине, что и озеро, на берегу его раскинулась еще деревушка — Ступино. Она в километре от Кудяево, но значительно ниже и чуть в стороне. Дальше за озером — поле, а потом лес. Дорога через Кудяево и другую деревню была довольно оживленной. По ней постоянно перемещались войска, техника. К тому же на обширном поле за озером устроили полигон. Обитатели Ступино из соображений безопасности были выселены.

В нашей избе, равно как и в соседних, постоянно ночевали солдаты — ночью на улице было холодно. На пол настилали солому, на нее раскладывали брезенты, одеяла, а уже потом располагалось воинство. Солдаты, соскучившиеся по детям, непременно хотели спать с нами. И мы, привыкшие к ночевкам в скученных помещениях, с удовольствием забирались к солдатам под одеяла и плащ-палатки. Это сулило и приятные ласковые беседы, и немудреные, но желанные солдатские подарки: звездочки, значки, да мало ли на войне было мелочей, и наших, и не-

мецких, которые были настоящим сокровищем для детворы, лишенной игрушек?

Две мерзкие хвори изводили меня в это время — коклюш и золотуха. Я температурил и заходил в кашле. Голова моя была будто залеплена противной коростой, и потому я, как девочка, был туго завязан белым платком. Голову густо мазали какой-то самодельной мазью. Тесный контакт с солдатами оборачивался для меня дополнительными страданиями. У солдат было полно вшей, и они забивались под коросту, множа и без того нестерпимый зуд. Иногда в яростном нетерпении я срывал платок и начинал обдирать струпья. Вшей под ними был легион. В память об этом периоде моей жизни на бедной голове моей на многие годы остались большие проплешины. Это очень некрасиво выглядело на стриженной голове, а стричься наголо было железным школьным правилом до шестого или седьмого класса.

Громы и молнии легендарной «катюши»

Полигон начал работать. По полю носились танки и стреляли. Стреляли пушки. Бегали солдаты, кричали «ура!» и тоже стреляли. Мы имели редкое удовольствие почти ежедневно наблюдать от своего дома, с пригорка, картины боя.

Однажды в сумерках за мной в избу пришел пожилой и усатый солдат (усы в армии были в моде). Он вынес меня, больного, на улицу, сел на краю обрыва на приготовленный заранее стул и посадил на колени лицом к полигону. Рядом, кто сидя, кто стоя, расположились солдаты и мирное население. Как в театре, все ждали начала какого-то представления.

— Сейчас начнется, — тронул меня солдат. — Сейчас увидишь, как «катюши» стреляют. Я и сам пока толком не видел, что это такое.

О легендарном оружии слышали и мы.

Сумерки сгустились. И тогда небо вдруг засверкало сполохами, летящими друг за другом непрерывной чередой. Пронзительный пунктирный визг разорвал молчаливое пространство. За ним последовали мощные взрывы. Создалось впечатление, будто все вокруг сверкает, гремит и визжит. Неслыханное и невиданное действо переполошило скотину.

Когда стрельбы закончились, люди некоторое время молчали, а потом стали радоваться, что вся эта мощь обрушится на головы врагов.

— Ужотко перепадет гансикам! — комментировал какой-то парень довольно. — Надают наши им жбанов по первое число.

...На полигоне произошло ЧП. Как говорили тогда в деревне, будто бы во время танковых стрельб у одного из них на ходу заклинило башню, и выпущенный снаряд угодил в наблюдательный пункт. На месте погибли генерал и офицеры.

После ЧП к нам приехало высокое начальство в «виллисах» с открытыми брезентовыми верхами, появились генералы, старшие офицеры в погонах с двумя просветами и охрана. Машины медленно двигались по деревенской улице, где собралось немало народу. Мальчишки вцепились в борта «виллисов» и бежали за ними с веселым гоготом. Я со товарищи, держась за задний борт вездехода, все норовил подпрыгнуть и закрепиться повыше, чтобы ехать.

Мне хорошо видны были погоны генерала с четырьмя звездочками. Он иногда поворачивался к нам с улыбкой:

— Осторожнее, скобарята, не упадите...

Потом было что-то вроде митинга. Наш генерал сказал речь, все с воодушевлением хлопали. Потом машины тронулись и, набирая скорость, уехали. Ничего другого об этом визите в моей памяти не сохранилось.

Мог ли я знать тогда, что в «виллисе», за который мы цеплялись, сидел сам командующий 2-м Прибалтийским

фронтом генерал армии Маркиан Михайлович Попов? Это его войска освободили Новоржевский район. Самое удивительное заключается в том, что юношеские годы Маркиан Михайлович провел в Новоржеве. Здесь он окончил высшее начальное училище, именно отсюда по путевке комсомола отправился служить в армию.

Ну разве не тороват русский мужик?

Мы лежим на траве на самом берегу озера с закрытыми глазами. Мы — это я, Боря Ковренков и мальчишки — участники наших игр. К головам подступает невысокая, еще зеленая стена ржаных стеблей. Солнце такое яркое, что ослепляет даже сквозь веки.

Над нами в высоте звенит бесконечная песня жаворонка. Вот он — черная трепещущаяся точка. Несмотря на жару, мы в озеро не лезем: боимся. Потому что сквозь воду просвечивают большие мотки живого конского волоса. Если присмотреться, видно, что они шевелятся. Утешаемся тем, что с наслаждением сосем кусочки невиданного прежде лакомства — вареного в молоке сахара.

Как только в доме появился сахар, наши матери с бабушкой мгновенно сварили его в молоке, а потом густую горячую массу разлили по тарелкам и чашкам. Когда масса остыла, ее извлекли из сосудов, чью форму она честно повторяла, и стали колоть на мелкие кусочки.

Но это был уже не сахар. Это были конфеты. Сродни «Школьным» или «Коровке», или другим, схожим по рецепту и технологии изготовления.

Появилась и мука. Наши поварихи изловчились и напекли баранок. Я как идейный пожиратель сырого теста не мог находиться в это время в другом месте. Сначала они замесили густое пресное тесто, раскатали его и свернули в баранки. Потом сунули в кипяток, а уж потом на противне поставили в печь. Меня шокировала промежуточная

операция — окунание в кипяток. Но благодаря этому, наверно, баранки стали тугими и вязкими.

Баранки — это вам не хлеб наполовину с картошкой, кроме которого мы ничего хлебо-булочного не знали. Это — деликатесное кушанье. А в купе с молочным сахаром — сплошное удовольствие и блаженство. (В следующий раз такой сахар мне довелось увидеть в 1970 году на станции Сызрань-2. Его продавали в таком же виде, в каком извлекли из посуды.)

И вот лежим мы на берегу, едим баранки с «конфетами» и запиваем водичкой. Отдыхаем. Завтра нам с Борькой пасти деревенское стадо. Как-никак в этом стаде — наша Зорька, а пасут его скотовладельцы по очереди.

Ну, а сегодня мы уже наработались: обегали все соседние деревни, всюду заглянули и везде что-нибудь поделали. Конечно, побывали и у высокого песчаного обрыва неподалеку от озера, любимого места игр. Высокий обрыв весь в дырках. Их вырыли ласточки-береговушки. Это гнезда. Гнезд так много, что воздушное пространство у обрыва прямо кишит этими симпатичными птичками.

Подойти к обрыву просто — он находится совсем рядом с деревней и почти у дороги. Надо только немного пройтись по лугу. Зато подобраться к ласточкиным гнездам весьма затруднительно. Мальчишек это больше всего и привлекает. Они приносят веревки, делают лестницы, потому что очень уж хочется засунуть руку в гнездо и достать либо яйцо, либо птенца. Спускаются к гнездам сверху, поднимаются на стенку снизу, вызывая суматоху среди ласточек, но, как правило, безуспешно. Потому что ласточки тоже не дурные и обосновались в обрыве по оптимальному варианту: сверху не достать, потому что низко, а снизу не достать, потому что высоко.

Правда, некоторые гнезда сверху были все же доступны. Мальчишки рассказывали, божесть, что кто-то из них, естественно, отсутствующий, однажды, свесясь, пошуровал в гнезде палкой, а потом подставил сачок. Так в сачок из гнезда такая гадюка сиганула — страсть! И злая-презлая.

Она там яйца пила или птенцов заглатывала. А может, и квартировала. Худо ли: всегда в тепле да в сухости.

На этом же лугу при нас было начато кирпичное производство. Мужики навозили глины, сделали большое деревянное корыто, в котором глину стали месить с водой. На траву уложили форму — огромную деревянную раму с многочисленными отверстиями под будущий кирпич. Раму набили податливой глиной и стали ждать, пока она подсохнет. Когда это случилось, раму подняли, оставив сырые кирпичи на месте, и отнесли чуть в сторону. А потом опять набили глиной. Из хорошо затвердевших кирпичей сделали стенку, обложили ее дровами и подожгли. Кирпич стал обожженным и пригодным для строительства.

Описывая народные промыслы или рабочие операции, которые произвели на меня в детстве незабываемое впечатление, я, наверно, нагородил массу ерунды. Но сделал это не по злему умыслу. Просто честно описал, что видел сам и как все это представляю, опираясь на детские воспоминания.

Воздушный шар и устное народное творчество

В небе появился огромный воздушный шар. Штука невиданная. Он переполошил все население в округе. Дело было днем, поэтому шар видели все. Сразу за деревней над полем он вдруг медленно стал снижаться и, коснувшись тверди длинным концом свисающей веревки, замер. Мальчишек и девчонок из ближайших деревень набежала тьма. В их числе был, естественно, и я. Мы ухватились за стропу и стали притягивать шар к земле. Но он никак не поддавался. От деревни к шару по полю поспешала танкетка: впереди два колеса, а кузов — на гусеницах. И когда из кузова выскочили солдаты, шар пошел вверх, увлекая за собой шумную ватагу. Детвора не отпускала стропу, а шару — хоть бы что. Он продолжал набирать высоту.

И вот конец веревки взвился в небо. На конце болтался мой брат Борька. Он отпустил веревку только тогда, когда все стали кричать: «Прыгай!», и гулко шмякнулся о поле. С ним, к счастью, ничего не случилось.

Танкетка развернулась и помчалась по дороге вслед за шаром в сторону нашего дома. Солдаты были нашими соседями, поэтому вместе с ними в кузове танкетки тряслись и мы. Но надежда на то, что шар опустится снова и его можно будет поймать, чтобы выяснить, что это такое и зачем, не оправдалась. Мы еще какое-то время гремели по дороге на танкетке, тщась его догнать, но он поднялся очень высоко и исчез за лесом. Стрелять по шару, видно, приказа не было.

Странный его спуск к людям и вполне логичное поведение породили потом массу дискуссий на завалинках. Согласно общественному мнению, шар был немецкий и управляемый, а прилетел он, естественно, чтобы сфотографировать полигон. Сфотографировал, а потом улетел обратно. Выходило так. Стали говорить даже, что, опустившись, шар сбросил груз листовок. Другие же утверждали, что сброшен был ящик с едой, на котором было с язвой написано: «Вот вам — жрите, а то с голоду подохнете». Но это был, по-видимому, уже фольклор.

Когда я был студентом, в Подпорожье Ленинградской области мне довелось познакомиться с симпатичной девушкой моих лет. Мы разговорились и скоро выяснили, что земляки. Она даже оказалась родом из той деревни, которая соседствовала с Кудяевом. И более того: в детстве мы, держась за одну веревку, пытались удержать тот самый шар. Вот как бывает, вот как выходит...

Почему не стало дяди Антона

Где-то в это же время тетя Нюша (жили они в деревне недалеко от Кудяево) получила весточку от дяди Анто-

на, который воевал еще поблизости и был тяжело ранен в ногу. Тетя Ньюша тут же отправилась в путь. Нашла она дядю в каком-то грязном блиндаже, где в самой непопулярной, по ее словам, обстановке были свалены раненые солдаты. У дяди Антона была гангрена.

Вина лиц мужского пола призывного возраста, оказавшихся в оккупации, перед социалистическим Отечеством была столь очевидна и так чудовищна, что после освобождения они тут же загремели в штрафные батальоны, а значит, вскоре были или тяжело ранены или убиты.

Когда недавних невольников рейха привели в часть, вновь обретенный начальник выступил перед ними с интересной речью:

— Что, сволочи, не удалось-таки войну в кустах пережить? Шкуры свои спасали... Вам милее было фашистам зады лизать, чем за Родину сражаться... Мы, понимаешь, себя не жалели. Всю страну на животе проползли, недоедали, недосыпали, чтобы победить. А вы обжирались в тылу, за бабы юбки держась, гады! Да моя б воля...

Дядя Антон, человек вспыльчивый, не утерпел:

— А не за тобой ли, мил-человек, в 41-м мы с повестками бежали чуть не до Кавказа, да догнать не могли? Кто шкуру-то спасал, если вы почти всю Россию немцам без бою отдали?

Офицер речь свою продолжать не стал, но дяде Антону сказал:

— С тобой разберусь отдельно.

Думаю, такого рода дискуссий было немало. Да я лично не однажды подвергался таким же наскокам со стороны сверстников, которые о войне только слышали. Как им не быть, если родное государство многие годы числило нас в виноватых, привычно сваливая свою вину на других?

...В первом же бою дядю Антона ранили. И все знали, что стрелял в него сзади оскорбленный в своих патриотических чувствах офицер. Но о каком правосудии

могла идти речь во время войны? Где оно даже в наши мирные дни?

Не успела тетя Ньюша вернуться, как пришла еще одна весточка. Товарищи дяди извещали о его смерти и звали на похороны. Она поехала назад.

Бесстыжая морда

Наступило лето. И мы засобирались ближе к дому: летом-то можно жить и в шалаше. Главное, что рядом все свои и все свое.

Бабушка с коровой, тетя Ганя с детьми и Антоновы тетя Ньюша, Толя и Нина — отправились в Алтун. Мы с мамой, тетя Нина, тетя Клава со Светкой — в Новоржев.

Мы обосновались не в Новоржеве, а в примыкающей к городу деревне Орше, расположившейся по обе стороны бульжного тракта. Это был наш родной большак, связывающий Новоржев с Пушкинскими Горами. Как ни странно, Орша, как и соседнее Булахово, почти полностью уцелела. Они, как и прежде, утопали в садах и в купах деревьев. Отсюда с любого места как на ладони был виден разрушенный собор, стоящий на холме при въезде в Новоржев. Дальше виднелись сплошные городские руины.

Большой дом у большака был приспособлен под столовую, где и стала работать официанткой моя мама. Это было хорошее время: как только мне хотелось перекусить, я забегал в столовую, и мама хоть что-нибудь, да совала мне в рот. Иногда это была котлета. Мясная котлета на Псковщине всегда была верным спутником праздника или признаком достатка. А тут в будний день — и на тебе! Почему-то в столовой котлеты всегда были с основательным душком, но какое удовольствие они доставляли после длительного поста!

Меня некуда было деть, и я целые дни носился вдоль большака поблизости от столовой. Среди ребятишек в

то время была мода на катание обручей от бочек. Это занятие требовало большого искусства: обод, известное дело, имел наружную (рабочую) поверхность не цилиндрическую, а коническую, и все норовил свернуть с тропинки, протоптанной по обочине большака. Да и тропинка юлила зигзагами то вверх, то вниз. Водилом служила хитроумная конструкция из толстой проволоки с крючком на конце, каковым и надлежало толкать обод.

Несколько дней подряд с утра до вечера я из сил выбивался, чтобы овладеть искусством вождения коварного снаряда. Даже ночами продолжалась борьба с подлым ржавым колесом, и оно, наконец, сдалось. Ах, какое счастье было бежать по узкой вертлявой тропке и катить перед собой обод, поражая прохожих удалью и мастерством!

Когда это развлечение надоедало, я становился натуралистом: ползал по лугу недалеко от столовой за кузнечиками и муравьями, залезал в бурьян, чтобы поймать бабочку, собирал ягоды с запущенных кустов смородины.

Как-то за колючим розовым кустом, закрывавшим бревенчатую стенку столовой, я обнаружил целый мир: у продолговатой щели между бревнами, почти у земли, суетилось множество пчел. Одни исчезали в щели, а другие выбирались и улетали. Наблюдать за ними можно было без конца, и я каждый день подолгу сживал у розового куста, не задумываясь о глубинной, прикладной сути явления.

А суть была. Я рассказал о своих наблюдениях маме, а она — родному коллективу. Вождь коллектива ринулся в подвал, обнаружил там большую кладовуху меда и принялся за дело. Меда оказалось не одно ведро, и заведующий справедливо рассудил, что имеет на мед все права как ответственный за противопожарное состояние здания. Но он был бесконечно добр, этот человек, и потому лично вручил мне приз: кусочек соты с медом на блюдечке с голубой каемочкой.

Но, видно, дрогнуло на миг сердце хорошего человека, когда он клал мед на блюдце: в соте оказалась пчела. И когда я пировал, облизывая соту, пчела ужалила меня в кончик языка! Язык распух, и я до ночи не мог засунуть его в рот. О своих страданиях умолчу. Не хочется вспоминать.

Странно, но именно за этим курьезом последовал вердикт коллектива, донесенный до слуха начальства нервным дамским озвучиванием:

— Мальчишке за целый клад капельку дал, да и то пожалел, морда бесстыжая!

На свидание с Алтуном

Мы жили все вместе в недостроенном доме: мама, тети Клава и Нина, я и Светка. Пол в нашей комнате практически отсутствовал: доски были просто положены на лаги. В сенях пола не было вовсе, и мы пробирались к выходу как через болото — по узкой дощечке. Тетки работали рядом в сбербанке: все районные учреждения по известной причине ютились в Булахове. Теток беспокоила судьба Гали, потому что ее мать, тетя Лена, пропала, как в воду канула. Галя жила в Лышнице у престарелой бабушки, которая больше Гали нуждалась в уходе. Посоветовавшись, решили ехать за Галей.

И вот в один прекрасный день в столовой объявились тети Клава и Нина, а с ними маленькая плохо одетая девочка. С Галей мы увиделись в первый раз после бегства в партизаны.

Мама накормила нас яичницей и клюквенным киселем, а потом попросила попутного шофера довезти до Алтуна.

Ехали мы в просторной кабине «студебеккера» и сошли не на станции, у школы, а попросили шофера остановиться подальше, на нижней дороге. Все дома, которые

еще недавно стояли на большаке, были сожжены или разрушены.

Мы выбрались из кабины и вошли в густую тенистую аллею, образованную огромными деревьями. Дорогу перегораживал спиленный серебристый тополь. С трудом перебрались через него, продираясь сквозь густые ветви, и ринулись в заросли малины, которые рдели от изобилия сладких ягод.

Собирая малину, мы подвигались к селу, пока не оказались на развилке верхней и нижней дорог. Тут нас и увидели алтунские бабы.

Поняв, откуда мы идем, они всплакнули, потому что дорога, оказывается, была заминирована, о чем честно предупреждали расставленные везде щиты. Но ведь мы-то были неграмотными!

После обстоятельных расспросов о родне женщины сказали нам, что наша бабушка в поле у мельницы жнет рожь. Мы пошли дальше, и первое, что увидели, — изуродованную мельницу. Куда подевались ее огромные, величественно вращающиеся крылья, горделивый серебристый шлем? Все было уничтожено огнем. Могучий остов мельницы снаружи был в сколах и ссадинах, которые, как раны, краснели кирпичом под белой штукатуркой. Изнутри мельница была черной от копоти.

А наша дорогая бабушка нашлась совсем рядом. Она сидела на краю поля под дубом, отдыхая.

Алтун лежал в развалинах. От белого и красного домов остались стены с черными дырами оконных проемов. На месте высоких серебристых силосных башен в земле зияли глубокие ямы. Мощные каменные кладки хозяйственных построек стояли неколебимо, но их деревянное содержимое выгорело начисто. От склада, каретного сарая, конюшни — одни стены. На месте сеного сарая буйно росла крапива.

Но самой страшной потерей был княжеский особняк. Вместо него вздымалась огромная куча щебня и кирпичного лома, среди которого виднелись отдельные фраг-

менты былой роскоши: обломки кафельных и гранитных облицовочных плиток, куски каменных орнаментов, обломки львиных голов с раскрытыми пастьями, которые не так давно украшали стены здания.

Чуть в стороне стоял обугленный ясень. Но на верхушке его, на черном тележном колесе, победно раскинулось новое аистово гнездо, и две большие птицы как ни в чем не бывало выясняли семейные отношения, запрокидывая назад головы и яростно щелкая клювами.

Х Х Х

В Алтуне рядом с парком еще при Львове были обустроены обширные кладовые: два овощехранилища и холодильник. Они прекрасно сохранились и по сей день и представляют собой широкие и глубокие траншеи в десятки метров длиной со стенками из бутового камня.

Траншеи закрыты высокими крышами, почти лежащими на земле. Помещения в земле отлично вентилируются, поэтому здесь всегда сухо и легко дышится. В них и обосновались алтунцы. Антоновы и баба Дуня жили в холодильнике. А другая моя бабушка, Анастасия Михайловна, с тетей Зиной и маленьким Вовкой занимали подсобку оранжереи, чудом сохранившуюся.

Деревни в округе были полностью уничтожены. Трубы да пепелища вкуче с садами указывали на то, что здесь раньше жили. Люди ютились в землянках, жили в подвалах собственных домов. Леса кругом были переораны окопами. Везде валялись гильзы, каски, тряпье, покореженное железо. Алтун тоже был захламлен военно-полевым мусором.

Ковренковы обосновались на своей усадьбе в землянке. Борька сразу же повел меня на канаву подальше от глаз людских. Он достал маленький пистолет и стал из него расстреливать лягушек.

Мать, опасаясь за мою жизнь, сумела привить мне аллергию на оружие, поэтому я всячески его избегал. И это обернулось благом.

Потому что любопытные, жадные до всего военного мальчишки бездумно рисковали своей жизнью, расхватывая и растаскивая по домам все, что стреляло и взрывалось. Этим добром было завалено все вокруг. И не было, наверно, дня без черной вести о том, что в какой-то из деревень кто-то из мальчишек погиб или стал калекой. Именно в это время ушел из жизни мой друг Лелька. Жертвы войны множились и после его ухода; она долго еще продолжала убивать, калечить тела, жизни и судьбы людей.

Второй раз в первый класс!

Ближе к осени мы всем колхозом перебрались на житье в деревню Большое Никулино — километрах в трех от Орши. Наверно, бежали от тесноты и неустройства.

Ощущение простора и свободы возникает у меня при воспоминании о Большем Никулине. Людей было мало, и мы целые дни гоняли «чижика» или играли в кости. В чести были также городки и «выбойка», известная на Урале как «чика»¹. Суть ее состояла в том, что все участники игры ставили на кон, скажем, по пять копеек, располагая монеты столбиком «орлом» вверх, и с означенного расстояния кидали «выбойку» («чику») — металлический кружок потяжелее. Например, из свинца. Вполне подходили для этой цели серебряные полтинники и рубли, которые народонаселение любило и берегло. Когда «вы-

¹ В других местках, например в Москве, игра называлась «расшибалочкой».

бойка» попадала в столбик монет, метатель забирал те из них, которые оказывались перевернутыми «решкой» вверх. Остальные монеты переворачивались ударом «выбойки» по краю.

Мои сверстники помнят, что в послевоенные годы плоская монета была редкостью, и милиционеры с большим энтузиазмом разгоняли пацанов, прилюдно калечивших деньги, нанося тем самым урон государству.

В игры «на интерес» играли мальчишки постарше, а нас, дошколят, вполне устраивал «чижик».

Х Х Х

Незаметно подобрался сентябрь. И вот мы трое: я, Галя и Светлана — топаем в толпе принаряженных и торжественных школьников в деревню со странным названием Залог, где расположена школа. Так я во второй раз начал приобщаться к знаниям. И опять неудачно.

Не прошло и месяца, как мама однажды прибежала с работы из Орши в крайней степени возбуждения. Она принесла письмо от отца с далекого и никому не ведомого Урала. Радость стала всеобщей. В доме собрались соседи, письмо с удовольствием читали и перечитывали каждому вновь пришедшему. Нас без конца поздравляли и желали всего наилучшего.

Из письма следовало, что папа мой на фронте не был ни одного дня. Вскоре после нашего расставания в первые дни войны он предстал пред очи медицинской комиссии и был ею забракован по зрению. В числе других «некондиционных» оказался в Свердловске. Там их распределили по строящимся или действующим оборонным предприятиям Урала. Отца направили в Миасс на строительство автомобильного завода, эвакуированного из Москвы, — УралЗиСа.

Конечно, старался услышать по радио хоть какую-то весточку с родины. Но информации не было практически до 1944 года. Когда наши войска стали приближаться к Псковщине, стал дежурить у репродуктора. И вот свершилось: 29 февраля Совинформбюро сообщило об освобождении Новоржевского района. Он тут же отправил нам письмо. Почта нашла нас только через несколько месяцев. После нашего ответа вскоре пришло еще письмо: отец вызывал нас на Урал.

На Урал!

В первых числах ноября мы с мамой отправились на край света.

Знаю, что уезжали со станции НовоСокольники. Как добирались 120 километров до нее — не помню.

...Дул сильный ветер. Он с остервененьем швырялся в нас снегом и дождем. Спрятаться было негде: вокзал был разбит. К счастью, неподалеку на земле лежала громадная труба. В нее, согнувшись, и набились пассажиры. Но ветер свистел и в трубе. Потом, весь в огнях, подошел поезд — посланец неведомого мира. В нем было очень тесно, зато тепло. Даже жарко.

Москва запомнилась стратостатами и перегороженными улицами. Мы перебирались с вокзала на вокзал в трамвае в час пик. В салоне люди удобно расположились в креслах, а в тамбуре была несусветная давка. Меня вместе с моим шелгуном прижали к стеклянной стенке, за которой находился салон. Я заорал. Мама, бешено работая локтями и в простых деревенских выражениях дружески критикуя попутчиков, устремилась на помощь. Пассажиры очень развеселились. С кресла встал высокий седой человек, подошел к стенке, открыл замок — и стенка разошлась. Народ ввалился в салон. А старик посадил меня на коленки.

Х Х Х

Через несколько дней поезд подошел к станции Миасс («Мясо?» — с недоумением переспрашивали каждый раз мои земляки). Весь вагон вышел нас провожать. И не успел я опомниться, как оказался в объятиях самого красивого и самого очкастого в мире человека — моего отца.

Это было 7 ноября 1944 года.

Грустное заключение о жертвах войны в Новоржевском районе

В моих руках книга А. Попова «Новоржев». Я уже цитировал ее и хочу процитировать еще раз:

«Страшную картину представлял освобожденный от гитлеровцев Новоржев: груды развалин, пепелища, пустынные улицы. Но постепенно истерзанный и обезлюдевший за годы оккупации город оживал. Возвращались укрывшиеся в окрестных лесах немногочисленные жители. В подвалах и наспех отрытых землянках устраивали временные жилища. В городе не было ни одного целого дома»¹.

Велики были разрушения и в районе: из 100 колхозов было полностью уничтожено 35, сожжено 3753 дома, без крова осталось 8947 семейств. Из 8619 хозяйственных построек фашисты сожгли 6278 скотных дворов, конюшен, складов и т. д. Из четырех тысяч лошадей, ранее имевшихся в хозяйствах, сохранилась одна четвертая часть; из 3957 голов крупного рогатого скота, находившегося в личном пользовании колхозников, уцелело лишь 453 головы. Уничтожены были почти все промышленные предприятия, школы, избы-читальни, все клубы, две больницы и семь медицинских пунктов.

¹ Попов А. А. Указ. соч. С. 124.

А вот что писали в районной газете «Знамя труда» 1 марта 1964 года, когда новоржевцы праздновали 20-летие освобождения:

«Второго апреля 1945 года районная комиссия в составе тт. Синицына, Андреева, Малофеевского и Луговского составила акт расследования о злодеяниях немецко-фашистских оккупантов в Новоржевском районе. В нем, в частности, говорится:

“За время оккупации района фашисты уничтожили 477 ни в чем не повинных советских граждан, из них расстреляли 310, сожгли живыми 54, повесили 18 человек, умерли после истязаний и пыток 15 человек, погибли от немецко-фашистских бомб и снарядов 42 человека, расстреляно и замучено 36 военнослужащих, подвергнуто арестам, насилиям и пыткам более 200 человек.

Фашисты угнали в рабство в Германию 1071 человека, более 700 из них — молодежь в возрасте 16–20 лет.” (из материалов районного государственного архива)».

Перед войной в районе жили 25–30 тысяч человек.

Х Х Х

Когда я пишу эти строки, до всенародного праздника — Дня Победы остается совсем немного времени, меньше месяца. И, как всегда в эту пору, средства массовой информации будут публиковать воспоминания о жизни и подвиге тех, кто сражался на фронте, ковал Победу в тылу. Эти люди по праву награждаются юбилейными медалями и прочими знаками общественного и государственного внимания. И, как всегда, никто не вспомнит о еще одной категории людей, имевших отношение к войне, — миллионах граждан, находившихся в оккупации, хлебнувших горя и мучений сверх всякой меры, дискриминированных подозрительным государством со времен войны до наших дней.

Но разве они не внесли свой вклад в Победу?

В годы войны на Урале был создан и отправлен на фронт Уральский добровольческий танковый корпус. Он сразу стал и остается до сих пор предметом необычайной гордости нескольких областей Урала.

Но вот освобожден от фашистов северо-запад России. Из лесов Ленинградской, Псковской и частично оккупированной Новгородской областей была выведена и направлена на отдых в Гатчину 40-тысячная партизанская армия, личный состав которой состоял в основном из жителей занятой немцами территории. Одетая, обутая и накормленная «второсортными» советскими гражданами — подданными Третьего рейха. Одетая и обутая не один раз, а накормленная каждый день! Кто об этом хоть раз вспомнил в славную годовщину Победы? На обширнейшей территории страны, не ведавшей, что такое оккупация, об этом не знают ничего.

Жизнь в оккупации подвергла жестоким испытаниям каждого взрослого человека. Подавляющее большинство эти испытания выдержали. Уверен, они заслужили благодарность и народа, и государства.

Апрель 1997 года

О себе

Я, Миронов Борис Петрович, родился 23 апреля 1936 года в городе Новоржеве Псковской области. В течение первых трех лет Великой Отечественной войны вместе с семьей проживал на оккупированной немцами территории. В ноябре 1944 года, после освобождения Псковской области, с матерью переехал в Миасс, где, как оказалось, всю войну на автомобильном заводе проработал мобилизованный в армию отец.

В Миассе окончил семилетку. В 1951 году наша семья навсегда покинула Миасс, чтобы в 1961 году навсегда же

снова в нем поселиться. За десять лет отсутствия в городе я окончил среднюю школу (в г. Подпорожье Ленинградской области), филологический факультет Петрозаводского государственного университета, женился на сокурснице, обзавелся дочерью и успел год проработать учителем русского языка и литературы в г. Лысьве Пермской области.

Трудовую деятельность в Миассе я начал в газете «Миасский рабочий». За шесть с половиной лет газетной работы был корректором, литературным сотрудником, заведующим отделом и, наконец, ответственным секретарем газеты.

Квартиру получил в районе Миасса, где проживали и проживают работники Государственного ракетного центра (ГРЦ), перезнакомился с соседями — инженерами-ракетчиками и решил сменить профессию. Так, спустя пять лет после окончания университета я поступил на первый курс вечернего филиала Челябинского политехнического института, а в январе 1968 года перешел на работу в ракетный центр. Диплом инженера получил после шести лет учебы в 1971 году.

Достигнув пенсионного возраста, сразу же уволился и засел за письменный стол, чтобы исполнить давнюю мечту — написать книгу о военном детстве. Отдельным изданием книга «Скобарёнок» вышла в Пскове в 2004 году. К этому времени была написана вторая книга — «Глокая куздра», которая повествует о Миассе и его живописных окрестностях, о ГРЦ, об испытаниях межконтинентальных баллистических ракет на Черном море и на севере, в которых много лет я участвовал, о друзьях-товарищах, с которыми долгие годы жил и работал. Потом была написана третья книга «А роду мы мужицкого...» — рассказ об обыкновенном крестьянском роде, который по линии автора завершают замужняя дочь и два взрослых внука. Недавно была опубликована книга моих рассказов.

Содержание

<i>Павел Полян</i> Оккупация глазами детей	5
<i>Эсфирь Богданова</i> Дочка учительницы (Курская область, Пены)	23
<i>Владимир Вычеров</i> К семейному фотоальбому (Курская область, Моршнево и Сухое)	45
<i>Жанна Зайончковская</i> Блики войны (Полтавская область, Рыбцы и Полтава)	117
<i>Борис Миронов</i> Скобарёнок (Псковская область, Вехно и Алтун)	149



Ася Перняк (Богданова)
в возрасте полутора лет.
Воронежская область,
село Ступино, лето 1935 г.

Ася Перняк
(Богданова)
на коленях
у мамы – Зои
Георгиевны,
ее сестра Лида
и отец – Гутман
Маркович
с соседским
мальчиком.
Лето 1935 г.



Э. Г. Богданова.
Ленинград, 1962 г.



Э. Г. Богданова.
Санкт-Петербург, 2007 г.



Володя Вычеров
(сидит)
с братом Вале́й.
Москва, 1939 г.



Дядя Володи Вычерова
(брат мамы), Василий
Дмитриевич Новиков.
Служил танкистом под
Белостоком и погиб в начале
войны. Начало 1941 г.



Схема участка Курской дуги с населенными пунктами Рыльск, Моршнево, Сухая, Коренево и др. и положение реки Сейм.



Родители Володи Вычерова – Василий Александрович и Татьяна Дмитриевна. Казань, 1944 г.



Володя Вычеров
с братом Валею (справа
с гармошкой).
Деревня Моршнево,
1944 или 1945 г.



Володя Вычеров
с бабушкой
Наталией Васильевной
Новиковой. Деревня
Моршнево, май 1948 г.



Дедушка Володи Вычерова – Дмитрий Петрович Новиков в телеге, запряженной Казбеком, едет за водой. Деревня Моршнево, начало 1950-х гг.

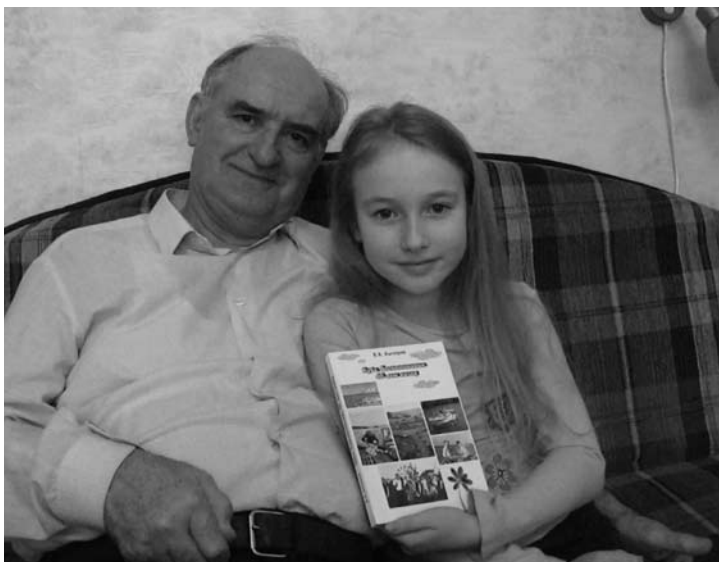


Бабушка и дедушка Володи Вычерова у палисадника своей хаты. Деревня Моршнево, начало 1950-х гг.



Хата родителей Владимира Вычерова, построенная ими в 1948–1950 гг. Станция Коренево, 1954 г.

Володя Вычеров на крыше дедушкиной хаты поправляет трубу. Деревня Моршнево, начало 1950-х гг.



В. В. Вычеров с внучкой Анютой. Москва, 2008 г.

Родители Жанны
Зайончковской –
Матрёна Ивановна
и Антон Нарциссович
Зайончковские
накануне женитьбы



Карточка из военного
архива с данными об отце
Жанны

Карточка № Р 26.2513 форма № 1

1. Фамилия Зайончковский Имя Антон Отчество Нарциссович

4. Наименование части _____

5. Военное звание красноармеец

6. Занимаемая должность _____ 7. Партийность _____

8. Уроженец Кам. Подольск обл. _____ р-на _____

с.с.с. или д. _____

9. Год рождения _____ 19 09 г.

10. Кем призван постав 2 РВК _____ обл. _____

11. Время и причина выбытия из ст. кт 194 3 года

12. Где похоронен _____

13. Адрес родственников м. Зайончковская обл. _____

п. Покстава Владимирская обл. _____

Входящий № донесения 130150

Подпись Анбутов

194 г.

ИТ МВО СССР 7439-40



Дедушка и бабушка Жанны
с внуком Шурой на руках.
Село Рыбцы, 1943 г.



Жанна на коленях у мамы.
Село Рыбцы, 1943 г.



Дети выросли. Дедушка и бабушка И. Г. и О. Я. Луговые
и их внучки. Жанна в центре. Село Рыбцы, 1953 г.



Мама Жанны
со вторым мужем –
Григорием Павловичем
Косьминым.
Полтава, 1960 г.



Ж. А. Зайончковская.
Москва, 2009 г.

Боря Миронов с часиками.
Село Вехно, 1940 г.



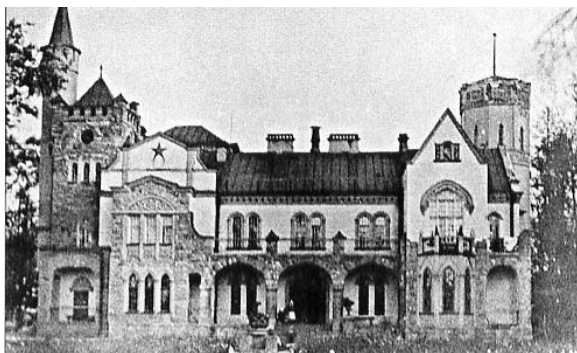
Дед Шора – Дмитрий Васильевич и бабушка – Евдокия
Ивановна Васильевы с внуками Верой и Борей Семеновыми.
Село Алтун, 1940 г.



Родители Бори
Миронова –
Петр
Александрович
и Елизавета
Дмитриевна
на проводах
в армию. Село
Вехно, конец
июня 1941 г.



Здание бывшей котельной и электростанции в Алтуне. 1940 г.



«Дворец» («замок») в Алтуне. 1940 г.



Большой хозяйственный склад-сарай в Алтуне. 1957 г.



Развалины «дворца» в Алтуне. 1957 г.



Проводы. Слева направо: Матвей Яковлевич и Агафья Дмитриевна Коврёнковы с внуками Сашей и Борей провожают гостей: Клавдию Дмитриевну и Нину Дмитриевну с детьми Нины – Ритой, Светой и Ирой (на руках). Деревня Канашовка, июль 1957 г.



Молитвенник.
Издатель: Управление православной миссии в освобожденных областях России. 1942 г.

Карта-схема
Псковской
области
с деревнями
Алтун, Жабкино,
Канашовка,
Свистогузovo,
Вехно
и Ругодево
(отмечены
Б. П. Мироновым)



Вид на конюшню и белый дом с дубовой аллеи. Алтун. 1957 г.



Борис Миронов. Подпорожье
Ленинградской обл.,
апрель 1954 г.



Б. П. Миронов.
Миасс Челябинской
обл., ноябрь 2009 г.

Научное издание

Человек на обочине войны

**Богданова Эсфирь Гутмановна,
Вычеров Владимир Васильевич,
Зайончковская Жанна Антоновна,
Миронов Борис Петрович**

Оккупированное детство

Воспоминания тех, кто в годы войны
еще не умел писать

Составители П. Полян и Н. Поболь

Редактор *Н. П. Зимарина*
Художественный редактор *А. К. Сорокин*
Художественное оформление *А. Ю. Никулин*
Корректор *Н. П. Голубцова*
Технический редактор *М. М. Ветрова*
Выпускающий редактор *И. В. Киселева*
Компьютерная верстка *С. А. Хромцев*

ЛР № 066009 от 22.07.1998. Подписано в печать
Формат 84×108 1/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 12,0. Тираж 1000 экз.
Заказ №

Издательство «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН)
117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 82.
Тел.: 334-81-87 (дирекция), 334-82-42 (отдел реализации)

**В издательстве «Российская
политическая энциклопедия»
(РОССПЭН)**

в серии
«Человек на обочине войны»

ВЫШЛИ КНИГИ

Нам запретили белый свет... Альманах воспоминаний военных и послевоенных лет

Софья Анваер. Кровоточит моя память

Петр Астахов. Зигзаги судьбы. Из жизни советского военнопленного и советского зека

Игорь Синани. В поисках мира. Повествование по следам писем. Воспоминания. Этюды

Сквозь две войны, сквозь два архипелага... Воспоминания советских военнопленных и остовцев

Солоухина-Заседателева Р. На задворках Победы. Карпов Н. Маленький Ostarbaiter

Юрий Апель. Доходяга. Воспоминания бывшего пехотинца и военнопленного

Дмитрий Чиров. Среди без вести пропавших. Воспоминания советского военнопленного о шталаге XVII «Б» Кремс-Гнайксендорф. 1941–1945 гг.

Владимир Тутов, Александр Малофеев. Беглецы из плена. Воспоминания танкиста и морского артиллериста

Ирина Дунаевская. От Ленинграда до Кенигсберга. Дневник военной переводчицы (1942–1945)

Оккупированное детство. Воспоминания тех, кто в годы войны еще не умел писать

